

# АЗБУКА ВЕРЫ



**Паракало, или Восемь дней на  
Афоне - Громов А.В.**

# Паракало, или Восемь дней на Афоне - Громов А.В.

Зачем я ездил на Афон? Впрочем, пора ставить вопрос более правильно: зачем Господь привёл меня туда? Ведь это было? И это уже стало частью меня — зачем?

- [Паракало](#)
- [Предисловие](#)
- [До Афона](#)
- [День первый](#)
- [День второй](#)
- [День третий](#)
- [День четвертый](#)
- [День пятый](#)
- [День шестой](#)
- [День седьмой](#)
- [День восьмой](#)
- [Эпилог](#)
- [Послесловие редактора](#)
- [Комментарии](#)
- [Примечания](#)

## Паракало(1)

Зачем я ездил на Афон<sup>[1]</sup>? Впрочем, пора ставить вопрос более правильно: зачем Господь привёл меня туда? Ведь это было? И это уже стало частью меня — зачем? Наверное, мною двигало богоискательство. Черта русского народа, которая никогда не охладевала в нём, хотя вводила порой так далеко от Бога, что возвращение казалось невозможным. Мы ищем Бога на земле. Сказано: «Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них».

Но мы не видим Тебя, не осязаем, бродим, как слепые, вытянувши руки — где Ты, Господи?!

Я люблю Россию. Вернее сказать, она в моём сердце, существе, во всём, что есть «я». И от того, говорю ли о любви или не говорю, она не отнимется от меня. Всё остальное — слова.

Но рая мы здесь не построим. Потому что мы просим материального рая, а разве может быть рай — материальным? Потому и получается всякий раз обезьянья пародия...

Но есть Святая Гора, где положен предел суетному и преходящему, где заканчивается земля и начинается Небо. Там люди живут по законам Любви.

И если это не рай, а только тень его, то можно ли хоть на миг укрыться в ней от сжигающего жара цивилизации?

Я просил Господа показать мне это место. И Господь призрел меня и утешил.

А я... Я... я... я... — кругом одно «я».

Простите меня.

*Автор*

## **Предисловие**

Принимая маслице от мощей святого Афанасия и пластмассовые иконки Иверской Божией Матери, батюшка сказал:

— Вам надо обязательно написать о вашем паломничестве. — Не заметив с моей стороны никакого энтузиазма, добавил: — Стали бы вторым Зайцевым...

«Да читал я Зайцева...» — отозвалось в голове, и вместо того чтобы подойти под благословение, я слегка отступил и кивнул на иконки:

— В общем, раздадите тогда...

— Конечно-конечно... В воскресенье после Литургии...

Я ускользнул из-под благословения...

Через несколько дней я был у Владыки (как и зачем я к нему попал — в своё время). В конце разговора он сказал мне:

— Когда напишешь, покажи мне.

Хотя я-то как раз и говорил о том, что не могу писать. Уходя, благословился, конечно, и подумал: к чему относится это архиерейское благословение — к писательству или к моему бытию вообще?

Следующий раз о книге заговорила жена. Мы возвращались домой после того, как я два часа рассказывал оставшимся в храме прихожанам о паломничестве. И она спросила: а почему бы тебе не записать всё это? К вечеру слегка подморозило, ветер стих и в воздухе поблёскивали лёгкие снежинки. А я-то думал, она обиделась. Когда меня спросили о первых ощущениях на Афоне, я брякнул: «Почувствовал, что я — дома».

Я попытался ей объяснить, что никогда не смогу написать правдивой книги об Афоне, потому что, чтобы ни писал, это будет книга обо мне. Все истории о монастырях, чудотворных иконах, о том, во сколько начинаются и как длятся службы, какое расстояние между Лаврой и Ивероном, что такое вселенское время, сколько стоит билет на паром — всё можно найти в справочниках, путеводителях, в интернете, в конце концов...

— А сколько стоит билет?

Откуда я помню? Это профессиональные писатели фиксируют детали, прищипывая их в блокноты, как коллекционер бабочек. Меня же всегда привлекало целое и живое.

Со временем обстоятельства выветриваются, меня даже частенько ловят: мол, прошлый раз я рассказывал по-другому. Так я уже и сам толком не помню, как было на самом деле, для меня важно, чтобы собеседник почувствовал то же, что тогда переживал и я, чтобы он разглядел, что там — за внешней оболочкой событий и фактов.

Так каждый раз создаётся новый мир, который бывает гораздо реальнее настоящего. Собственно говоря, это и есть литература.

Так вот, повторил я, никогда правдивой книги об Афоне у меня не получится. А билеты, кстати, Лёшка покупал.

Жена стояла под горкой и ловила съезжающего на картонке сына. Кому я всё это рассказываю?

Вечером я написал письмо Лёшке, то бишь Алексею Ивановичу, и он в ответ переслал моё же письмо, отправленное два года назад, с выделенными строчками: «Игумен предлагал поехать на Афон. Я обрисовал ему картину, которая может сложиться во время нашего совместного пребывания там (ещё, говорю, и Алексея Ивановича прихватим). Игумен грустно вздохнул и то ли утвердился, то ли ещё раз спросил: "Значит, не поедем?.."».

Есть же добрые люди, подумал я об Алексее Ивановиче. И вспомнил, как уже после возвращения с Афона к нам пристало слово «Паракало». Бывает такое. Пристанет — и всё тут. Алексей Иванович как истинный поэт перепробовал это слово со всех сторон и, выдав рифму «купив винишка полтора кило — паракало, паракало», ещё долго лепил его к месту и не к месту, но лучше, кажется, уже не получалось.

Но словцо-то непростое. Вообще-то оно означает «пожалуйста». Его мы услышали, войдя в аэропорт «Салоник». Так там начинаются все объявления на вокзалах. И я тогда ещё подумал, какая это должна быть добрая страна, где к тебе обращаются не «граждане пассажиры» или «внимание», а — «пожалуйста».

Можно сказать, я полюбил Грецию с первого слова.

И я подумал, что если в самом деле возьмусь писать книгу об Афоне, то и назвать её надо будет «Паракало». Пусть это слово задаёт тон<sup>[2]</sup>.

На следующий день мне понадобилась какая-то книга, я подошёл к книжной полке и наткнулся на томик Бориса Зайцева. В последнее время я вообще стал замечать, что книги, связанные с Афоном, так и лезут мне в руки. Это как у женщин, сделавших аборт, — им всё время на глаза попадают беременные и маленькие дети.

Не выдержав, полез посмотреть электронную почту, что там ответил мне Алексей Иванович по поводу названия. А вместо этого получил письмо от батюшки, когда-то спасшего меня от жуткого похмелья в Германии, а пару лет назад соборовавшего, когда врачи уже особо и не рассчитывали на свои силы. Батюшка сообщал о столичных успехах на сценарном поприще и благословлял писать про Афон хотя бы страничку в день перед сном.

Я заварил кофе. Съел кусочек умыкнутого из Иверонского архондарика<sup>[3]</sup> лукума. Вернулся за рабочий стол и вывел: «Паракало».

Фамилию решил оставить в покое. От близких и так не скроешься. Дальние... Кому понравится — слава Богу, пусть помолятся за раба Божия Александра, кому не понравится — тоже пусть молятся. В любом случае благодарен за терпение.

Терпеть и молиться — вот чего не хватает нам сегодня.

Это мне в конце аудиенции Владыка сказал.

# До Афона

## 1

Так вот, письмо моему товарищу, в котором впервые осознанно упоминается возможность поездки на Афон, было отправлено летом 2005 года. Чтобы стало понятнее, что сам путь на Афон не так-то прост, я вынужден остановиться на некоторых моментах двухлетнего до афонского периода. Постараюсь быть краток.

Прошёл почти год разговоров, обсуждений, мечтаний и прочего трёпа, пока сколотилась группа из шести человек и меня делегировали в Москву для переговоров с турагентством.

На обратном пути почувствовал себя неважно. Два дня промаялся животом, а на третий жена вызвала «скорую». В больнице меня сразу отправили в реанимацию и стали готовить к операции. Жену при этом врачи огорошили тем, что дают только десять процентов, что я выживу. После операции шансы повысились до тридцати, но тут уж врачи сказали, что ничего больше сделать не могут: тридцать процентов — это статистика выживаемости после таких операций.

Но самое интересное не в этом: во время двухчасовой операции я побывал на Афоне.

Когда я отключился от внешних обстоятельств, ко мне подошёл священник.

Я бы и сейчас узнал его: плотноватый, лет под пятьдесят, с аккуратной чуть седеющей бородкой.

Он взял меня за руку и сказал:

— Ты хотел посмотреть Афон. Пойдём.

И мы в мгновение времени оказались на Горе. Помню, был ветер и солнце, а внизу расстилались зелёные склоны, змеились тропки, и повсюду виднелись средневековые крепости монастырей.

Я стоял на вершине Горы и думал: вот Афон. Я так хотел сюда попасть. Как здесь хорошо!

Но почему хорошо, этого я понять не мог.

Не знаю как, но с вершины Горы я увидел, что в операционную быстро вошли два человека: один был похож на Мичурина, каким изображают его в школьных учебниках, другой — мой духовник, с которым я уже года три толком не общался.

— Он нам нужен, — сказал духовник, и меня сняли с Горы.

Потом я спрашивал, кто ещё приходил в операционную? Никто, говорят, не приходил. Может, скрывают?

Врачи тем временем приступили к телу, а я понял, что сейчас меня разберут по винтику, по клеточкам, вычистят, выметут, выбросят все мои страсти, страстишки, а потом соберут чистенького, опрятненького, стерильного, как упакованный памперс, — и делай со мной, что хошь. И стало так жаль себя прежнего. Грехов стало жаль. Пива, футбола, чего там ещё...

Ну ладно, вздохнул я, раз уж по-другому не получается... и стал рассказывать врачам, какие у

меня замечательные жена и сын.

В общем, я так понимаю: священники и семья меня вымолили.

Потом я ещё три месяца мыкался по больницам. Жена в это время вела исключительно подвижническую жизнь, что периодически нашим русским женщинам делать приходится. Дай Бог им за все их труды утешение.

Одно таскание каждое утро каши, а вечером бульончика чего стоит. А надо было ещё отводить сына в садик, ехать на работу, там, собственно, работать и потом ещё в садик за сыном. Я, было, как стал более-менее ходячий, изъявил желание посещать больничную столовую, на что заведующий хирургическим отделением замахал руками: «Ты что! Эту пищу и здоровым-то есть нельзя!» Вообще, надо признать, врачи ко мне относились бережно и с любовью — всё-таки статистику я им подправил.

После больницы больше всего хотелось отблагодарить жену, только я не знал, как. Просто сказать: «Я тебя люблю», — в голову не приходило. Хотелось чего-то эффектного. А тут выяснилось, что у нас завелись деньжата. Получалось, что на лекарства уходило меньше, чем на футбол и пиво.

И мы семьёй поехали в Италию. На всякие хождения по магазинам жене была выделена аж тысяча евро, но она опять удивила (как всё-таки мало мы знаем любимых), заявив: «На нашем рынке я куплю и дешевле, и лучше». Я старался ни в чём семейству не отказывать, но запросы оказались скромны и дальше мороженого и гондольеров не зашкаливали, так что большую часть я привёз домой.

«Как раз и на Афон хватит», — само собой подумалось мне.

— Вот и хорошо, — согласилась жена.

С этого времени я уже точно знал, что попаду на Афон. И, что удивительно, я не предпринимал никаких особых усилий, всё шло своим чередом и устраивалось само собой. Мне только не надо было мешать плавному течению обстоятельств.

Для начала я переговорил с теми, кто собирался ехать на Афон год назад. Трое всё-таки съездили в Грецию, но на сам Афон не попали, их прокатили вокруг полуострова, зато побывали в Бари и приложились к мощам святителя Николая. И слава Богу.

Общее впечатление выразил один из путешественников:

— Больше никуда не поеду. Уж лучше к отцу-настоятелю в деревню. Башка наутро болит так же, но денег затрачиваешь гораздо меньше.

С самим отцом-настоятелем состоялся примерно следующий душевный разговор.

Был август, братия монастыря качала недалече в хибарке мёд, а мы, сидя на терраске в тени «энтевешной» тарелки, любовались недавно поднятыми на новом храме куполами, лениво отгоняли мух от тарелки с нарезанным арбузом и предавались излюбленному русскому занятию — мечтали.

Отец-настоятель сподобился-таки побывать на Афоне в составе официальной делегации с Владыкой и пытался делиться впечатлениями. Почему «пытался»? Потому что, о чём бы я его ни спросил, он умиротворённо зажмурил глаза и становился похож на Саваофа, каким его

изображают в детских книжках, в седьмой день творения, затем, будто это он создал и хибарку с качающей мёд братией, и арбуз, и этот августовский день, благостно отвечал:

— Хорошо.

— Так поедем...

Отец-настоятель покосился на хибарку. Там кипела работа.

— Денег надо.

Мёд батюшка раздаёт бесплатно. Сначала — Владыке, потом — духовнику, потом — монастырям, потом — честным отцам, потом — своим отцам, потом — клиру, потом — прихожанам. Зная, сколько народа утешает батюшка, Господь посылает мёд в невероятных количествах.

— Найдём, — настаивал я (у самого-то уже были).

— У Владыки отпрашиваться надо... А я храм ещё не достроил, — и он снова залюбовался сияющими новенькими куполами.

— Ладно, нет — так нет. Мы решим с датой, а там, кто хочет, пусть присоединяется.

Мы помолчали. Солнце спустилось к лесу и купола огненно вспыхнули.

— Благодать-то какая... — чувственно произнёс отец-настоятель и добавил любимое: — Хорошо.

Потом пригнулся ко мне и шёпотом, хотя вокруг нас, кроме мух, живых тварей не было, спросил:

— А Алексей Иванович курить-то не бросил?

Я успокоил батюшку.

Тот задал следующий провокационный вопрос. Я снова не разочаровал.

— Не отказывается.

— Да... — протянул батюшка, полной грудью вдыхая вечернюю свежесть, замешанную на медовом духе. — Хорошо бы вот так пройтись с Алексеем Ивановичем по Афону...

И в этот момент я понял, что нам с Алексеем Ивановичем придётся ехать вдвоём. Отец-настоятель в ночь поехал на пасеку за новой порцией мёда, я лежал в пустом доме, утопая в пуховой перине, словно в облаке, и думал: может, оно и к лучшему? И я поехал к Алексею Ивановичу — в нём я не сомневался.

Три дня, пока я гостил у него, он говорил об Афоне, как будто поездка — уже дело решённое и надо обсуждать не то, как мы туда попадём, а что брать с собой. И оттуда — тоже. Узнав, что супруга моя беременна, он аж подскочил:

— Тебе точно надо быть на Афоне. Хотя бы потому, что ты должен привезти Пояс Богородицы для жены. И ты попадёшь, потому что тебе надо. А я пойду с тобой прицепом.

Я проникся ответственностью: теперь и прицеп тянуть надо, а когда понимаешь, что судьба

других зависит от тебя — это великая сила.

Возвращаясь от Алексея Ивановича, я заехал в Москву.

Подворье Пантелеимонова монастыря<sup>[4]</sup> оказалось практически в самом центре столицы и поразило тишиной. Это было настолько неожиданно — пронестись с огромной толпой по подземелью, быть вынесенным на свет Божий и протащенным сквозь недовольно порывающие авто, протиснуться мимо торговых рядов и вдруг оказаться в покое. Нет, каким-то фоном присутствие цивилизации доносилось, но слабо и бессильно, как комариный зуд за стенами надёжной палатки.

Дежурный при воротах указал мне на доску объявлений, где сообщалось, что для того, чтобы попасть на Афон, надо по факсу отослать в Пантелеймонов монастырь заявление, копию благословения настоятеля прихода и ждать вызова. Срок пребывания в Пантелеимоновом монастыре — шесть дней, в свободное от церковных служб время надо будет выполнять монастырские послушания, то есть работать.

Работать, честно говоря, не хотелось.

Нет, поработать на монастырь, а стало быть, Богу — благо. Бывая в монастырях, давно убедился, что труд этот, даже если и физически тяжёл, радостен, и его всегда ровно столько, что остаётся время и помолиться, и к святыням приложиться, и окрестности обозреть.

Но... хотелось-то походить по Афону, а не быть привязанным к одному месту.

Но если другого пути нет...

Добросовестно всё переписав, я пошёл в храм. Заканчивалась литургия и начинался молебен Серафиму Саровскому.

Службу вёл бодренький старичок с мягким, негромким, но твёрдым голосом. Очень он сразу понравился — и ведь не объяснишь, чем. В нём чувствовалась строгость и вместе с тем доброта и любовь.

А может ли быть любовь без строгости?

В общем, батюшка располагал. И когда после службы все подходили под благословение, целовали крест и руку дающую его, я на удивление легко нарушил благочинный порядок и, остановившись, попросил:

— Батюшка, благословите на Афон поехать.

— Куда ты собрался? — и в строгом голосе снова слышались доброта и любовь.

— На Афон.

— Как звать-то тебя?

— Александр.

Ну-ка, отойди в сторонку, постой здесь...

Я отошёл к правому клиросу, и отпуст<sup>[5]</sup> продолжился своим чередом.



— Жди, — сказал добрый старичок, закончив службу, — сейчас братия пообедает, и поговорим.

Я вышел во двор. Чисто, светло — никакого ощущения, что ты в огромном мегаполисе. Словно и впрямь невидимые стены не пропускают сюда мир. Такое же чувство возникало у меня и в Дивеево, и в Санаксарах, и в Вятке, и в Муроме, и в других монастырях... Какие чудные островки мира!

Мне вспомнилась поездка с группой молодёжи в Псковскую область. Мы путешествовали неделю на автобусе, днём посещали монастыри, церкви, места боевой славы русского народа, а ночевать останавливались небольшим лагерем, сворачивая с дороги куда Бог на душу положит.

Возглавлял группу чудесный священник. Он тогда ещё не игуменствовал, даже протоиереем не был.

Одну очаровательную ночь мы провели на Ладоге. Огромных размеров полная луна покоилась на водах Ладоги, казалось, что стоит немного пройти по лунной рябой дорожке, и ты окажешься в ином мире. И под огромным затягивающим глазом луны ясно понималось, как мал и хрупок человек.

Утром мы с батюшкой отправились осмотреть окрестности, куда нас привёл Господь на ночёвку. Место это мы обрели уже глубокой ночью, до этого были поломка автобуса, плутание по незнакомым дорогам — и вдруг перед нами открылись спокойствие Ладоги и полная луна.

Отойдя с десятков шагов от лагеря, мы увидели небольшую, метра три высотой брошенную полуразвалившуюся часовенку, на двери которой висел ржавый замок. Сразу за часовенкой обнаружили едва различимые холмики и скелеты оградок. Батюшка сходил в лагерь, облачился, принёс необходимое и отслужил литию.

Это удивительное чувство — молиться за неизвестных людей. Ты знаешь, что ничем не должен им, как, например, родственникам или знакомым, никакого мирского знания об этих людях, похороненных у стен православного храма, не примешивается, и просишь от чистого сердца вечного покоя. Кто здесь лежит: священники ли, дьяконы, простолюдины — какая разница... И как искренне тогда мы молились — ещё и потому, что молитва наша возникла не как правило или обязанность, а сама по себе, и мы откликнулись на неё и в ней пребывали.

Потом мы пошли дальше и ещё через десяток шагов наткнулись на небольшой разновеликий вал, за которым угадывался ров.

— А ведь здесь, наверное, был монастырь, — сказал батюшка.

Тут донеслось странное тарыхтение, и из-за кустов выбралось не менее странное движущееся средство: то ли трактор, то ли тележка с чадящим моторчиком. Управлял агрегатом неопределённого возраста человек — мужиком уже не назовёшь, в старики ещё не годится, в общем — работяга.

Поравнявшись с нами, он заглушил свою тарыхтелку и, не дожидаясь вопросов, рассказал, что до войны тут был монастырь, а как война началась, здесь сильные бои шли, монастырь по несколько раз переходил из рук в руки, а теперь тут ничего нету.

Выдав всё это, работяга запустил свой агрегат и утарыхтел за угол леса. Откуда приехал? Куда делся?

Молчание нарушил батюшка:

— Представляешь, если бы монастыри не по закрывали, какая бы оборона была! Никакой немец бы не прошёл! Монастыри по России — это же крепости! — Заметив, что я хочу что-то сказать, и зная мою привычку иронизировать по поводу и без, батюшка, оберегая прекрасную минуту, строго добавил: — И духовные крепости — тоже.

А я и не хотел ёрничать, я хотел только сказать, что если б монастыри не по закрывали, то никакой немец на нас и нападать бы не стал.

Про духовную крепость я и вспомнил, прохаживаясь по подворью Пантелеимонова монастыря.

И как олицетворение духовной крепости из храма уверенной военной походкой вышел иеромонах средних, подполковничьих лет. Он тут же был атакован невесть откуда взявшимися женщинами (прятались они где-то, что ли?) и взят в кольцо. Воинственность его погасла, и он стал больше похож на учителя после родительского собрания. Я стал подвигаться к группе. Иеромонах заметил меня, благословил женщин и, пока те не успели разогнуться, повернулся ко мне. Я шагнул ближе, и в голове у меня, собственно, крутилось одно:

— Батюшка, благословите на Афон поехать.

— И каким образом ты туда поедешь? — несколько озадачил встречным вопросом батюшка.

Я, как послушный ученик, изложил вычитанное на стенде: мол, вот-де напишем письмо в Пантелеймонов монастырь, дождемся ответа, можем там и поработать... Видимо, как работник я доверия не внушал.

— Нечего тебе в Пантелеймоне делать, — определил иеромонах. — По Афону пройтись надо.

Вот те на! Никак не ожидал, что на подворье Пантелеимонова монастыря я услышу, что нечего мне в этом самом Пантелеимоновом монастыре делать. Пока я пытался понять услышанное, иеромонах обрёл былую уверенность и, подвинув меня, разомкнул кольцо и ушагал в своём направлении.

Сёстры смотрели на меня немилосердно, словно я лишил их сладкого, и я поспешил отойти на прежнее место.

— Ждёте кого? — это бы вратарник, вид у меня, скорее всего, и в самом деле был растерянный.

— Батюшка, который служил сегодня, велел дождаться... А вы не подскажете, как его зовут?

— О-о! Это игумен Никон!

В голосе вратарника неподдельно звучали и благоговение, и уважение, и трепет немосквича, обретшего наконец работу в столице.

А я подумал: игумен! Настоящий! Это тебе не арбузы на пасеке трескаться.

Снова появилось лёгкое чувство, что меня ведут и требуется только довериться ведущей воле.

Братия вышла из трапезной — впереди скоро шёл игумен, а я всё: старичок, старичок... Игумен повернул к храму и махнул рукой. Меня, что ли? За ним шли ещё два монаха. Игумен встал перед небольшой, позеленевшей от времени дверью, которая, казалось, ведёт в подземелье, и обернулся:

— А вы чего? — сказал он монахам. — Я вот его звал, — и он указал на меня.

Кованая дверь растворилась, я почувствовал лёгкий холодок и представилось, что попаду сейчас в средневековье: полумрак, тёмные холодные стены, на массивном столе — свеча и огромные древние книги. Книг в самом деле оказалось много, но все они были втиснуты в книжные, под потолок, полки, а вот стол был обычным для советской канцелярии — со стеклом, под которым разные памятки, с массивной лампой и подставочкой под карандаши. К столу приставлен стул, другой, чтобы можно было пройти за стол, отставлен в угол — кабинетик игумена оказался удивительно мал и уютен. Игумен пробрался за стол и, указав мне на ближний стул, стал расспрашивать.

Мне стало неловко, когда пришлось говорить, чем занимаюсь. Это Толстой писатель, Достоевский, Чехов, Бунин, ну, Распутин, если о ближних... Крупин... В общем, рассказывать о своём бытии было стыдно, и о больнице как о следствии этого бытия — тоже.

Игумен улыбался. Во всём его облике, в том, как он кивал головой и произносил: «Да, да...», — или охал — чувствовались приветливость и утешение. Это не было исповедью, я рассказывал о мучавшем и саднящем последнее время, и продолжал говорить всё смелее, потому что это моё было не безответно и находило участие.

О, это чудо понимания! Что это, если не Любовь! Только понимающий (не умом — сердцем) способен любить. Любовь без понимания — страсть. Любовь без понимания — безумство.

Игумен Никон, всё так же улыбаясь, протянул листочек с телефоном грека, который должен всё устроить...

Я шёл по солнечной Москве и был счастлив. Музыкой звучали сказанные на прощание слова игумена Никона:

— Вот и записочки на Афон передадите. То есть игумен во мне не сомневался, и то, что он ни разу не помянул Пантелеймонов монастырь, нисколько не смущало.

## 2

Дальше покатило настолько легко и естественно, что события, именуемые в мире случайностями и совпадениями, перестали удивлять — всё выстраивалось в единственно возможную цепочку, которая вела на Афон.

Главное — ты стремишься к Богу, вот и доверься Ему. И если для твоей пользы нужно быть на Афоне, ты там будешь. Как бы невероятно это ни казалось.

Тут у нас с Алексеем Ивановичем вышла дискуссия. Мы оба были за максимальный срок пребывания на Афоне, только каждый видел максимум по-своему. Алексей Иванович говорил о двух неделях, а я — о пяти днях.

Дело в том, что десять лет я хожу в крестный ход — четыре дня мы идём к чудотворной иконе Божией Матери и Её источнику. Физически устаёшь, конечно, но с Божьей помощью доходишь, но это ладно. А вот внутренне каждый раз я ощущаю себя настолько слабым, что не могу вместить благодати этих четырёх дней. Такая духовная сытость (простите за этот плотский термин) переполняет, что начинаешь бояться, как бы дурно не стало. После голода наедаться вредно. А тут — Афон. К тому же, я и в самом деле испытывал страх: а примет ли Афон? И паломничество наше воспринимал как крестный ход.

В области, где живёт Алексей Иванович, тоже есть многодневный крестный ход, только они идут семь дней. Оттого я заключил, что Алексей Иванович духовно покрепче, потому и не

боится задержаться подольше. Ещё Алексей Иванович просил задержаться после Афона в самой Греции денька на два-три — для него это был первый выезд за границу.

К общему знаменателю мы так и не пришли, решив определиться, когда будем передавать греку деньги. Это должно было произойти, по нашим расчётам, в конце лета, ибо срок нашей поездки мы положили на начало октября.

Октябрь подходил для нас идеально.

Во-первых, октябрь в Греции представлялся чем-то вроде нашего бабьего лета — тихое безмятежное умиротворение природы, да и вещей тёплых тащить не нужно; во-вторых, мы полагали, что туристический сезон закончится и нам будет легче искать места для ночёвок; в-третьих, у меня была важная работа, которую я никак не успевал сделать раньше октября; в-четвёртых, у Алексея Ивановича на это время приходился отпуск. Собственно, два последних пункта и были определяющими. Более поздние сроки меня не устраивали — к Рождеству у нас ожидалось прибавление в семействе, и, разумеется, я не мог накануне оставить жену. А после — тем более.

Но тут начались заковыки. Сначала один батюшка (я не представлял, как можно поехать на Афон без священника) сказал, что благословение у Владыки (а священники допускаются на Афон только если у них есть разрешение правящего архиерея) может получить только на престольный праздник, вернее, по успешном его окончании. А праздник падал на конец сентября. Второй потенциальный кандидат на место духовного руководителя возможность поездки напрямую связывал с окончанием полевых работ. И сроки пришлось сдвинуть.

Через месяц выяснилось, что Владыка не благословил и виды на урожай не оправдались. А тут отпуск Алексею Ивановичу перенесли на ноябрь и работа у меня застопорилась.

Жена тем временем ушла в декретный отпуск и, глядя на её увеличивающийся живот, я понимал: сроки подходят.

Желание попасть на Афон выросло до отчаяния, надо было прикладывать усилия. Но куда — вот в чём вопрос. Кстати, этот вопрос (куда девать силы?) для русского человека куда актуальнее гамлетовского.

Вдруг мне заплатили за ещё недоделанную работу. Тут же Алексей Иванович сообщил, что ему на голову свалились пятьсот баксов и он извёлся, не зная, как грамотнее ими распорядиться.

— Едем, — сказал я, ибо снова ощутил под ногами твёрдую дорогу.

В Москве выяснилось, что ближайший рейс, которым мы можем вылететь в Салоники, — 4 ноября. В этом случае обратный приходился на 15 ноября. Получалось, что на самом Афоне мы будем восемь дней (семь ночей) и потом ещё один полностью свободный день можем провести в Уранополисе<sup>[6]</sup>. То есть выходило и не по-моему, и не как хотелось Алексею Ивановичу. Как надо, так и выходило.

— Диамонитирион<sup>[7]</sup>, - сказал грек, — стоит двадцать долларов, а билет на паром — от пяти до десяти, смотря докуда поплывёте.

— А можно сразу взять билет туда и обратно? — Мне хотелось быть уверенным в возвращении.

Это чисто общажная привычка: приезжая в Москву на сессию, первым делом покупался билет

обратно — это гарантировало возвращение.

— Не надо сразу брать обратный билет, — перечеркнул мой жизненный опыт грек.

— Почему?

— Да мало ли что может произойти, — уклончиво ответил тот.

Я потребовал конкретики.

— Это Афон, — грек развёл руками, и это был самый конкретный ответ, который он мог дать.

Мы понимающе кивнули и отдали деньги.

Когда уже пили кофе, Алексей Иванович вспомнил:

— Что-то мы даже расписки у него не спросили...

— Чего уж теперь...

— Что будем делать?

Я вздохнул:

— Учить греческий...

Мы зашли в книжный магазин на Арбате и, помимо разговорников, приобрели толстенную книжицу «Евлогите» с описанием афонских монастырей. Впрочем, «приобрели» — неправильное слово, для нас это был дар и ещё один знак.

Когда я вернулся домой, то получил от Алексея Ивановича по электронке: «4 ноября — Казанская!»

Да! Именно так! Я не просто понял, я чувствовал, что нахожусь под Покровом, и все эти наши переносы и недоразумения — это мирские недоразумения, а Там всё решено. Конечно, мы должны были ехать на Казанскую!

Желание и усилие — всё, что требуется.

### 3

Мир разжал объятия.

Это не я сказал. Это — Алексей Иванович, когда 3 ноября мы обнялись на Ярославском вокзале.

Оба мы очень трудно уезжали. Я ещё за несколько часов до отхода поезда в Москву вносил неожиданно возникшую правку заказчика в уже законченную и сданную работу, а жена тем временем собирала рюкзак.

Господи, как мы встретились в Москве! словно нам дали отпуск с фронта. Вокруг колготились люди, а мы стояли посреди перрона и улыбались друг другу, потому что только мы знали, каких усилий стоило преодолеть первую границу.

В переходе метро грек вручил нам паспорта и билеты, а заодно направил в гостиницу недалеко от Павелецкого вокзала, с которого предстояло уезжать утром в аэропорт. Но главное — возле гостиницы оказался храм, и не просто — а Казанской Божией Матери!

Служба уже закончилась. Шла уборка. Мы поставили свечи и пошли в гостиницу, ошалелые и притихшие от таких явных Божьих вешек.

В гостинице, испив чаю, стали делиться собранной информацией: нам повезло — каждый из нас пообщался со священником, недавно побывавшем на Афоне.

...Молодой батюшка, узнав, что я собираюсь на Афон, сразу сказал, что на бегу говорить не стоит и чтобы я зашёл как-нибудь часа за полтора до всенощной. Дня через три я так и сделал.

Получилось так, что я разбудил батюшку, тот отдыхал в небольшой комнатке, напоминавшей будку сторожа: стол с телефоном, диванчик, только на стенах вместо календарей и журнальных картинок — иконы.

Пока я делился планами, батюшка собрал волосы в косичку, перетянул её резинкой, провёл руками по лицу, потёр лоб и, когда я сделал паузу, произнёс:

— В общем, всё вы решили правильно — по Афону надо пройтись. — Батюшка посидел ещё в некоторой задумчивости и, окончательно проснувшись, сказал: — Водки с собой возьмите.

Вот, честное слово, интересно: на чьём лице удивления было больше — на моём, когда я это услышал, или на батюшкином, когда он увидел моё лицо?

— Нет, в самом деле, идёшь, идёшь... и так, немножечко... Для поддержания духа.

Пришлось рассказать, что после перенесённых операций питьё для меня — что никотин для лошади. Батюшка посмотрел на меня с нескрываемой грустью и жалостью, а я осознал своё непитиё как крест и даже чуть ссутулился.

— Всё равно возьмите, — сказал батюшка. — Дарить будете. Архондаричнему<sup>[8]</sup>, например. Хотя там и так замечательно встречают, — и воскликнул, словно вспомнил о невозвратном счастливом детстве: — Господи, сколько там радости в людях!

Потом батюшка одобрил наше желание начинать паломничество с Великой лавры<sup>[9]</sup> и перешёл к практической стороне.

— Когда будете подплывать на пароме к Дафни<sup>[10]</sup>, постарайтесь оказаться ближе к выходу и, как опустят трап, быстренько двигайтесь к автобусам, их два, типа «икарусов» — сразу увидите. Они довезут до Карей<sup>[11]</sup>. Там на главной площади увидите такси, типа наших «газелей», спрашиваете, какая идёт на Лавру. Говорите «Мега Лавра» — все прекрасно понимают. Куда бы ни приехали, первым делом ищите архондарик. Разместитесь и можете погулять по монастырю или вокруг. Но уже в шесть часов начинается служба, потом небольшой перерыв на сон и литургия. В Лавре найдёте трапезария Николая. Он ещё и травник. Наш человек, только маленько ультраправославный, в смысле «шестьсот шестьдесят шесть», ИНН и прочее. Он вам всё расскажет и подскажет, куда дальше идти. Хотя... там всем Божия Матерь управляет, как Она поведёт вас, так и следуйте. Если что, ищите русских. В монастыре святого Павла — отец Ефимий, в Ватопеде<sup>[12]</sup> — отец Нектарий, грузин, между

прочим, в Филофее<sup>[13]</sup>... Да везде! И вообще это неважно, нас там всюду тепло принимали. Очень тепло. Рядом с Кареей есть сербский скит, которому недавно Путин помог, — обязательно побывайте. Там чудесный старчик обитает. Один. А по другую сторону от Карей — Андреевский скит, он раньше русским был.

Ещё батюшка рассказал, как они ходили к старцу и что без карты ходить там вообще никак нельзя. Дорога и сама по себе непростая: то вверх, то вниз. Поэтому одежда должна быть удобной и практичной, обувь — лучше спортивная, но с твёрдой подошвой. Еды с собой никакой не брать. Кормят в монастырях достаточно, да и есть на Афоне ни разу не хотелось. А вот бутылочку под воду надо иметь обязательно. Вода на Афоне наивкуснейшая. Источники по дороге попадают в больших количествах, и из всех можно пить. Свечи и записки в монастырях принимаются за пожертвования, а вот если заказываешь сорокоуст, то — дорого. Покупки домой лучше всего делать в Карее.

— А что старец? — спросил я.

— Старец... Все спрашивали, ну и мне надо было спросить, хотя когда всё то ощущаешь... всё, что здесь, в мире, волновало, кажется таким неважным... Говорю: скажите что-нибудь назидательное. А он: готов ли к Царствию Небесному? И что ещё спрашивать...

Перед отъездом я ещё раз встречался с батюшкой и он принёс карту Святой горы и два журнала нашей епархии, которые надо было передать сербам. Желательно в Хиландар<sup>[14]</sup>, но не обязательно, главное — сербам.

Пересказав всё это Алексею Ивановичу, я подытожил:

— Так что одно место, где мы должны побывать, уже есть — сербы.

— Два, — поправил Алексей Иванович и поведал своё.

Его духовник передал в монастырь Кутлумуш<sup>[15]</sup> уехавшему несколько лет назад монаху книги. И заповедал Алексею Ивановичу, как положено, три вещи: не смеяться над монахами, что бы они ни делали и ни говорили; ничего не делать без благословения, даже палки с земли не поднимать; обязательно взять с собой дождевики.

— У тебя есть дождевик? — спросил Алексей Иванович.

— У меня куртка.

— Нет, он сказал: дождевик.

— Да зачем мне дождевик — у меня куртка. С капюшоном.

Алексей Иванович неодобрительно покачал головой.

— Ладно, — не стал я расстраивать товарища, — если где-нибудь по дороге попадётся, купим.

Мы собирались на подворье Пантелеимонова монастыря.

— А ещё духовник сказал: нам повезло, что в такое время едем.

— Почему?

— Потому что змеи сейчас спят.

По дороге мы искали заведение, где можно было скромно, но достойно отметить обретение реальных билетов, где были пропечатаны наши фамилии и завтрашний день.

Как на грех, попадались рестораны только с национальным нерусским колоритом. То ли коренные москвичи предпочитали питаться дома, то ли русских среди них уже совсем не осталось. Поиски устраивающего общепита стали перерастать в навязчивую идею, как вдруг Алексей Иванович остановился против невзрачной арки.

— Вот.

Я взгляделся в подворотню.

— Ну и что?

— Видишь — «Всё для рыбалки». Там наверняка дождевики продают.

«Тьфу ты», — чуть не сорвалось у меня, но потом, решив, что дождевик может и дома пригодиться, шагнул в арку. Самое интересное, что, купив дождевик, в глубине двора мы увидели вывеску «Берлога медведя» — это нас удовлетворило и с эстетической точки зрения, и с национальной, и даже с политической.

#### 4

К подворью Пантелеимонова монастыря мы подходили сытые, довольные жизнью и миром. Настроение было соответствующее: где тут ваши записки, сейчас мы их на Афон доставим.

Но ворота подворья оказались заперты. Сквозь решётку нам показалось, что в противоположной стене есть приоткрытая калиточка, и мы стали обходить подворье.

По тропке сначала шли вдоль стены, потом заковырялись в кустарнике, выбрались в тихий дворик, показалось, что, обойдя дом, мы наконец-наконец-то выйдем к калиточке, но, пройдя сквозь арку двора, мы не обнаружили монастырской стены вовсе, оказавшись на каком-то московском проспекте.

Это было как в мистических фильмах, когда люди попадают вдруг из одной реальности в другую.

— Начался Афон, — сказал Алексей Иванович.

Вся спесь и сытость враз слетели, и мы потопали обратным путём. Продираясь снова через кустарник, уже не чертыхались, а благодарили за вразумление. И двери оказались открыты.

На воротах оказался тот самый дядечка, что был здесь и в прошлый раз. Я бросился к нему, как к родному.

Конечно, он меня не узнал, но моя искренняя радость, когда я всё вспоминал прошлую встречу (помните, вы мне ещё карандаш дали, чтобы я переписал объявление), и ссылка на то, что игумен хотел передать с нами записки на Афон, повергли вратарника в некоторое смятение, и он, укрывшись за окошечко, взялся за телефон. «Надеюсь, не в милицию или психушку звонит», — мелькнуло в голове. Вратарник, поговорив, приоткрыл окошечко и утешил:

— Сейчас игумен подойдёт.



Слава Богу! Прощены.

Скоро, поправляя на ходу скуфейку и выбивавшиеся из-под неё волосы, невесть откуда возник игумен Никон. Разумеется, он тоже меня не узнал. Он вообще, по-моему, никак не мог понять, кто мы такие и чего от него хотим, но позвал нас в уже знакомый мне кабинетик. Я подсел поближе, а Алексей Иванович расположился в дальнем углу, если, конечно, можно так сказать о комнатке два на два метра.

...Я не в силах передать часовую беседу с игуменом. Этого-то я и боялся, уходя от прямых обязательств писать об Афоне. Что бы ни написал — всё будет фальшиво и неточно. И апостол Павел не смог найти слов, чтобы описать третье небо. Афон, конечно, не третье небо, так ведь и я не апостол.

Попробую передать ощущения. После первых слов игумена у меня возникло чувство недоумения, потом — досады и чуть ли не гнева — да за кого он нас принимает! Не проснулся, что ли?! Наступил момент, когда я прикрыл ладонью рот, чтобы скрыть усмешку. А батюшка продолжал сюсюкать с нами, как с маленькими детьми. Рассказал, что есть такая книга Евангелие, где написано много поучительного, приводил примеры, поведал о мытарствах блаженной Феодоры<sup>[16]</sup>; сообщил, что монашество на Руси основал Антоний<sup>[17]</sup>, который до этого был на Афоне, ознакомил с кратким житием Силуана Афонского<sup>[18]</sup>. И всё это с такой добротой и заботой, словно мы самые немощные и беспомощные существа.

Но постепенно тон разговора менялся. Нас задевали точные примеры из Евангелия, эпизоды из жизни святых. Я убрал от лица руку и теперь сидел с открытым ртом и впрямь, как маленький мальчик, очарованный открывающимся миром.

Отец Никон ненавязчиво, оберегая наше самолюбие, показал нам, кто мы есть на самом деле. Мы, читавшие Евангелие, слышавшие о Феодоре, Антонии, Силуане, не имели элементарного представления о мире. Потому что мы читали глазами, слушали ушами, а надо было — сердцем.

Мне стало страшно: куда мы едем?

Кто мы, как мы вообще дерзаем ступить на землю, где ступала нога Богородицы?

— В Пантелеймон сможете кое-что передать? — спросил отец Никон. — Вещей-то у вас много? Ну, пойдёмте, посмотрим, что там у нас...

«Записочки повезём», — шепнул я Алексею Ивановичу, пока мы шли за игуменом через монастырский двор, а затем оказались в небольшой комнате, похожей на школьный класс в предверии летнего ремонта — всё снимали, собрали в кучи, подвигали по углам и неизвестно уже, где что находится и зачем.

— Где же это у меня... — перебирался по комнате настоятель. — Ага. Вот! Что у нас тут? Книги. Это уставщику. А это? Тоже книги. А это? Это кому-то посылку передали. Что тут написано? Ну, тоже отдадите уставщику, там разберутся. Ну как, не многовато ли?

— Не! Не! — хором вострубили мы. — Нормально.

А в голове тоскливо пронеслось: «Как мы это всё потащим?»

— Оставьте одну, — отреагировал отец Никон на мои мысли.

— Нормально-нормально! Нам полезно.

«Записочками» оказались две здоровенные связки книг и средних размеров матерчатая сумка.

Вышли к воротам. Вратарник оказался земляком Алексея Ивановича и некоторое время оба радовались этому. Стемнело. В Москве небо чёрным уже давно не бывает. В лучшем случае тёмно-фиолетовым, но сейчас белые снежинки приятно украшали его.

Все невольно посмотрели на небо.

— Как же вы на таможне будете? — задумчиво произнёс отец Никон.

Мы насторожились.

— А-а, говорите всем «доро». Это «подарок» по-ихнему. Господь управит. Ну, с Богом! Помогай вам, Матерь Божия!

Мы благословились, подхватили «записочки» и вышли за ворота подворья. Через полтора квартала встали передохнуть и переменить руки.

— А что он имел в виду насчёт таможни? — спросил Алексей Иванович.

Я пожал плечами.

— Наверное, вес. Сколько у тебя сумка весит?

— Откуда я знаю?

— И я не знаю.

— И что теперь?

— «Доро». Будем говорить на таможне: «доро».

— И «ортодокс».

— А это ещё что?

— Это значит — «православный».

— Спаси тебя Христос за вразумление. Бери «записочки»-то.

В переходе метро мы купили здоровущую матерчатую сумку и, впихнув в неё «записочки», чуть ли не волоком потащили в гостиницу. По дороге купили на утро кефира, перед сном помылись в душе и облачились в чистое — как перед битвой.

## 5

Утро праздника Казанской Божией Матери началось для нас по-военному чётко. Подъём. Умывание. Утреннее правило. Плотный завтрак. Сдача номера. И перемещение с тяжестями к Павелецкому вокзалу.

А тишина какая кругом! Народу — никого, машин — никаких, и потому нас напугало дребезжание подкравшегося сзади трамвая. Мы даже не подумали, что можно две остановки

проехать. Своё надо нести самим. Это как в крестном ходе. Я, когда первый раз шёл, предложил одной бабушке, которая, казалось, вот-вот упадёт впереди меня, понести её сумку. В ответ услышал: «Спасибо, сынок, свои грехи сама носить буду». И мне стало стыдно, что часть своей поклажи, которая не должна была пригодиться до следующего привала, я забросил в услужливый «рафик».

Судя по «запискам», грехов у нас хватало. А за плечами у каждого рюкзак, в которых самый большой объём занимала водка. Что, в общем-то, тоже символично.

Дошли до храма. Он ещё только наполнялся людьми, но во всём чувствовалась праздничность — все вокруг были по-особому приветливы и нарядны.

Времени у нас было только свечки поставить и попросить Покрова у Божией Матери. Как чудесно, что наше паломничество начинается в праздник! Мы задержались в храме дольше намеченного чётким утренним военным расписанием, и я уже сам чувствовал, будто кто-то подталкивает: идите, идите, всё будет хорошо.

Как раз успели на скоростную электричку в Домодедово. Ещё успели взвесить багаж — потянуло на пятьдесят пять килограммов. В электричке я поделился своими опасениями с Алексеем Ивановичем. Дело в том, что за границей мне бывать приходилось, в том числе и с грузом. И в мозгу отложилось, что багаж не должен превышать двадцати килограммов, а ручная кладь — пяти. Как ни раскладывай вещи — пять килограммов выходили лишними. «Записки» мы оставить не могли.

— Придётся оставлять водку, — подвёл итог я и сурово посмотрел на Алексея Ивановича: — Осилишь? Не выбрасывать же...

Алексей Иванович посмотрел на меня с ужасом. Потом вздохнул:

— Всю — нет.

Я, конечно, веселился и потешался над бедным Алексеем Ивановичем, который с детской искренностью (если, конечно, так можно сказать о водке) воспринял ситуацию. На самом деле меня не покидала необъяснимая уверенность, возникшая в церкви, что всё будет хорошо. Ну, не везём же мы ничего лишнего!

А если везём?

И вдруг я вспомнил, что отправлявший нас грек сказал, что этим же рейсом летит с нами его сотрудник, который должен нас доставить на автовокзал и отправить в Уранополис. Ну неужели пять килограммов-то не возьмёт? И я поспешил утешить Алексея Ивановича, а то он и в самом деле испереживался: сейчас начинать освобождаться от лишних килограммов или всё же дожидаться таможни?

Однако радость от встречи в аэропорту с греком быстро развеялась — у него самого веса оказалось под завязку. Алексей Иванович снова стал серьёзен и грустен одновременно, и я, оставив его наедине с грузом, отправился шататься по аэропорту, словно должно было что-то попасться, что решило бы нашу проблему. Когда вернулся, по радостному лицу Алексея Ивановича понял, что пьянства он избежал.

— Наш-то грек, — сообщил он мне, а я отметил, как у нас быстро всё становится нашим, — встретил каких-то своих греков, которые тоже этим рейсом летят, и те согласились взять часть наших вещей.

В общем, что-то в этом роде я и предполагал.

После того, как устроилось с грузом, было ещё одно мелкое недоразумение, когда Алексей Иванович никак не мог пройти через таможенную рамку и постоянно звенел, словно сотворён был не из глины, а из железа. Но всё оказалось проще — Алексей Иванович, отправляясь в паломничество, увешал себя иконками и крестами — их-то рамка и не принимала. Пришлось снять. Рамка, недовольно пискнув, всё-таки пропустила, и мы оказались за границей. То, что за границей, мы определили по огромным ценам за малюсенькую чашечку кофе.

— Ладно, — гудел милостиво Алексей Иванович, прилаживая на груди обрётённые святыни, — хороший кофе.

У меня тоже было прекрасное настроение.

— Я, когда полгода назад летел, нам в самолёте вино предлагали.

— Тебе же нельзя? — подивился Алексей Иванович.

— Вот и я говорю: повезло тебе.

Вина нам не предложили, а в качестве еды была разогретая, видимо, уже не в первый раз пицца. Правильнее, конечно, это назвать салатом из ингредиентов, из которых предположительно готовится пицца, — но какая нам разница! Ещё несколько часов назад мы топтались по Москве — и вот под нами уже Западная Украина.

— Я там родился, — объявил пилот и назвал город.

Да слава Богу — мы всех вас любим!

В аэропорту «Салоник» мы получили свои пятьдесят пять килограммов и, волоча за лямки матерчатую сумку, рванулись к свету.

Сзади донёсся шум и движение. Не то чтобы за нами гнались (с нашими «записками» особо-то не разбежишься), но кто-то нас настигал. Оказалось, мужчина и женщина в фуражках. Местную таможенную, выходит, мы как-то не заметили.

Женщина стала тыкать в сумку и показывать пальцами назад, как бы намекая, что нам надо вернуться. С сумкой возвращаться не хотелось.

— Чё ей надо? — спросил у меня Алексей Иванович.

Я пожал плечами.

— Доро, — произнёс Алексей Иванович.

Он произнёс это так уверенно и с такой гордостью, словно сумка набита золотыми слитками для всей Эллады. Даже тётка примолкла.

— Ортодокс, — не менее торжественно произнёс я, чем добил её окончательно.

Тут подоспел мужик. С мужиками всегда проще договориться.

Мы повторили заученный пароль. Двое в фуражках продолжали выжидательно смотреть на нас.

— Чего они, не понимают, что ли? — спросил опять у меня Алексей Иванович. — Да книги там!

Он расстегнул матерчатую сумку и надорвал одну из пачек.

— Вот! Говорим же: доро! Ортодокс!

И таможенник махнул рукой. Мы подхватились и, не застёгивая сумки, устремились к выходу. Вот тут слово «устремились» будет уместно, ибо никакой тяжести в тот момент мы не чувствовали.

На улице — плюс двадцать, огромное синее небо и зелёная гора впереди. Вообще зелени кругом хватало. И это после закованной в камень Москвы с её минусом, мурашками снега на дряблом сереющем небе. Дополнял контраст сам аэропорт, больше похожий на автовокзал в городе средней руки — никакой суеты, все вышедшие с рейса быстро разошлись по автобусам и автомобилям, а других рейсов, казалось, и не предвидится.

Появился «наш» грек, который встречал ещё одного паломника. Рядом была автостоянка, там грек посадил нас в небольшую машинку, мы разместились на заднем сиденье, а попутчику предоставили возможность беседовать с греком. Тот по ходу с небольшим акцентом отвечал на всякие вопросы о Салониках. Мы глазели по сторонам на зелёные деревья и мелькавшие вдоль дороги рекламные щиты, и не было никакого ощущения, что мы за границей. Наоборот, казалось, что мы наконец-то оказались дома.

Такое чувство бывает, когда попадаешь в какой-нибудь тихий русский городок, с неспешными людьми на тротуарах, где городские автобусы настолько редки, что для них даже составляется расписание, и где разливается колокольный звон по вечерам. Чувство домашности окрепло, когда мы приехали на пригородный автовокзал, с которого должны были уезжать в Уранополис.

Милая провинциальность во всём: вынесенные пластмассовые столики, неспешные пассажиры и такие же неспешные автобусы, маленькое окошечко кассы и небольшой буфетик, где нам дали такой же кофе, какой подадут на любом автовокзале российской провинции. От сосиски в тесте мы решили отказаться — денег стало жалко, всё-таки валюта.

Я попытался объяснить буфетчице, что кофе надо без сахара и молока, при этом страшно коверкал и без того незнакомые слова. Она ответила:

— Да говори нормально.

И я ничуть не удивился, услышав родную речь, скорее, больше себе попенял: чего это я на тарабарском языке говорить пытаюсь?

Солнышко припекало по-весеннему, я, раздевшись до тельняшки, потягивал кофе и беседовал с Саньками. И над всем этим время от времени, словно музыка, журчало: «Паракало, паракало...»

Заглянув в разговорник, купленный в «Домодедово», прочитал, что «паракало» означает «пожалуйста» или «будьте любезны», и, получается, объявления начинаются так: «Пожалуйста, послушайте...». Это не наше «Внимание!» Хотя, может, и правильно. Но Греция, в которой не призывали к бдительности, нравилась мне всё больше и больше.

Теперь о Саньках. Вообще-то никаких попутчиков нам не желалось. Мы радовались, что едем вдвоём, и когда на греческом автовокзале обнаружили ещё два Санька, тоже едущих в

Уранополис и далее на Афон, Алексей Иванович так расстроился, что обиженно замолчал, и ознакомительный трёл пришлось вести мне.

Санёк, который приехал вместе с нами на машине, был примерно наш ровесник, грузноват, задавал много вопросов, но делать выводы и вообще говорить что-нибудь определённое не торопился. Он был москвичом. Как и положено для хорошей пары, второй Санёк был помладше, худощав, открыт и словоохотлив. Он щедро делился информацией об Афоне, почерпнутой, в основном, в интернете. Этот был — питерский.

Так мы просидели на пластиковых стульях три часа. Солнце потускнело и стало опускаться за окрестные горы. Резко похолодало. Я надел свитер, потом куртку.

Ровно в 18.45, как и было обозначено в билетах, подкатил огромный автобус. Тут, стало быть, указывают не время отправления, а время, когда ты должен быть на месте, а уж когда автобус поедет — Бог весть.

Минут через двадцать стемнело окончательно и автобус плавно, словно ему и требовалось, чтобы невидимая рука лишь тихонечко качнула его, покатил легко и бесшумно — к Афону!

## 6

Время от времени за окнами возникали из темноты подсвеченные маленькие копии церквей. Небольшого размера, чаще всего в полметра высоты, иногда поднятые на постаменте, они то и дело попадались вдоль трассы, которая становилось всё уже и всё более начинала петлять. Автобус перед очередным поворотом замедлял ход, и тогда в свете фар эти памятники можно было рассмотреть подробнее. Да, это были самые настоящие каменные, деревянные макеты церквей, и внутри во многих горели лампы. Сначала мы подумали, что раз церковки, в основном, встречаются на поворотах, то это своего рода указатели, потом я предположил, что это вроде наших придорожных надгробий, впрочем, они встречались так часто, что стоило предположить: население Греции гибнет исключительно на дорогах или что-нибудь другое<sup>[19]</sup>.

И тут автобус вкатился в сказку. Наверное, это был реальный населённый пункт, и можно раскрыть карту, залезть в интернет, и он обретёт своё конкретное имя, но... зачем этот мир? Ведь мы уезжаем из него. Пусть будет сказка.

Огромный автобус осторожно пробирался по тесным мощёным улочкам. Под крышами маленьких домиков причудливой формы фонари давали слабый свет, и в таинственной полутьме воображение легко дорисовывало сказочные домики милых человечков, и казалось, вот-вот появится где-нибудь на крыше Оле-Лукойе. Было неловко за наш огромный диназавроподобный автобус, вторгшийся в этот чудесный мир, и страшно оттого, что вот-вот эта махина заденет какой-нибудь из сказочных домиков.

Ни одной живой души не попало, пока мы пробирались по дремотным улочкам. И когда автобус пару минут стоял под особо ярким фонарём, никто из пассажиров не вышел и никто не вошёл.

Этот сказочный городок оказался как напоминание: мы направляемся в иной мир и, может быть, уже пересекли ту границу, когда одно бытие сменяет другое...

Потом были ещё городки, все совершенно разные, но все одинаково необычные и привлекательные. Входили и выходили пассажиры. Автобус катился дальше, закладывало уши на спусках, мелькали белые церковки... Было уютно и покойно. Я вспомнил, что при посадке в

самолёт отключил сотовый и забыл включить. «Как хорошо», — подумал я. И рука не дрогнула.

— А как мы узнаем, что приехали на предпоследнюю остановку? — нарушил покой Алексей Иванович.

— В смысле?

— Грек сказал, что нам надо выходить на предпоследней остановке, то есть перед конечной, так?

— Ну.

— Но то, что она была предпоследняя, мы узнаем, только когда доберёмся до конечной.

Я пребывал в межбытийном состоянии, вдумываться в силлогизмы Алексея Ивановича не хотелось, и я отослал его к Санькам, сидевшим у противоположного окна чуть ближе к водителю. Саньки занервничали, оттуда донёсся шелест карт и схем, листание разговорника и крики: «Бензинодико! Бензинодико!» — так транскрибировал название нашей остановки Санёк-питерский. Флегматичный водитель, слава Богу, никак на эти крики не реагировал и продолжал следить за дорогой. Народ в автобусе тоже, надо сказать, отнёсся к нарушению тишины спокойно. Алексей Иванович, растревожив Саньков, вернулся в своё кресло, давая понять, что к шуму не имеет никакого отношения. Саньки же взялись за дело всерьёз... Снова зашуршали страницы и Санёк-питерский выдал фразу на языке Наполеона Бонапарта. По интонации выходило, что мы хотим штурмом взять эту Бензинодико. Или умереть. Автобус насторожился. Более всего напугал, наверное, французский, который звучит здесь реже русского. Водитель что-то пробурчал под нос. Вопль повторился. Водитель ответил. На чисто греческом. Интонационно было понятно без переводчика. Санёк, как ни в чём не бывало, помахал нам рукой: «Всё нормально. Он остановит», — хотя казалось, что водитель имел в виду что-то другое.

Мы въехали в очередной городок, остановились у бензозаправки, часть пассажиров вышла, и автобус почти опустел. Когда он тронулся, откуда-то сзади донёсся спокойный женский голос:

— Вот же Бензинодико была, чего не выходили...

Слава Богу, до конечной мы добрались минуты за три. Водитель, не торопясь, открыл нам багажное отделение, мы выволокли сумки и глубоко вздохнули. Воздух был ароматен и опьяняюще свеж, где-то рядом слышалось море, впереди освещалась фонарями обратная дорога до бензозаправки.

Мы пошли по пустынной проезжей части, таща «записки», словно рыбаки сети. Саньки виновато маячили чуть впереди и сверялись по схеме, выданной нам греком в Салониках. По дороге две старухи, используя обрубки русских слов, пытались заманить нас на ночлег. Мы даже пообщались с одной, но только для того, чтобы переменить руки — нас ждала гостиница.

Саньки тем временем достигли искомого дома. На пороге грустно сидела тётка, очень похожая на средних лет дачницу, опоздавшую на последнюю электричку. Как она нам обрадовалась! А я, поставив сумку, вытер пот и сказал Алексею Ивановичу:

— Первым делом на Афоне сдаём «записки».

— Ты поосторожнее, — ответил тот, — видал, как мы с ними таможню прошли? То-то. Игумен не зря нам их дал — это наш пропуск на Афон.

— Но, когда мы туда попадём, мы первым делом их сдадим.

— Само собой. Попасть бы ещё...

Место ночлега не было гостиницей в нашем понимании слова. Это был двухэтажный жилой дом, на первом этаже которого обитала хозяйка, а второй поделён на восемь комнатушек с общей душевой. В доставшейся нам влезли две кровати, шкаф и небольшой столик. Ещё был балкон, как шатёр, укрытый крупными листьями Бог весть каких деревьев.

Умостив между кроватями сумку с «записками», мы сбросили рюкзаки — стало легко и весело. Теперь — к морю!

По дороге заглянули к Санькам. У них комната оказалась попросторнее, имелся персональный душ, а с балкона открывался вид на спящий город и — море!

— Быстрее, быстрее, — торопил Алексей Иванович, — а то увяжутся же.

Море оказалось в нескольких шагах, оно тёплое и ласковое, и не хотелось касаться его пыльными ботинками.

— На обратном пути надо будет обязательно искупаться, — решил Алексей Иванович.

Вдоль берега тянулись вытащенные на сушу деревянные баркасы. Они лежали на боку и в лунном свете походили на огромных морских зверей, выбравшихся на ночлег.

И — ни души. Тихо. Хорошо.

Мы стали подниматься на набережную улочку и наткнулись на Саньков.

— О! — обрадовался питерский, — а мы вас потеряли.

— К морю торопились, — повинился я и, кивнув в сторону, разрешил: — Можете умыться.

Они в точности повторили наш обряд омовения. Питерский, распрямившись, спросил:

— Видели паспортный контроль, где диамонитирионы дают?

— Угу.

— Пошли ещё билетную кассу найдём. Чтоб завтра не искать.

— Мы вообще-то кафе хотели найти, — сказал Алексей Иванович. — И посидеть там. — Слово «посидеть» он произнёс так, словно каждый слог был в нём ударный. После паузы добавил: — Спокойно посидеть.

Санёк пропустил и ударения, и наречие.

— Так по дороге найдём.

Набережная, где первые этажи домиков занимали магазинчики для паломников и ресторанчики, была пуста. Мы лениво обсуждали, во сколько лучше встать завтра и какую карту Афона лучше купить, как услышали:

— Молодые люди, не проходите мимо!



В дверях ресторанчика стояла невысокая женщина, похожая на белую курочку. Ну, учитывая, что одёжа на ней больше походила на халат шашлычника с волжской набережной в конце лета, то всё же — на пеструшку. Нет, мы определённо были дома!

Алексей Иванович встал.

— Заходите! Покушайте! — она сказала это так искренне и задушевно, что все шашлычники отдыхают — всё-таки Европа.

Санёк-питерский спросил:

— А далеко здесь до кассы?

— Да нет, вон, где набережная кончается.

— Надо сходить, — вздохнул Санёк, поглядывая на Алексея Ивановича.

— Вы идите, а мы посидим, — как можно вежливее, сквозь зубы, выдавил Алексей Иванович.

У меня никогда не хватило бы духу так в наглую отшивать соотечественников, и я посмотрел на Алексея Ивановича с благодарностью. И виновато — на Саньков. Ну, они и пошли.

Мы не стали заходить внутрь, прошли в огороженное оранжевой плёнкой то ли от других ресторанчиков, то ли от ветра пространство, выбрали ближний к морю столик и обрели покой. Было тихо и хорошо. Но пришлось говорить — подошла наша милая пеструшка. Звали её Яна. Родом она была с Украины.

— Ты как? — зная мои хвори, спросил Алексей Иванович.

Мне пришлось долго бы объяснить, и всё равно никто бы ничего не понял, потому я просто кивнул.

— Пол-литра сухого красного вина, только какого-нибудь именно вашего, местного вина.

— О! У нас есть отличное домашнее вино.

— И сыра! — подал-таки я голос.

— Я принесу вам фету! — торжественно объявила пеструшка.

— Несите.

Когда она ушла, Алексей Иванович спросил:

— А что такое фета?

— Какая разница? — вопросом на вопрос ответил я.

Вино и фету<sup>[20]</sup> нам принёс сухонький невзрачного вида, но с очень добрым и улыбчивым лицом этакий состарившийся петушок. Ещё он принёс большие папки с меню, в котором мы ничего не понимали, как и в его иноземном лопотании. Пришлось звать пеструшку, и скоро на столе появились салаты, мясо с обилием гарнира и подогретый слегка хрустящий хлеб.

Где-то в середине трапезы снова появились Саньки... Впрочем, это было уже неважно... В

гостинице прочитали вечернее правило, затем не могли остановиться и стали читать благодарственные молитвы, потом — просительные. Спать не хотелось.

Кто-то из нас заглянул в шкаф и там обнаружил тёплые одеяла. Укутавшись, всё-таки легли и тут же уснули.

7

Самое яркое впечатление утра — свисающие над балконом гранаты. 5 ноября, в Москве — мороз, а тут... Вот полицейский участок напоминал обычное районное почтовое отделение: сотрудники огорожены деревянными барьерами со стёклышками, на стенах — такие же плакаты, только на греческом.

Вдоль барьеров тянулась очередь. Просовывали паспорт, делали шажок — паспорт возвращался, шажок дальше — протягиваешь двадцать евро, ещё продвижение — получаешь жёлтый листок формата А5: это и есть пропуск на Афон — диамонитирион.

Только протянул паспорт, появились Саньки.

— Это с нами, — пояснил я, пропуская Саньков вперёд, и на всякий случай добавил: — Мы занимали.

Не знаю, доходчиво ли объяснил, но никто не возмущался.

Алексей Иванович, видимо, до конца сомневался, что всё получится, и когда задержался у последнего окошечка, засвидетельствовал:

— Ортодокс!

Человек в форме покосился на Алексея Ивановича, но заветный документ выдал.

Буднично всё получилось. Даже несколько обидно стало, хотелось хоть мало-мальской торжественности, что ли, напутственных слов хотя бы.

Мы с женой так расписывались. Зашли, подписали бумаги, получили свидетельство, вышли. Постояли на выходе, словно не веря, что вот мы уже муж и жена, а пять минут назад как бы ими и не были. Ничего не менялось в окружающем мире. Гром не грянул. Мужики не крестились. И мы отправились каждый по своим делам: жена кормить новорождённого, а я, обретя повод, за пивом.

Мы занесли вещи к Яне, заказали яичницу и отправились к кассам. У закрытого окошечка толпился народ — человек тридцать, половина монахов и священников. Русские батюшки выделялись статностью, благородной сединой и старанием держаться чуть в стороне.

Мы повернулись к морю и сразу узнали наш корабль — большой трёхпалубный морской паром, по борту которого ясно читалось: «Святой Пантелеймон». Надпись была, конечно, на греческом, но сразу бодрее забилося сердце — мы и должны первым делом попасть в Пантелеймонов монастырь, можно подумать, специально за нами из монастыря послали. Паром, слегка покачиваясь на волнах, казался большим белым айсбергом, прибывшимся к маленькому городку.

Мы подошли ближе и заглянули внутрь пока пустого чрева, по которому, громко переговариваясь, прохаживались несколько человек. Мы с уважением смотрели на них.

Неужели через час мы поплывём на этом чуде? Я невольно пощупал сложенный в кармане диамонитирион.

Да, оставался всего час. Мы повернули к кассам и, сходя с пирса, увидели маленькую, чуть больше роста человека, часовенку. Зайти можно было только одному. Но как уютно было внутри! Перед большой иконой Николая Чудотворца горела свеча.

Как Господь всё разумно расставляет на нашем пути! Почему, почему мы не замечаем Его знаков? Почему мы не можем видеть мир таким, каким устроил его Бог?

Ведь мир не меняется. Ну, пересел человек с кибитки на поезд, ну, пишет не гусиным пером, а на компьютере, но что изменилось в самом человеке? Разве он стал по-другому переживать любовь? Разлуку? Смерть? Да, человек старается мир заполнить собой, думая заглушить, вытеснить, заслонить всеми этими новыми предметами Бога. Но Божий-то мир неизменен! Вот в чём штука. А прогресс — да, он всё усложняет... А как хочется простоты... Чтобы око было просто...

Мы вернулись к кассам, как раз когда подле началось шевеление. Алексей Иванович сопротивлялся, но я убедил его, что это единственная возможность разменять его сто евро. Он попытался всучить сотку мне, но я отказался брать чужие деньги и, отойдя к батюшкам, занял выжидательную позицию.

Через пять минут Алексей Иванович вывалился из небольшого людского клубка, возбуждённо размахивая белыми билетиками, словно выиграл в лотерею. И в самом деле, разве это не выигрышные билеты? Кстати, вспомнил: до Пантелеимонова монастыря они стоят семь евро, а до Дафни — девять.

И снова я не испытал каких-то особенных чувств, словно точно знал, что именно так и будет.

Мы побрели к Яне. Саньки как раз заканчивали завтрак, мы помахали перед их носами билетами, те активнее заработали вилками, и через пару минут мы остались в ресторанчике вдвоём. Яна принесла королевскую яичницу. Невероятных объёмов у них порции. Если они думают, что мы и дома так едим, то, наверное, для Европы Россия и впрямь великая и богатая страна. Но начали мы с вина.

Как-то всё легко и последовательно у нас складывалось — это расслабляет. И мы попросили Яну налить нам в дорогу полторалитровую бутылочку. А что, шли бы где-нибудь промеж гор, останавливались бы да прихлёбывали... — хорошо. Так нам вдруг представилось наше паломничество.

— Мальчишки, не надо вам вина туда, — сказала Яна. И так по-доброму, по-матерински, что стало стыдно.

— Не надо, так не надо, — согласился Алексей Иванович. А когда она отошла, сказал: — Тут ничего случайного не бывает. Это не она нас удерживает, а Господь.

— Да я что, я ничего...

— Вот и не надо, — закрыл тему Алексей Иванович и минуты через две, когда мы молча допили кофе, вздохнул: — А жаль...

Мы подхватили «записки» и, сосредоточившись, в основном, на сумке, только два раза встав переменить руки и перевести дух, лихо протащили её и поставили на нижней палубе у левого

борта.

— Уф-ф... — облегчённо выдохнул Алексей Иванович и шёпотом спросил: — А чего это они там проверяют?

Я оглянулся на людей в форме у трапа.

— Билеты, наверное.

— А у нас почему не проверили?

Мы посмотрели друг на друга, потом снова на полицейских, останавливающих на входе людей, и расхохотались.

— Ай да отец Никон! Доро, доро! Он не груз, он пропуск нам дал!

Я заметил прошедших контроль Саньков, которые поднимались на верхнюю палубу. И почти сразу задрожало нутро парома, подняли трап и мы медленно, словно что-то ещё должно было случиться, стали отходить от земли.

— Пошли наверх, — предложил я.

— А вещи? — спросил Алексей Иванович и сам же рассмеялся, хлопнув себя по лбу.

Мы сняли рюкзаки и, приставив их к сумке с «записками», пошли за Саньками.

На верхней палубе сильный ветер пробирал насквозь. Рядами стояли пластиковые стулья, но на них почти никто не сидел — сама мысль сидеть на таком холодном ветру вызывала озноб. Саньки позвали на среднюю палубу, там был большой зал, но Алексей Иванович счёл, что куревом он согреется лучше, а я боялся, что из-за стекла могу пропустить важное — где кончается мир и начинается иное.

Минут через десять мы спустились к нашим вещам, там от ветра можно было спрятаться за железной опорой.

Паром плыл недалеко от берега, который сразу из воды горой поднимался вверх, земля едва прикрывала камни, и растительность, в основном широкие и низкие кустарники, была скудна. Вот показалось что-то похожее на развалившийся песочный замок, какие строит на летних пляжах детвора, — скорее всего, это старая крепость, за которой должен начинаться Афон. Так где мы — там или ещё здесь? Гулко раздалось сверху:

— Паракало! Иваница! — и паром стал заруливать к берегу.

Несколько удивило не греческое название пристани. Позднее узнали, что это арсана <sup>[21]</sup> сербского монастыря Хиландар.

Берег выглядел заброшено: глиняный невзрачный домишко да выдававшаяся в море каменная плита, обозначавшая причал. Паром подступил к ней, с цепным грохотом опустил носовую часть, и два монаха сошли с корабля. Цеп заработала обратно, зев парома захлопнулся, и корабль дал задний ход. Монахи забросили небольшие котомки за плечи и пошли по еле виднеющейся тропинке вверх и скоро скрылись.

Мы отплыли от берега, и ветер принялся за нас с новой силой: то ли не пускал на Афон, то ли

наоборот: старался выдуть всю накопившуюся дурь.

Когда мне было лет двадцать пять, в одном из мордовских монастырей отвечающий за исповедь монах пригласил меня после службы к себе в келью и мы час проговорили с ним. По молодости я полагал, что могу разговаривать с монахами, вместо того чтобы слушать их. Неожиданно монах сказал:

— Идём к нам в послушники! Тебе это легче будет, хвоста-то нету.

Предложение огорошило. Разговор сам собой свернулся, и до дома я пребывал в ступоре. Войдя в квартиру, опустил дорожную сумку, включил свет в коридоре — и вдруг сладостно ощутил: я — дома. И ни в какой монастырь завтра послушником идти не надо. Какое облегчение испытал я тогда!

Мне и сейчас неловко за ту накатившую радость.

Словно не выучил урок, а должны были обязательно спросить, и вот в школе узнаёшь, что учитель заболел. Вот такой я ученик.

Вдруг представил, а что если скажут: оставайся, вот тебе келья, живи, молись — ты же этого хотел: покоя и тишины?

Я затряс головой, отгоняя наваждение: нет, не скажут, у меня теперь хвосты: жена, ребёнок, второго ждём...

Нет, не скажут. Не должны...

Алексей Иванович подумал, что трясёт меня от холодного ветра и предложил:

— Дать тебе куртку?

— Скоро уже приплывём, — ответил я. — Говорили, до Дафни час с небольшим плыть, Пантелеймон — перед Дафни, а мы уже минут сорок плывём.

— А мы не прозеваем?

— В смысле?

— Ну, вон Бензинодико тоже предпоследняя была...

Я кивнул на сумки:

— «Доро»!

Паром огибал очередной выдававшийся в море уступ горы, и — мне даже показалось, что блеснуло солнце, — мы увидели Пантелеймонов монастырь.

Мы узнали его сразу. Хотя ни разу не были здесь. Да, видели фотографии, да, читали описания в путеводителях — но мы узнали его сердцем! Это наш родной Пантелеймонов монастырь!<sup>[22]</sup>

Перед нами поднимался настоящий город — с огромными домами, башенками, куполами, крестами. От его зелени и бирюзы веяло свежестью, как от заново выкрашенной перед Пасхой церкви. И то, что монастырь не был отгорожен массивной крепостной стеной, тоже нравилось.

Конечно, этому есть логичное мирское объяснение — подъём Пантелеимонова монастыря пришёлся на XIX век, когда уже не нужно было опасаться набегов пиратов и турок. Но об этом не думаешь: ты не видишь стен и сразу веришь, что здесь готовы принять тебя.

Но кто я такой, чтобы входить в этот чистый бирюзовый город? Всякий мой шаг, всякое движение, всякий помысел будет пятном на его челе. Как я вообще могу думать, что войду туда!

Да и не пустит никто. Дай Бог, скажут, вон там, за обителью, сарай, живи, если хочешь. Хочу. Господи, хочу! Дай быть ближе к Тебе! Хоть под стенами обители Твоей...

Между тем перед носовой частью парома, которая словно челюсть громадного кита вот-вот должна была опуститься, собралась довольно внушительная группа человек в тридцать — половина из них батюшки разного возраста, чина, опытности и комплекции, но все неуловимо схожие — все благоговейно смотрели на поднимающийся над нами монастырь. И наш паром, дотоле казавшийся огромным китом, из чрева которого мы должны были выйти, теперь представлялся малой посудинкой, лодчонкой, доставившей нас через море милостью Божией. Спаси Христос её за это и всю её команду.

## День первый

### 1

Не помню толком, как мы сошли на берег. Поначалу и берега не было, а тянулся глубоко врезавшийся в море пирс. Потом под ногами оказалась брусчатка, и я заметил, что Алексей Иванович стоит на коленях и целует её. Потом он поднялся и посмотрел на меня радостно и лучисто. Волосы всклокочены, борода — набок, хемингуэвский свитер дополнял облик счастливого путешественника, вернувшегося домой.

— Ну, слава Богу, Сашулька, добрались...

Ну почему я не могу быть таким?! Почему я скрываю в себе то, что хочет вырваться наружу?

Я не крещусь, проходя мимо храма, а если и крещусь, то украдкой, оглянувшись, не видит ли кто; когда меня приглашают к одиннадцати на какое-нибудь мероприятие, я начинаю сочинять несуществующие дела и совещания, хотя на самом деле собираюсь на праздничную Литургию, и мне стыдно признаться, что иду в храм; когда при мне начинают нести околоцерковную околесицу, я опускаю глаза и стараюсь не вмешиваться — почему я стесняюсь быть православным?!

Я перекрестился.

— Пойдём, — и взялся за ручки сумки.

Когда поднимались по брусчатке, начал накрапывать дождик. Тихий, русский задумчивый дождик. То ли грустно ему, то ли умиляется — не поймёшь.

Паром исчез за мысом, и вокруг совсем не осталось признаков сегодняшнего времени, а брусчатка, сложенные из серого камня стены настраивали на XIX век — период расцвета русского монашества, русской литературы, русской государственности... И казалось, что тёмная арка за воротами монастыря и есть некий сакральный переход в то время.

Наверное, схожее или похожее чувство испытывало большинство прибывших паломников,

сбившихся в кучку перед воротами монастыря. Переминались с ноги на ногу, тихонько переговаривались, робко заглядывали в арку — вглубь идти никто не решался. Кто-то слышал, что вновь прибывшим велено собраться перед воротами и никуда не расходиться. Кем велено?

— Чего мы стоим? Надо идти уставщика искать, — зашептал на ухо Алексей Иванович. — Сдадим «записки», и, глядишь, помогут устроиться.

— Стой, — отмахнулся я.

— Или в гостиницу сначала?

— Да успокойся.

— А вдруг с местами проблемы... Нет, сначала надо посылку...

И тут появился небольшой старичок. В рясе. Но она как-то не замечалась, то ли монашеское облачение уже примелькалось и перестало казаться чем-то необычным, то ли сам старичок был куда замечательнее своего облачения. Невысокого роста, подвижный, но не суетливый, он как-то сразу всех охватил, собрал, пересчитал и при этом не переставал складно говорить, словно рассказывал сказку.

Старичок повёл нас к арке. Кто-то спросил про сумки, старичок удивился вопросу, потом махнул рукой: «Да оставьте вы их...». И в самом деле — в новый мир надо входить налегке. Мы вошли в арку. По одну сторону была большая икона целителя Пантелеймона, у которой горела лампада, и все, проходя, прикладывались к иконе, по другую — церковная лавка и старичок рассказал, когда она работает.

Старичок привёл нас на небольшую площадь, и мы остановились возле высокого, судя по всему, храма (вообще мне поначалу каждое здание казалось храмом, настолько они были хороши и величественны, и каждое венчал крест), на колокольне которого красовались огромные старинные часы. Площадочку обступали ещё несколько зданий — напротив часов угадывался храм поменьше, прямо по нашему ходу — очень красивое бирюзовое здание со множеством лесенок, балкончиков, террасок, верандочек, построек, и я определил его как место пребывания настоятеля или жилище для особо почётных гостей — архиерейские палаты, например. В общем, площадь выглядела примерно так, как нам показывали в советских фильмах главные площади сказочных городов: ратуша с часами, храм, дом бургомистра. Только здесь всё радостнее! Когда в детстве я смотрел такие фильмы-сказки, то понимал, что это хоть и красиво, но не наше. А теперь я видел всё въяве и ощущал, что — моё. Господи, а как же тут хорошо, наверное, весной!

Старичок дождался, пока мы осмотримся и попривыкнем, и представился:

— Меня зовут Олимпий. Не Алимпий, а Олимпий. Олимпийские игры знаете? Вот меня в честь них и назвали.

Некоторые из стоящих вокруг «олимпийца» переглянулись, но мы-то с Алексеем Ивановичем, хоть сразу и впрямь стало весело, уже имели урок от игумена Никона — над монахами смеяться нельзя, и ждали, что будет дальше.

— Посмотрите на это великолепное здание, — старичок указал на возвышающуюся «ратушу с часами». — Это здесь самое главное здание. Запомните его хорошенько, это — трапезная. А на самом верху — часы. Сколько времени видите?

— Половина двенадцатого, — сказал кто-то.

— Вы внимательнее смотрите.

Вообще-то часы, если они и в самом деле шли, подходили к несколько двусмысленной для монастыря отметке «половина шестого». Конечно, только испорченный миром насмешливый умишко мог отметить здесь некую связь; вспомнил, что в одном из наших монастырей тоже видел часы, на которых стрелки замерли на половине шестого, и мы тогда со спутниками пошутили, что-де это специальные монашеские часы, которые напоминают о данных обетах. Чтобы не выдать себя, я решил молчать. Почему-то молчали и остальные. Наконец нашёлся среди нас один догадливый:

— Двадцать пять минут шестого.

— Правильно, — заулыбался Олимпий. — Вот это и есть настоящее время, так что смело переводите часы. По этому времени живёт весь Афон, и никакая власть не в состоянии изменить его никаким декретом, потому что это — вселенское время. Полночь наступает с заходом солнца.

В это же время закрываются ворота монастырей. Начинается Всенощное бдение. Потом отдых и келейное правило, в семь часов — полунощница, часы и Литургия. Потом — трапеза. Полный распорядок вывешен в архондарике. Теперь — о поминовениях. Молитва монашеская — великая вещь. Памяти<sup>[23]</sup> можно подать и на год, и на полгода, и на одну службу. Все имена прочитываются либо во время Всенощного бдения, когда читается Псалтырь, либо особо во время Литургии, когда вынимаются частички из просфоры. Принято, что жертва за одно имя, чтобы читали его в течение года, сто восемьдесят евро, а если во время чтения Псалтыри — тридцать. Если хотите заказать имя на обедню, то одно имя — пол-евро. После того, как мы пройдем по монастырю, мы вернемся сюда. А служба будет вот здесь. Да вы повернитесь от трапезной...

Мы, конечно, понимали, что стоим возле храма (тут кругом храмы<sup>[24]</sup>), но в сравнении с вознесшейся трапезной он выглядел скромно. Да и Олимпий рассказывал без ожидавшихся благоговейных охов и ахов, а как-то по-свойски. Сказал, что есть ещё один храм — верхний. Служат поочередно: одну неделю в одном, другую — в другом.

— Мы сейчас сходим в верхний, там приложимся к мощам, а потом вернемся сюда и займемся записками, — и скоренько двинулся вверх по улочке. Мы — за ним.

Поднялись на второй этаж самого красивого здания, которое я про себя окрестил «архиерейским». Олимпий извлёк из кармана огромную связку ключей на длинной верёвке, ловко подкинул её, нужный ключ сам выпал ему в руку и мы вошли внутрь.

Не знаю, специально ли Олимпий нас так подготавливал, всем своим видом придавая некую обыденность окружающему, или просто старичок уже сжился, слился с этим миром, он живёт им, и внешняя сторона перестала поражать его, но мыто? Оробевшие от открывшегося великолепия, мы толпились у входа, не решаясь ступить в покой храма.

Не могу сказать, что храм поражал грандиозностью, убранством (хотя доносился голос Олимпия, говорившего о золоте) или необычайностью, — возникло чувство, что стоишь на пороге тайны. И даже если тайна не откроется, то само ощущение её явственной близости, едва ли не вещественной осязаемости, волновало и заставляло трепетать всё существо.



Олимпий торопил в ризницу. Я ещё раз окинул высокие своды разделённого на два придела храма: поверху тянулись похожие на театральные балкончики хоры, вдоль стен стояли, как часовые, деревянные кресла, напоминающие царский трон, стоящий в алтарях наших храмов, и удивительно — свет на всём. Откуда? Ведь за окнами — мелкий осенний дождик. Может, это золото отдаёт свет? Может...

Ах, да... ризница... Трепет достиг уже какой-то ужасной грани... По периметру небольшой комнаты (вполовину «хрущёвки») стояли лари, какие обычно бывают в музеях и под стеклом... Я сначала не понял, потом не поверил — да это же святыни! Главы, длани, стопы, частицы величайших святых, великомучеников за Христа, его сотрудников на земле. Но это же не музей — Бог не есть Бог мёртвых. Вот они, святые, здесь, со мной.

Если современному затравленному прогрессом человеку дать вдохнуть слишком много чистого воздуха, он начнёт задыхаться. Примерно то же случилось со мной. Оказавшись среди сонма святых, я почувствовал, что не могу дышать этим воздухом. Мы плотной вереницей, как бы поддерживая друг друга, потянулись вдоль комнатки, подходя к каждому святому, целовали его <sup>[25]</sup>.

Мудрый Олимпий торопил: он понимал: нам, духовным младенцам, нельзя давать сразу много. На улице его бодренький голос вернул к земному бытию.

— Сейчас размещайтесь в архондарике, а после, кто хочет подать записки, приходите в нижний храм, там я всех запишу.

— Записки! — хлопнул себя по лбу Алексей Иванович.

— Простите, а где найти уставщика?

Но Олимпий исчез так же неуловимо, как и появился.

Прибывший народ потянулся на выход за вещами и в направлении архондарика, который располагался за стенами монастыря. Нас попытались увлечь за собой Саньки, но мы, сославшись на необходимость передачи посылок, предпочли остаться на площади. Ну, а дальше что?

— Пошли в храм зайдём, может, Олимпий туда пошёл.

— Ищи его... Куда мы теперь... Надо искать уставщика, может, и с размещением поможет?

И тут пришла простая мысль: для того, чтобы мы опять пошли по правильному пути, надо взять записки! А посылка уж сама выведет.

Так и вышло! Мы вернулись к опустевшей площадке, где оставляли вещи, надели рюкзаки, прихватили сумку с «доро», и тут же появился монах, который подсказал, куда идти, потом другой возник меж безлюдных улочек монастыря и безмолвно указал на одну из дверей сбоку самого красивого дома.

Мы постучали. Никто нам, разумеется, не открыл.

Подёргали за ручку и постучали сильнее. Тут Алексей Иванович догадался:

— Молитвами святых отец наших...

— Да вы сильнее ручку нажимайте, — донеслось из-за двери.

Мы оказались в светлой горенке. Чуть дальше уходили вверх и вглубь лесенки и коридорчики, а перед нами стоял высокий монах.

— Ну? — улыбнулся он.

— Вот! — и мы с гордостью выставили сумку с книгами.

— Это отец Никон передал с московского подворья Пантелеимонова монастыря, — я произнёс это, словно вручал верительные грамоты.

— А-а, — снова улыбнулся монах, — это, наверное, книги.

— Ну да, книги для уставщика, но там ещё и другие посылки есть.

— Николай, — позвал монах, — тут тебе книги привезли.

Откуда-то, словно сквозь стену прошёл, появился слегка заспанный молодой монашек и тоже улыбнулся. Раскрывая пачку, он так по-детски обрадовался, что даже стало завидно.

— О! Книги! Хорошо-то как!

Словно нет у них тут книг, одна из самых богатых библиотек Афона, между прочим, находится в Пантелеймоне [26]. Это нам к ним за книгами приезжать надо. Но, если честно, то задевала не детская радость монашка, а полное непочитание наших трудов.

— Спаси, Господи, — сказал высокий монах.

Мы не уходили.

— Мы тут всё разберём и передадим.

Мы всё ещё топтались, наконец Алексей Иванович не выдержал и, намекая, что «мы тут сами не местные», начал:

— Мы тут... это... только приехали... в смысле, приплыли... нам бы... это с ночлегом...

— А-а! — ещё больше обрадовался высокий монах. — Это вам в архондарик надо.

— А это где? — спросил я, чтобы не подумали, что мы напрашиваемся к ним в красивый домик.

Монашек открыл дверь, и нам пришлось выйти с ним из светлой горенки. По-прежнему моросил дождик.

— Выйдете за ворота и — прямо.

Ну, мы и пошли.

А чего ты хотел? — то ли Алексей Иванович думал примерно так же, как я, то ли я ворчал вслух. — «Уходишь — счастливо, приходишь — привет!» Нечего из себя героев строить. Книги нам даны были как пропуск. Это не мы их тащили, а они нас. Так-то!

Вокруг монастыря стоят три многоэтажные коробки из серого камня, пустыми глазницами окон вызывающие в памяти кадры военной хроники. Два дома, которые стоят у самого моря — пусты. А ведь ещё в начале прошлого века они все были наполнены монахами, какое многолюдье славил Богу — сколько радости здесь было <sup>[27]</sup>. Мы сами лишили себя этой радости. И вот мир наш такой же, как эти дома, — вроде и стены есть, можно даже укрыться от дождя и ветра, но радости нет. Пусто.

Третий дом, отделённый от монастыря небольшим садиком, — обитаем и восстанавливается. На первых двух этажах архондарик, что значит «гостиница», а выше идут работы — здание наполняется жизнью.

Войдя, мы сразу наткнулись на вещи прибывших паломников и, приложив наши рюкзаки и общей куче, пошли на доносившиеся негромкие голоса.

Внутреннее строение дома весьма просто: длинный коридор, по обе стороны которого — кельи. А в конце — небольшая комната, в которой два длинных стола, за которыми сидела вновь прибывшая братия и допивала кофе. Большинство уже откушало и толпилось возле небольшого окошечка, похожего на раздаточную. Мы с Алексеем Ивановичем уселись на свободное место за столом. Никто на нас внимания не обращал. Через некоторое время Алексей Иванович определил:

— И тут опоздали.

Я почему-то почувствовал себя виноватым, хотя никак не мог вспомнить, где мы опоздали ещё. Поднялся и пошёл искать кофе. В углу зала была отгорожена небольшая кухонька, там стояли чашечки, лежал разложенный по небольшим вазочками лукум. «Может, у них тут самообслуживание», — подумалось мне, и я чуть было не полез в кухоньку, но тут, слава Богу, позади меня оказался послушник, молодой и тоже улыбающийся.

— Вы садитесь, сейчас я подойду.

Я вернулся и сел напротив Алексея Ивановича, коря теперь себя за суетливость, сцепил руки замком и отвернулся от мира. Тем временем подошёл послушник, Алексей Иванович оживился и стал меня тормозить, возвращая в действительность. А когда я вернулся, то оказался перед новым искушением: мне предлагалась рюмка водки.

Врачи строго-настрого наказали: пить мне нельзя вовсе. Ну, только в самом крайнем случае, если уж будет невероятный повод, встреча с президентом, например, где отказаться никак будет нельзя, то чуть-чуть красного сухого вина не смертельно. В чём, кстати, вчера на набережной я и убедился.

Не то чтобы уж очень хотелось выпить, но получалось, что я отказывался от некоего ритуала, от дара, которым принимали гостя.

Никто, конечно, пить меня не заставлял.

Я чуть подождал, но по-прежнему никто не уговаривал, вздохнув, я промямлил:

— Нет-нет, я не могу...

Алексей Иванович с благодарностью посмотрел на меня и принял обе рюмки. Монах ушёл.

— Да ладно, не переживай, тут рюмки-то — баловство одно, я и распробовать не успел...

Лекарством каким-то отдаёт...

Тут принесли кофе. Чашечки тоже маленькие, но кофе — горяч и хорош. Ещё поставили вазочку с лукумом, обильно посыпанным сахарной пудрой, в которой мы быстро заляпались.

Алексей Иванович совсем повеселел.

— Ну, что, Сашулька, живём! Эх, покурить бы ещё. А пойду-ка я выйду. Ты пока контролируй тут всё...

Я ему искренне позавидовал. Тут же подумал: а что завидовать, разве мне сейчас тоже не хорошо? Не было никакого ощущения, что мы где-то за тысячу вёрст от родного дома. Разве что запах кофе и сладкие от пудры пальцы придавали дому новые оттенки.

Зашевелился собравшийся у раздаточного окошка народ. Я так и подумал: будут что-нибудь ещё давать, но, оказалась, началась перепись прибывших и распределение по кельям. Дождавшись, пока очередь немного разгладится и обретёт чёткую структуру, я пристроился в хвост. Минут через пять объявился Алексей Иванович, совсем уж нескромно-радостный от очередного открытия.

— А мужики-то прямо здесь курят, — зашептал он мне на ухо. — Я спрашиваю у одного трудника, где, мол, можно, а он: выйди, говорит, с той стороны дома на балкончик и кури. Можно, стало быть! Во как!

Господи, как просто сделать человека счастливым! А очередь наша приближалась, и я уже видел монаха, записывающего всех в большущую книгу. Я сначала подумал: амбарная, а потом — книга жизни.

Вписывающий в книгу монах был по-ангельски светел лицом и тонок. Он, как и все здесь, при общении улыбался. Глядя на него, можно подумать, что заполнение книги — самое неприятнейшее в мире занятие.

Однако, покрутив наши диамонитирионы, он посмотрел на нас с огорчением.

— А где вы их взяли? — прозвучал несколько неожиданный вопрос.

И тут, перебивая друг друга, мы стали рассказывать, как отец Никон нам всё устроил, как мы тащили от него посылку и какие мы, в итоге, молодцы — вот, ну, и отец Никон, конечно.

— Подвёл вас отец Никон, — всё так же печально держа наши диамонитирионы, проговорил записывающий.

— Да он нас спас! — воскликнул Алексей Иванович.

И столько в этом возгласе было благодарности и веры, что многие оглянулись. А записывающий стал вписывать нас в книгу. Заминка случилась на вопросе о нашей профессии. Алексей Иванович постарался представиться с неменьшим чувством:

— Писатели.

— Сценарии всякие пописываете, сериалы... — уточнил монах.

— Нет, мы — настоящие, — и опять это заставило некоторых оглянуться.

Монах больше ничего не спрашивал, вернул нам диамонитирионы и назвал номер комнаты, то есть кельи.

Почему наши диамонитирионы не понравились в Пантелеймоне, мы догадались позже. Оказывается, чтобы получить диамонитирион, надо обязательно заручиться приглашением монастырей, которые затем указываются в диамонитирионе, и именно в этих монастырях паломников ждут на ночлег. Мы же, по милости отца Никона, дай, Господи, ему от всех Твоих благ, поехали на Афон через греков, вызовы нам делали греческие монастыри, в которых, получается, мы и должны ночевать. Но мы-то этого не знали! Мы вообще были счастливы, что попали на Афон.

— А ведь, пожалуй, сдали мы отца Никона, — сказал я, когда мы спустились на первый полуподвальный этаж в поисках нашей кельи. — Кажется, здесь не приветствуется, чтобы подворье направляло паломников на Афон помимо паломнической службы.

— А я о другом думаю, — сказал Алексей Иванович. — У нас первый раз проверили по-настоящему документы. А почему? Потому что сумку с «доро» сдали.

— Что же, её через весь Афон тягать с собой?

— Тяжело нам без неё придётся, — вздохнул Алексей Иванович. — А вот и наша келья.

Я постучал, Алексей Иванович успел прочитать «Молитвами святых...», дверь распахнулась, и мы увидели Саньков.

В общем-то, мы обрадовались. По крайней мере, знакомиться не надо, и Санёк-питерский без всяких предисловий завалил нас информацией, главная — пора на трапезу.

Выходя, я внимательнее оглядел наше пристанище. Первое, на что обращаешь внимание — высокие (хотел сказать «до неба») потолки. Не припомню, чтобы мне приходилось бывать в маленьких помещениях, в которых плотненько умещались четыре кровати, но было бы столько пространства. Насчёт кроватей я немного загнул — скорее, это аккуратненькие деревянные лежаки, сверху матрац, чистенькие голубые простынки, махонькая подушечка, обёрнутая в ту же голубую материю, ну и армейское синее одеяло. Уютно горит лампадка. На стенах много икон, в большинстве — обычные картонные иконки, которые можно встретить в любом нашем сельском храме. Я щёлкнул выключателем, и лампочка дала ровный голубой свет, под стать простынкам и полуподвальной атмосфере. Лампадке лампочка ничуть не мешала. От лампадки я снова посмотрел вверх — какие здесь всё-таки высокие потолки! И как, наверное, здесь хорошо молиться!

Встретив по дороге работников (они отличались от послушников тем, что ходили в мирской одежде и, в основном, казались мужиками, борющимися с миром больше физически, нежели духовно), мы поинтересовались нахождением одного немаловажного в бытовом отношении удобства.

Господи, какие здесь туалеты!

Во время одного из посещений было время задуматься: почему в сравнении с аскетичностью келий туалеты на Афоне — чуть ли не дворцы? Один из ответов: мол, это Евросоюз даёт деньги, чтобы построили хорошие дороги и обеспечили комфортные бытовые условия, дескать, так будет проще переделать Афон в курортную зону. Но мне почему-то подумалось, что это своего рода унижение перед миром. Мир даёт деньги, так вот вам — дворец дерьму. Вот вам комфорт и радость жизни. А мы уж в своих простеньких кельях молиться будем. Возможно, я не прав.

Но к тому времени, когда меня посетили такие мысли, я уже не мог допустить, что на Афоне что-то может делаться, не имея в себе никакого смысла.

В Пантелеймоне туалеты самые скромные: в каждой кабинке, выложенной плиткой, есть всё, что полагается, плюс душ, большое зеркало и обилие рулонов туалетной бумаги (это точно — прямые поставки Евросоюза). Ещё там, при желании, можно разместить те же четыре койки, ну, и потолки те же — до неба.

Теперь — на трапезу. Мы снова прошли сквозь арку, но уже без бывшего трепета, а как люди, у которых есть вид на жительство или, по крайней мере, койка на ночь.

Мы вошли в огромный великолепный собор... то есть трапезную, внутри которой стояли армейские длинные столы и лавки. На четверти столов было накрыто. Сажали нас апостольским числом — по двенадцать человек за стол. Монахов и послушников было на трапезе человек около семидесяти, около тридцати — трудников и нас, паломников — чуть более двадцати.

Неспешная, скорее благодарственная, нежели просительная, молитва, разрешающий звон колокольчика, и мы сели. На столах — ржаной хлеб, порезанная варёная свёкла, варенье, две кастрюли, одна — с похлёбкой, другая — с картошкой. Что за похлёбка, идентифицировать не удалось — то ли жидкая каша, то ли густой суп, но съелось быстро и с удовольствием. Потом картошка — мягкая и вкусная. Тоже с юшкой, так что при желании можно и супом назвать. Два монаха с огромными чайниками стали обносить чаем. Чай на травах, горячий — стало совсем хорошо.

Прозвенел колокольчик, монах, читавший за трапезой наставления, умолк. Все поднялись и помолились.

Выход из трапезы степенен и чинен: неспешно прошёл настоятель, за ним монахи с длинными седыми бородами, потом те, у кого бороды почернее и аккуратнее. Только трудники и мы, вновь прибывшие, умудрились создать маленькую толпу на выходе.

После трапезы — мир и покой. Да и дождик прекратился, тучи висели над монастырём, раздумывая, попечалиться ещё или уж на сегодня хватит, — и всё кругом задумчивое, умиротворённое, тихое.

Мы пошли к морю. Мне не хотелось, чтобы кто-то видел, как вкалываю себе инсулин, а Алексею Ивановичу — грех табакокурения.

Море тоже было задумчиво. Мы молча шли вдоль кромки к пустому шестиэтажному зданию, стоящему поодаль от монастыря. Что-то нереальное было во всём этом — низкое, готовое расплакаться над миром небо, присмирившее море, разъезжающаяся под ногами галька, сложенные из серых камней стены Пантелеимонова монастыря — но как мы-то тут оказались, Господи?!

— Неужели мы на Афоне? — произнёс Алексей Иванович и тут же улыбнулся, как человек, проснувшийся в первый день отпуска: — Эх, Сашулька!

Мы обошли пустующий дом, попытались представить, как здесь всё выглядело, когда дома эти полнились жизнью и людьми, — и не смогли... Побрели обратно.

Почти философскую картину «Двое и море» нарушил Санёк. Разумеется, питерский. Дай Бог ему здоровья, многая и благая лета.

— А вы чего здесь ходите? Там уже исповедь началась.

Вопрос, откуда и зачем в нашей уединённой прогулке возник Санёк, появился только сейчас. Но там всё воспринималось естественно: должен же был нам кто-то сообщить, что «исповедь началась».

### 3

В храме было темно и тихо, маячками светилось несколько лампадок и нет-нет да ощущалось лёгкое движение и доносились шажки — так бывает в сельском храме накануне Рождества.

Из летней части храма мы перешли в зимнюю, там свечного света было больше, и в кругу его, там, где обычно ставится аналой, сидел сухой высокий монах, а перед ним на коленях стоял исповедник. Монах<sup>[28]</sup> покрыл епитрахилью голову кающегося, а сам смотрел вверх — так они замерли, а время текло мимо них...

На исповедь стояли ещё человека четыре, каждый исповедовался долго, и так хорошо было стоять в полутёмном храме, погружаясь в себя и в то же время растворяясь в окружающем. По моему, только православие даёт чудо соединения, казалось бы, несоединимых вещей. Я действительно чувствовал, что растворяюсь в окружающем, наполняюсь им, и одновременно нарастало ощущение концентрации, собирания собственного «Я», словно, растворяясь, моё «Я» становилось чётче и понятнее.

Или — вот: я не люблю мира с его суетой, пустыми хлопотами, ревностью по вещам глупым и ненужным — не люблю. И в то же время — люблю. Впрочем, куда мне до настоящей любви, но жалею — точно.

Помню, в первый день Великого поста, покончив со служебными обязанностями, я спешил на чтение дивного Канона Андрея Критского. Мне было легко и радостно. Легко, что отделался от забот, радостно, что Господь дал сил хорошо начать пост — по крайней мере, пока никого не обидел. Была ранняя весна, на солнечных сторонах тротуаров снег стаял, и было приятно идти по чистому асфальту (надо же: весной и асфальту радуешься, как оживающему), как вдруг явственно донёсся запах сигарет. Вообще-то, находясь часто среди курящих, я на дым внимания не обращаю, а тут резануло. Видимо, первый день поста и многое острее начинаешь воспринимать, а может, оттого, что думал про себя, какой я хороший: вот, не осудил никого.

Повернувшись на запах, я увидел вышедшего на крыльцо офиса молодого охранника. Дело было к вечеру, наверное, его тоже весь день доставали ходящие туда-сюда люди, но вот суета стихла и он вышел вдохнуть весны, а заодно и покурить. А я учуял. И так мне стало жаль его. Жаль потому, что я иду на службу, а он стоит и курит.

Потом я рассказал об этом эпизоде товарищу, тот понял по-своему: мол, я, как тот фарисей, говоривший «Боже! Благодарю Тебя, что я не таков, как этот мытарь». Но у меня не было этого! Мне было искренне жаль, что тот молодой парень не знает чуда, которое вот-вот начнётся в церкви, он не знает сладости покаяния, когда чудесно польётся: «Помилуй мя, Боже, помилуй мя...», — и уже не знаешь, отчего подступают слёзы — от радости или печали. Да от того и от другого. Одновременно, нераздельно начинают жить в тебе, казалось бы, два противоположных чувства — печаль и радость. Одновременно осознаёшь себя и как самую ничтожнейшую тварь, и становишься сопричастником светлого, вечного. Как такое может быть? И как же мне не жалеть того, кто лишён такого счастья, самого главного счастья в жизни — быть с Богом. Хоть на минуточку, на мгновение — быть с Богом. Почему я не подошёл тогда и не сказал: пойдём, брат, со мной? Мне показалось, что только раздражу его, испорчу

настроение. Кто знает, может, именно сейчас, когда он, пусть с примесью дыма, вдыхает городскую весну, в нём что-то рождается?.. И, может, придёт время и мы вместе будем радоваться и грустить. А может, нет. Богу известно.

Я тоже долго исповедовался.

О своём фарисействе сказал. И о том, что любви не имею — тоже сказал. И страха Божьего у меня нет. И тут как-то само собой выяснилось, что я вообще непонятно как живу — милостью Божьей.

И вот что скверно — в кои веки попал на исповедь, когда само собой получается вычерпывать из себя всё, докапываться до немислимых глубин, которых и не подозревал в себе, и в то же время понимать, что главного-то как раз не говоришь. А что — главное?

Готов вот сейчас предстать пред Богом?

Нет, не готов.

Вот и мечешься, мечешься, мечешься...

О главном спрашивать страшно. Потому что получишь ответ — и придётся исполнять. Придётся рушить так заботливо обустроенный вокруг себя мир. Я слаб, Господи, слаб. Мне страшно идти за Тобой, потому что я боюсь, что не смогу понести. Может, потом, позже... Детей вот на ноги поставлю... Не сейчас, Господи...

А что сейчас?

— Батюшка, а можно мне причаститься? Утром мы, правда, яичницу ели, но мы же весь день как в крестном ходе...

«Сыны века сего догадливее сынов света в своем роде»<sup>[29]</sup> — это точно про меня. Алексей Иванович потом признался, что даже и помыслить не мог, что можно причаститься. А я сам не знаю, как спросил. Есть у нас в епархии трёхдневный крестный ход, так батюшка, который зачинал этот крестный ход, нам ещё в первый год сказал: тут как на войне — один день за три идёт, и на второй день мы всегда причащаемся. А ведь к Афону я готовился как к крестному ходу, так, может, можно? Я ещё тогда не знал одного из мудрейших афонских правил: всё надо просить.

И батюшка благословил.

Алексей Иванович пошёл к аналою, и, когда поравнялся со мной, я шепнул ему:

— Благословись причаститься.

Он не понял.

Я повторил ещё раз и, отойдя в глубину храма, замер — я только что был отведён от бездны, и мне никак не хотелось проявлять себя в мире, мне казалось, что каждым своим движением я виноват.

Через некоторое время почувствовал, что служба уже идёт. Я стал вслушиваться — читался акафист Божией Матери. И от этого ровного чтения стало спокойнее, подумалось, что, пока я тут, может, Божия Матерь и удержит меня.



Про себя стал подпевать слова припева. Становилось светлее — это зажигались свечи, храм наполнялся монахами, но всё равно казался полупустым. Сколько ещё места! И как долготерпелив Господь, ожидая, пока наполнится всё.

Не заметил, как акафист перешёл в вечерню. Отец Олимпий прошёл вдоль стасидий и раздал монахам папочки, куда недавно записал имена и моих ближних. Монахи молились. Сколько этих толстых папочек было! Воистину, монахи молятся за весь мир!

Да! У меня тоже есть список! Когда я уезжал, мне передавали записки знакомые. Конечно, я не монах, слаб и немощен, но, насколько даёт Бог силы, надо молиться за мир.

Я незаметно достал записочки, подошёл ближе к одному из подсвечников и стал вспоминать оставшихся в далёкой России.

Поминать начал с близких, потом — дальних, потом совсем незнакомых людей...

Я поднял глаза от записочек, и мелькнула в свете лампы песчинка... Она светилась и парила, всё удаляясь и тая...

Какая она маленькая и далёкая... Показалось, что это мир сжался до крошечных размеров, так, чтобы я его мог видеть весь и понял, что он так же мал и беспомощен, как песчинка. Как не жалеть его! И вот мы все, люди, живём — чудом живём на Твоей песчинке, Господи. Помяни рабов Твоих... и того молодого охранника — тоже. Помяни, Господи!

Когда мы попадаем в незнакомое место, то начинаем воспринимать мир острее, вглядываемся в него, ищем отличия, запоминаем необычное. Но ничего такого со мной во время службы в Пантелеимоновом монастыре не происходило. Всё родное, знакомое. Ну да, чуть дольше служба, чем-то напоминавшая службы начала Великого поста, но легко стоялось. Монахи же во время чтения псалмов присаживались в стасидии, стоящие вдоль стен храма. Незанятых было много, и я пристроился к одной.

О, какое это величайшее изобретение — стасидия. Причём, совершенно русское слово, потому что в ней одновременно находишься и стоя, и сидя. Стасидия — это монашеский трон с высокими спинками и подлокотниками. И когда стоишь в стасидии, на эти подлокотники очень удобно опираться. Если опустить сиденье и сесть, то оказываешься словно в отдельном кабинете — стасидии глубоки, а подлокотники превращаются в стены. Если поднять сиденье, то получается нечто вроде подпорочки и как раз выходит, что как бы и сидишь, а на самом деле стоишь. Или наоборот: стоишь сидя. Я очень любил стасидии, в особенности за их ненавязчивую целесообразность.

Но поначалу побаивался. Один батюшка рассказывал, что паломников от монахов на Афоне отличить легко: у паломников, когда они опускают сиденье, это получается с характерным деревянным стуком, а монахи всё делают бесшумно. Мне не хотелось шуметь и отвлекать от молитвы. Это потом я уразумел, что люди здесь по-настоящему молятся и на посторонние звуки внимание не обращают, хоть землетрясение начнись, молитва всё равно не прервётся. И я решил, что буду стоять. К тому же вспомнил, как один грек восхищался русскими, что те могут по пять-шесть часов выстаивать службы. Вот и я решил: буду русским.

Началось помазание, а там уже и отпуст. Я глянул на часы — вместе с акафистом вечерняя служба длилась три с половиной часа. Ну и ничего страшного. А уж как пугали длинными афонскими службами!

Главное — не покидало состояние радости, всё казалось прекрасным и на своём месте. Сейчас

мне кажется, что во многом это благодаря хорошей исповеди и разрешению на причастие. Мне уже не терпелось читать каноны и последование. Спать не хотелось вовсе.

Вернувшись в архондарик, я спросил у первого встретившегося бородатого человека, где можно подготовиться к причастию. И он тут же указал небольшую комнату рядом с залой, где мы пили кофе.

Единственное, что омрачало радость, — погрустневшие Саньки. Они-то не догадались спросить благословение на причастие. А я расстроился, что не подсказал. Всё-таки неразделённая радость — это умалённая радость. Чем больше человек её разделяют, тем полнее она становится. Вот, кстати, ещё один из православных парадоксов.

Взяв молитвословы, мы с Алексеем Ивановичем оставили Саньков и отправились в указанную комнатку.

Высокие потолки комнатки расширяли пространство. На восточной стене был собран иконостас. Впрочем, святыми была наполнена вся комната. Перед иконостасом стояли два больших подсвечника, а между ними — аналой.

Алексей Иванович зажжёт свечи, я выключил фонарик — и где мы оказались? Какой сейчас век? Двадцать первый? Двадцатый? Пятнадцатый? Десятый? Время стёрлось. Оно ещё оставалось где-то в мирском нашем понимании, но ясно ощутилась вся его надуманность и условность.

Мы стали читать каноны и последование. Господи, какое чудесное это было чтение! Какой вообще замечательный день дарован нам! Мы не читали — мы пели. Вернее сказать: у нас пелось. Это при том, что у Алексея Ивановича насколько наличествует голос, настолько отсутствует слух. Но душа пела! И получалось так дивно, слаженно.

Начали мы читать тихонько, боялись, что можем кому-нибудь помешать, но молитва расправила нас, мы читали по очереди и всё полнее становились голоса, подхватывались окончания одних молитв и начинались другие, а те, которые знали наизусть, пели вместе.

Это было чудо общей молитвы, когда двое просили во имя Его, и Он был среди нас.

Когда закончили читать положенное перед причастием, стали вспоминать любимые молитвы. Прочитали 90-й псалом, молитву оптинских старцев, молитвы афонских Афанасия и Силуана — нам не хотелось уходить из этой комнатки, из этого мира, который обрели.

Господи, почему мы ушли оттуда?!

На улице — свежо и тихо. Дико было представить, что в городах сейчас самое разгульное время. Как сильно это ощущается здесь! Страшно за мир... Жалко... И ничего невозможно поделать. Только молиться. Получается, Афоном удерживается мир. И нас Господь сподобил быть в этом месте. Не скажу — среди удерживающих, но явственно ощутить эту удерживающую силу.

И когда мы почувствовали эту силу физически, время вернулось.

— Завтра рано вставать, — сказал Алексей Иванович.

— Сегодня, — поправил я.

— Сколько осталось на сон?

— Часа три. Как и положено монахам.

— Надо посмотреть расписание.

Мы вернулись в здание, где при входе висел расписание дня монастыря и, подсвечивая фонариком, стали изучать его. Ну вот, если бы я был настоящим писателем, то наверняка постарался бы зафиксировать сей уникальный документ, переписать, сфотографировать, наконец, или хотя бы запомнить самые яркие детали, но тогда всё затмило одно: Афон перешёл на зимнее время, утренняя служба начнётся не в семь, а в восемь, а, стало быть, на сон нам оставалось четыре часа.

— Как в армии, — констатировал я, всё же было немного грустно, что мы вернулись в привычные временные рамки.

Мне не хотелось спать. Но только голова коснулась подушки, только я расправил натрудившееся за день тело, как сразу и уснул. Без снов и терзаний, как и должен спать человек, исполнивший всё, что положил ему на день Господь.

## День второй

### 1

Поднялся я легко, всё ещё ощущая вчерашнюю радость. Она оставалась как послевкусие, но это был уже другой день.

Утреннее правило прочесть не успевали, ограничились Серафимовым <sup>[30]</sup>, да и то на ходу — на воздухе было зябко и не так оберегающе, словно что-то стронулось в мире — или в себе? — и надо опять восстанавливать нарушившееся.

Дорожки из качающихся светлячков тянулись к храму — это люди, просвечивая темноту фонариками, шли к Богу. Вот, казалось бы, всего несколько часов назад в маленькой молельной комнатке я ощущал Его присутствие, а теперь? Почему Он ушёл? Или это всё-таки я ушёл?

Вот и ворота монастыря, вот и храм.

В храме тепло и уютно. Служат утреню, потом читают часы. Укореняюсь в стасидии, потом, как-то само собой получается, опускаю сидение, сажусь; слышав «Отче наш...», встаю, снова сажусь, мне всё теплее и спокойнее, и... задрёмываю... Ну, может, не задрёмываю в полном смысле слова, потому что нет ощущения, что выпадаю из службы, и всё-таки вздрагиваю оттого, что клюю носом. Буду стоять. Но вот и почти все монахи вокруг сели, мне приходит мысль, что нехорошо так стоять, когда все сидят, подумают ещё, что я специально стою, мол, вот какой я набожный. А это «что обо мне подумают» — гордыня и есть. Да какая разница, что обо мне подумают, не они же, в конце концов, судить меня будут. И потом — никто на меня никакого внимания и не обращает — все молятся. Да и с какой стати вообще на меня внимание обращать — я что-то слишком возомнил о себе.

Но я сажусь. И снова клюю носом. Господи, скорее бы Литургия. Да, я — слабый человек, но, Господи, пусть даже вся моя слабость будет отдана Тебе.

И почти тут же по храму разлилось: «Благослови, Владыко...». О, как взыграло моё сердце! И сам я чуть не выпрыгнул из стасидии. И сидение, конечно, хлопнуло.

В это время начало светать.

Конечно, я читал, что Литургия на Афоне обыкновенно совпадает с рассветом и причащаются здесь до восхода солнца. Литургия — это восхождение к единению с Христом, и когда она совпадает с естественным пробуждением мира, когда весь мир ожидает, что вот-вот озарит его солнечный свет, а человек ожидает, что вот-вот соединится со Христом, — ты попадаешь в ритм и гармонию мира, ты включаешься в естественный ход событий и соединяешься со всей тварью в ожидании полноты.

Это чудо. А разве можно передать чудо?

Вот сошествие благодатного огня в Иерусалиме на Пасху — это чудо. Мы знаем о нём, и это знание будоражит воображение, укрепляет веру, даёт надежду, но всё равно остаётся где-то там... в Иерусалиме.

Я понимаю, что это маловерие. Нам всё персты в раны вложить надо, иначе не уверуем.

Одна женщина рассказывала, как она с четырнадцатилетней дочкой три дня ждала схождения благодатного огня у Гроба Господня. Она рассказывала тщательно и подробно, как переживала за дочку, что та ослабнет, как в последний день стал прибывать народ и она боялась, что их совсем затрут, как шумно и празднично было, и как площадь разом стихла — и вдруг женщина замолчала. Она не могла выразить словами, что произошло дальше.

— Ну? Что дальше? — подталкивали её слушавшие.

— Это... это... — она задышалась, — это...

Она так ничего больше и не сказала, но мы видели её глаза. В них сиял отблеск того огня. Женщина опустила голову, словно прикрывая этот блеск, как прикрывают свечу на ветру. Никто больше не спрашивал её. Мы разошлись. С мечтой о чуде.

Так вот — сначала я подумал, что глаза попривыкли и потому лики на стенах стали чётче и мягче. «Может, с началом Литургии зажгли больше свечей?» — мелькнуло где-то на краю сознания, а душа жила службой. Литургия узнавалась вся, и те места, которые шли на греческом, были свои и не требовали перевода. Я только чувствовал, что света становится больше. Свет наполнял храм и пронизывал существо. Пока Он только готовит меня, чтобы, освятившись, я сам смог стать светом.

Свет становился всё мощнее, и казалось, что служба, ведомая им, всё убыстряется. И вот-вот должно было случиться главное — я приму Свет.

И я сподобился.

Нет, свет из меня не воссиял. Даже некое подобие обиды шевельнулось, что остался прежним. Но — кто я, чтобы требовать?

И потом — разве можно увидеть, как растёт трава?

Разве можно вычислить и понять, как возрастает Вера?

Благодарить и радоваться, что сподобился. Прочь, прочь лукавые мысли, что-де не стал «яко бози». Раб неключимый, радуйся, что ходишь в рабах, а не блуждаешь по стране далече. Слава Тебе, Боже, слава Тебе! Яко сподобил нас причаститься!

Мы приложились ко кресту, взяли просфорки и запили святой водичкой, которую братия черпала маленькими кружечками из большой чаши.

На улицу я вышел в удивительно спокойном настроении. Словно некое равновесие устроилось во мне. Я знал, что во мне полно всякой гадости, но вот сейчас она не тянула, не давила, не угнетала, она разбежалась по уголкам моего тела и пребывала в равенстве с другой силой, которая удерживала меня. И я чувствовал эту силу и боялся потерять её.

В трапезной нас ожидал праздничный, по случаю воскресенья, стол: молочный суп (то ли с макаронами, то ли с пшеном) и омлет. Всё было вкусно, но я не получал того удовольствия от пищи, которого ожидаешь порой в миру. Никакие гастрономические изыски не беспокоили и потому я съел именно столько, сколько было достаточно для организма.

Да, хлеб ещё оказался удивительно вкусным.

Впрочем, изыски всё-таки случились: в конце трапезы раздавали смесь самых разнообразных орешков, изюма, кусочков печенья. Все брали со стола салфеточки, с поклоном, словно подходя под благословение, подставляли их, и разносившие клали на салфеточку чайную ложечку утешения.

И нам досталось. Слава Богу!

Снова торжественный исход из трапезной, мы благословились и пошли в церковную лавку.

О! Какое обилие всего в Пантелеимоновой лавке! А сколько книг и каких замечательных. Вот закрыться бы здесь на недельку и читать, читать, читать... С собой всё равно не унесёшь. Во-первых, потому что покупать особенно не на что, а во-вторых, нам ещё неделю по Афону ходить, вот на обратном пути и купим. Из Пантелеимонова монастыря надо обязательно что-нибудь домой привезти: маслица, иконок, крестному обещал икону святого Пантелеймона... Решено: на обратном пути зайдём сюда и всё купим.

Сейчас написал и едва не расхохотался: ведь и в самом деле, прохаживаясь тогда вдоль стеллажей, прикидывал, намечал, строил планы. Боже мой, как ещё совсем недавно я был так наивен и уверен в себе.

— Пойдём, — сказал Алексею Ивановичу, когда точно наметил, что куплю на обратном пути, — у нас ещё есть время подремать в архондарике.

— Нам сейчас надо определяться, куда дальше идти.

— А чего определяться? Сначала разносим посылки. Одну отдали, теперь, стало быть, несём твои книги в Кутлумуш.

— И как мы туда пойдём?

— Сядем на паром, доплывём до Дафни, а там ходят автобусы в Карею, — всё казалось так просто, что сомневающийся Алексей Иванович начинал раздражать. — А так как паром через два часа, то пойдём подремлем.

— А если не будет парома?

— Тогда пойдём пешком, но сначала — подремлем.

— Как по такой погоде куда-то идти — дождь, ветер.

— Нормальная погода, через час — пока мы всё-таки подремлем — всё наладиться.

Тогдашняя уверенность в себе и своих силах меня и сейчас поражает.

В архондарике я подошёл к размещавшему нас вчера монаху и по-свойски спросил:

— А как найти отца Николая Генералова?

— О! — воскликнул монах. — Отец Николай уже года четыре в Ксилургу.

— Где-где?

— В скиту Пресвятой Богородицы.

— А как туда попасть?

— Это по дороге на Ватопед. Там есть поворот, если идти на Ильинский скит... — монах ещё что-то объяснял мне, но я протянул ему карту. — Тут... примерно, — и он обвёл пространство по другую сторону полуострова. — А вы не сдали ещё постель? А то у нас сейчас убираться в комнатах будут.

«Подремать не удастся», — понял я и убрал карту.

— А кто такой Николай Генералов? — спросил Алексей Иванович, когда мы с рюкзаками встали у выхода под морозящий дождь.

— Давным-давно, — былинно начал я (выходить под дождь не хотелось), — лет шесть-семь назад, один батюшка завёз на Афон мою книжечку. Ну, я не думаю, что он повёз её, чтобы поведать, что есть вот такой писатель, я там, собственно, выступал не в роли писателя, а как документалист — там описывалось одно мероприятие, возглавлял которое тот самый батюшка. Его портрет и на обложке был. А Генералов — какой-то тут знаменитый старец, говорят, у него какие-то книги, проповеди есть, но я не читал. И вот наш батюшка этому старцу книжечку подарил, а сам дальше по Афону пошёл. На обратном пути их делегация снова в Пантелеймоне оказалась и тот старец вдруг передал нашему батюшке икону «Избавительница от бед» для автора книжечки, то бишь — для меня. Так у меня оказалась икона, с которой хожу в крестные ходы, и так я узнал о существовании отца Николая Генералова <sup>[31]</sup>.

— Что же ты мне про это раньше не говорил?

— Да я и сам не знал, надо мне его видеть, не надо... Он и не помнит, кому что он там шесть лет назад дарил. Но, конечно, сказать «спасибо» хотелось. Всё-таки у меня с той иконой многое связано.

— Ну, так нам надо обязательно в это Кси... Как он сказал?

Я посмотрел, что успел накарять на карте.

— Ксилургу.

— Ну да. Вот и намечается у нас ещё один пункт.

Появились Саньки — с рюкзаками за плечами и возбуждённые, словно у них совпали номера и серия в лотерейном билете.

— Всё, мы поехали, — сообщили они. — Тут хохлы «газельку» (как это мило прозвучало за тысячу вёрст от родины) из Карей вызвали, там как раз попутчики нужны, чтоб её полностью забить. Парома-то из-за погоды не будет.

Алексей Иванович поднял на меня по-собачьи печальные глаза: мол, что ж, ты, хозяин, я же предупреждал, по-человечьи трагически вздохнул и отвернулся.

— А там, в «газельке», ещё пара мест не найдётся? — на всякий случай спросил я.

— Нет, только два было.

— Ну ладно, бывайте. Простите, если что не так.

— И вы нас простите.

— Бог в помощь.

— Даст Бог, свидимся ещё.

— Конечно, свидимся.

— А как же вы без парома?

— Не пропадём, чать, Господь не оставит...

— Ну, ладно...

И они ушли. Минут через пять Алексей Иванович произнёс:

— Кажется, дождик потише пошёл... Пойду покурю...

И я остался один. Куда, действительно, мы сейчас пойдём?

Господи! Как научиться понимать волю Твою?! Не говорю исполнять — мне почему-то, скорее всего, по неведению, кажется, это проще. Мне — хотя бы научиться понимать, то ли я делаю? Суечусь, проекты какие-то, планы, всё Россию спасаем... Сколько слов красивых напридумывали! А такое чувство — только топим... в этих словах.

Как я устал от всего этого, Господи!

От самого себя устал.

Но почему, Господи, я не могу это бросить?

Мне сказали: неси, это твой крест. Да я согласен нести, Господи! Я согласен делать то, что кажется мне порой глупым и бессмысленным, но я признаю, что это может только мне казаться, а на самом деле — это хорошо в глазах Твоих. Но как узнать это?

«...если я приобрёл благоволение в очах Твоих, то молю: открой мне путь Твой, дабы я познал Тебя»<sup>[32]</sup>...

Примерно так я возопил полгода назад, когда за полночь переписывал — как всегда срочно — очередной «служебный проект», сочинял «обоснование» и обозначал «ресурсное обеспечение». Я знал, что никому это не надо. Что мне сказали написать это просто для того, чтобы отделаться от меня — знали, что не напишу. А я писал и стонал: Господи, зачем я делаю это?

Утром принёс написанное и положил на стол, как какой-то пустяк.

— Погода, — говорю, — сегодня хорошая.

— Да, — отвечают мне, — а в интернете писали, дожди будут...

Ясно было, что они не ожидали, теперь ведь с тем, что легло им на стол, надо что-то делать. А я пошёл спать.

Вечером жена начала издали:

— Я тут анализы сдавала...

Ну, сдавала и сдавала, хотя какие анализы, вроде не болеет никто, но я-то всё мучаюсь: зачем я угробил целую ночь на непонятно что — в общем, в слова жены не врубаюсь. А она продолжает:

— ...я не хотела говорить тебе, пока не выяснится...

Начинаю прислушиваться. И она, почти шёпотом:

— ...я беременна...

Господи! Прости меня! Прости, что лез со своими дурацкими вопросами. Я буду, буду делать, даже, если и не понимаю толком, зачем это надо.

Дай, Господи, понести крест и не задавать глупых вопросов.

Для меня явное чудо заключалось не в том, что после больницы я был дряхл телом, аки Захария, а то, что она сообщила о беременности после ночи, когда я, едва не отчаявшись, стал требовать у Бога знамения. Какое мне ещё нужно знамение?

А я продолжаю роптать. Ропщу, что не понимаю Замысла... А кто я? Горшок, который ещё неизвестно для каких целей определяют. Но для чего бы ни определили, надо делать и не сомневаться.

Вот для меня это и есть самое сложное — не сомневаться.

Дай, Господи, жить по воле Твоей, а не по своей!

И вот здесь, на Афоне, я вдруг почувствовал сладкое чувство свободы. Свободы от собственной воли.

Ведь вот она в чём, оказывается, подлинная свобода — это отказ от своей воли.

Господи, как это просто: откажись от себя — и ты свободен. Как я этого не понимал раньше?

Но понять и исполнять — разные вещи.



И всё-таки — как это сладостно было понять, что ты в воле Божией: не надо суетиться, выдумывать, строить планы и писать проекты. Есть Божия воля и надо Её исполнять.

Мне вдруг показалось, что одного этого открытия для меня достаточно. Не зря ехал на Афон. Можно возвращаться домой.

Я едва не расхохотался: ну до чего же ловок лукавый. Тут же подсунулся: мол, всё, что нужно, узнали, можно и домой. Нет, шалишь. А хорошо, что бесёнок высунулся — будем помнить, что этот всегда рядом.

— Ты чего лыбишься? — удивился подошедший Алексей Иванович.

— Радуюсь — день хороший.

— Нашёл время, что мы теперь делать-то будем?

— Увидишь, всё будет хорошо.

Снова появились Саньки. Вид у них был невесёлый. Оказалось, за то, чтобы оказаться в компании хохлов, уезжающих на «газельке», надо заплатить — и весьма неслабо.

— Ничего, пешком пойдём, — Алексей Иванович, может, и хотел подбодрить, но получилось немножко издевательски.

А вообще ничто более не вселяет в русского человека оптимизма, как осознание, что кому-то ещё хуже.

— Всё будет хорошо, — повторил я.

И тут выглянуло солнышко.

— А не пойти ли нам выпить по чашечке кофе? — предложил Алексей Иванович.

— А дадут? — спросил питерский.

Алексей Иванович покровительственно ухмыльнулся: с нами, мол, не пропадёшь, не хохлы, чать. Мы двинулись к знакомой зале и застали записывающего монаха запирающим двери.

— Паром вышел, — сказал он и побежал дальше.

Мы так поняли, что кофе нас угощать не собираются.

Поблагодарив за добрую весть, пошли к причалу. У моря было тихо и грустно, словно уезжали, чего-то не исполнив. Но ведь мы ещё вернёмся сюда, разве не так?

Всё правильно: русский монастырь приготовил нас к Афону, а теперь надо идти вглубь. Но грусть расставания присутствовала. И когда садились на паром, пропустив сошедшую на берег группу паломников, подумалось: вот сейчас их встретит отец Олимпий и поведёт по монастырю, и так захотелось снова услышать его.

Когда паром отчалил и открылась бирюзово-зелёная панорама монастыря, стало жаль прошедшего дня. Не потому, что он был прекраснее других, и даже не потому, что за этот день мы стали ближе к Богу, а просто потому, что он больше никогда не повторится. Никогда больше не будет такого трепета прикосновения к Афону.

Паром обогнул очередной врезающийся в море мысок, и Пантелеймон скрылся — мы плывём в Дафни.

## 2

<Дафни — главный порт Афона>, - так написано в каждом путеводителе. Как вы себе представляете порт? Тем более, главный? На самом деле — это несколько невысоких строений на берегу да ещё доисторических времён башенка. После великолепия Пантелеймона — полное разочарование. Так Афон отучал загадывать и ожидать воображаемого.

На фоне показавшейся не масштабности и древности резко выделялись два больших автобуса, и я вспомнил батюшкины наставления о том, что желательно первыми до них добежать. Впрочем, это знание оказалось не только нашим достоянием — сразу с парома рванули не только мы. Пришлось обойтись без поклонов и целований земной тверди и — пусть и ближе к концу салона — но сели. Саньки... Я опять забыл им подсказать. Пока мы чувствуем себя слишком как дома, чтобы ценить дарованных попутчиков.

Автобус фыркнул и пополз в гору. Мы отдали весёлому греку по три евро и стали смотреть в окно. Автобус, медленно и трудно вписываясь в повороты, упорно поднимался вверх. Первым не выдержал Алексей Иванович:

— Это как мы собирались пешком идти? Нам век тут не подняться.

— А ты заметь: солнышко...

И в самом деле: солнце светило вовсю. Мы расстегнули куртки, потом сняли их, выступил пот, словно мы сами, а не автобус, поднимались в гору. Дышать становилось тяжелее, и пейзаж за окном казался всё более однообразным и скучным: склон горы, жёлтая от придорожной пыли трава, кустики, деревца... Господи, а каково же здесь летом? И тут автобус пересёк невидимую черту и покатился вниз, солнышко оказалось за горой, деревья пошли гуще и выше, так что можно было и лесом назвать.

Нет-нет да и попадалось жильё — одноэтажные хибарки, крепенькие, но совершенно безразличные к своему внешнему виду. Заметили несколько храмов. Они отстояли от дороги, рассмотреть их толком не удавалось, видно было только, что все в полуразрушенном, ветхом состоянии. Людей не видели вовсе. Начинало казаться, что едем по территории, где недавно прошли бои, а мы — экскурсионная группа, которую вывезли, чтобы взглянуть на культуру побеждённых папуасов.

Но вот и утешение — прямо от дороги показался красивый монастырь. Высоченные купола его были в лесах, на которых работали люди, дальше высились корпуса с явными признаками жизни. И ещё от всех этих строений повеяло родным, чем-то монастырь неуловимо напоминал таких же братьев, затерявшихся в мордовских лесах.

Мы не успели порадоваться, как въехали в улочку, проскочили типичную нынче для российских дорог заправку и остановились на небольшой площадке, которую полукружием обрамляли двухэтажные домики. На первых этажах домиков располагались торговые лавки, окна вторых — закрыты ставнями. Это была Карея, столица монашеской республики.

Казалось, что мы очутились в каком-то российском, даже не райцентре, а волостном поселении. Всё было знакомо и узнаваемо. Я закинул за плечи рюкзачок и двинулся в сторону монастыря, мимо которого мы только что проехали.

— Ты уверен, что Кутлумуш там? — на всякий случай спросил Алексей Иванович.

— Так других монастырей возле Карей нет.

— Вы не скажете, монастырь там? — поинтересовался Алексей Иванович у проходящего мимо монаха, будто мы и в самом деле находились в глубинке России.

Монах, разумеется, ничего не понял и радостно закивал головой.

— Туда, — истолковал его кивание Алексей Иванович.

Я удовлетворённо хмыкнул, мол, незачем было и спрашивать — и так всё ясно. А Алексей Иванович, кажется, начал мне верить.

А как распогодилось-то! В то время как южная сторона Афона находилась в строгости, северная — благоденствовала. Это был наш первый пеший ход по Афону, но разве можно пятнадцатиминутную прогулку назвать крестным ходом? Это была радость! Мы шли и ликовали — какие мы молодцы! Нет чтобы удивляться: за что нам такая милость, мы (то есть я) размахивали картой и строили планы, совсем позабыв, как утром не знали, куда податься. А теперь наперебой хвастались, как ловко добрались до Карей и вот уже подходим к Кутлумушу, вручим книги монаху, тот нам всё расскажет про Афон и подскажет, куда идти дальше.

Представляю, как веселились ангелы, наблюдая за нами.

Мы встали перед монастырскими воротами, перекрестились и, вглядываясь в иконы, Алексей Иванович сказал:

— Надо ж, даже над воротами греческого монастыря наши иконы.

Да, нас встречал Андрей Первозванный, каким мы привыкли видеть его в наших храмах.

Россия, везде Россия. Я был не то чтобы горд за то, что я русский, а преисполнен великорусского достоинства. Эх, Европа, куда ты без нас?

Вообще-то чувство нашей русской особой миссии меня порой настораживает...

В моей детской комнате висела во всю стену огромная политическая карта мира, и я с малых лет знал, что живу в самой большой стране. Тогда ещё считалось, что и самой лучшей. Впрочем, я и сейчас так считаю. Я с детства знал, что принадлежу великому народу. Иначе и быть не могло, ибо у русских самое большое государство. С детства я привык относиться к другим государствам и народам, как старший брат относится к младшим. Я им должен нести что-то, чем они пока не обладают. Воспитывать, в конце концов. Я чувствовал себя ответственным за всё, что происходит в мире. Конечно, добавляли своё и великие победы, открытия, люди — но чаще всего вспоминается та огромная карта мира.

И однажды я вдруг подумал: а как живётся какому-нибудь датчанину или новозеландцу, у которого нет бремени ответственности за весь мир? Тут же представилось, как, наверное, легка и беззаботна такая жизнь, и я немного позавидовал необременённым народам. А вдруг они правы, что живут именно так — необременённо? И с чего я взял, что на России лежит особая миссия? Может, это мы сами придумали себе, а на самом деле должны просто жить и радоваться каждому дарованному Господом дню? Пора, как говорил один хороший человек, отправляясь утром поправлять своё здоровье, и о себе подумать. Царство ему Небесное... Однажды подумать о себе не успел.

А я не могу быть другим. Я — русский. Я — православный. Я должен быть образцом миру. Вот моя миссия — нести свет Христов миру.

Поэтому для меня было вполне естественным, что представший перед нами, как мы считали, греческий монастырь Кутлумуш очень напоминает русский, и ничего удивительного не было в том, что на вратах — русские иконы. А каким ещё быть? Рим продался, Византия пала, и только Россия остаётся верной Богу.

Москва — третий Рим.

И тут же: а почему — Рим? Почему не быть Москвой, принявшей Христа?

В любом случае я как русский считал себя априори духовно богаче любого иноземца.

Это — гордыня.

Откуда она у нас? Неужели от великих побед, которые даровал Господь?

Русский человек не может без идеи. Причём великой идеи, а не просто «чистый домик, чистый садик» — ему Вселенную подавай. А так ли это хорошо? И интересно, а как всё-таки живут какие-нибудь норвежцы? Никаких тебе глобальных планов, мир спасать не надо, радуйся себе победам Бьёрндалина<sup>[33]</sup> и любуйся фьордами... Между прочим, у них классный писатель есть — Кнут Гамсун.

Нет, мне этого мало.

Когда мы вошли внутрь и оказались на площади перед храмом, я ещё раз не без гордости отметил, что возвышающийся собор — типичный русский храм XIX века.

— Это не Кутлумуш, — сказал Алексей Иванович.

Я указал на заботливо попавшуюся на глаза табличку «Архондарик», и мы пошли по указующей стрелке.

Для чего-то Господь привёл нас сюда.

### 3

Место, куда мы попали, всё-таки весьма напоминало наши восстанавливающиеся монастыри конца девятнадцатых, когда государство стало возвращать церкви то, что содержать становилось себе дороже. Монахи вернулись и начались неспешные, но упорные работы по восстановлению. Приедешь в такой монастырь: там пара рабочих по лесам лазит, в углу двора бетономешалка хлюпает, ещё пара рабочих несут строительный мусор. Всё неспешно, без этих «сдадим объект к великой дате». А окажешься в том же монастыре через год, глядь: там, где леса были, — ровная оштукатуренная белая стена, на месте бетономешалки — клумба, а рабочие наверху крышу починяют...

По стрелке мы вышли к дальнему подъезду огромного жилого корпуса, и сразу пахло русской стариной — огромная широкая лестница наверх, как бывало в дворянских домах. И тут же из-под лестницы появился то ли монах, то ли рабочий. Мы ему про архондарик, тот вытянул указующе руку вверх — правильным, мол, путём идёте.

Второй этаж был тих и обитаем, но другой появившийся монах вежливо, с применением

английских выражений, попросил нас подняться ещё выше. Третий этаж жил ремонтом, но комната, на которой висела бумажная табличка «Архондарик», оказалась словно из другого мира: здесь ничего не менялось с позапрошлого века. И конечно, слово «комната» неуместно — мы вошли в залу.

И снова — полное ощущение, что мы дома: это была русская гостиная дворянской усадьбы, разве что рояля в углу не было. Посередине стоял массивный круглый стол, вдоль стен — мягкие диванчики с изогнутыми спинками и подлокотниками, такие же милые гнутые стулья, а стены украшали иконы и портреты иерархов. И большинство были русскими! А уж с какой радостью мы увидели икону, где батюшка Серафим медведя кормит — как со знакомым повидались! Мы некоторое время ходили вдоль стен, как на вернисаже, разглядывая и узнавая кругом Россию, пока не появился грек. Это был молодой, немного флегматичный высокий монах в синей тёплой жилетке и круглых очках, он тоже чем-то напоминал картинку из позапрошлого века — молодой раввин пытается объяснить заплутавшим дорогу на Витебск. Мы ничего не поняли из того, что он говорил, да и он особо не усердствовал. Выяснив, что мы «русия» и «ортодокс», показал на диванчики и ушёл. Мы послушливо сели.

Первая попытка общения на непонятном языке несколько озадачила. То, что мы находимся за границей, стало подзабываться. И вот на тебе — оказались на уровне бессловесной твари. Алексей Иванович полез в рюкзак за разговорником, что-то нашёл там и, напряжённо вглядываясь в текст, стал шевелить губами. Я же был уверен, что молодой монах пошёл звать более опытного, который будет знать русский, и всё устроится.

Однако появились паломники. Сначала два грека средних лет и с ними юноша. Они было обратились к нам, но мы развели руками: Россия, мол, не шпрехаем, и те потеряли к нам интерес. Шумно расположившись на наших русских диванчиках и стульях, они живо беседовали, как это, собственно, и свойственно южным людям, не обращая на нас ни малейшего внимания. Минут через десять зашли ещё два иностранца. Они были более преклонного возраста, но подтянуты и лаконичны в движениях, как полковники в отставке из американских фильмов. И одеты были, в отличие от простоватой троицы (не говоря уже о нас), цивильно, чувствовалось, что не пешком шли. Я даже заподозрил в них представителей блока НАТО, но те обменялись парой фраз с греками, покосились на нас и заняли ещё один диванчик. Эти беседовали не так бурно, но тоже не молчали, к тому же, старший из первой троицы нет-нет да и обращался к ним, и те отвечали. Нас как бы не существовало.

Мы всё больше сами для себя становились неприметнее, сдувались. Алексей Иванович напряжённо листал разговорник, а я подумал: кто мы и что мы? Кому мы тут нужны, за тысячу вёрст от родного дома? И так остро почувствовалось одиночество на этой земле, что начали завидовать медведю, тянувшемуся к Серафиму Саровскому.

Господи, как сиротливо на этой земле!

Дверь открылась в очередной раз, я поднял голову в надежде, что привели, наконец-то, русскоговорящего монаха, но это были... Саньки.

Первые секунды — полный ступор, как у нас, так и у них, а потом мы бросились друг у другу, как нашедшиеся после долгой разлуки братья из индийского кино.

Санёк-питерский объяснил диспозицию — мы оказались в Андреевском скит <sup>[34]</sup>. Они-то, приехав чуть позже нас в Карею, побродили по ней и, помня, что мы собирались в Кутлумуш, спросили про него, но им сказали (Господи, как и с кем они объяснялись?), что туда лучше не идти — там строго и заночевать не получится, а лучше идти в Андреевский скит, который

недавно возобновился, и там принимают всех.

Стало быть. Господь, привёл нас в Андреевский скит. Ничего себе скитик. В нашем-то понимании скит — это небольшая келейка под ёлочкой, а тут настоящий монастырь с четырёхэтажным братским корпусом, надвратной церковью, со множеством иных построек, опоясывающих монастырь, а в центре на площади — высокий красивейший храм.

Впрочем, масштабам скита особо удивляться не приходилось — строили-то его в XIX веке русские. Потому и узнаваемо всё. В XX веке скит, как и всё русское на Афоне, пришёл в запустение. Вспомнился рассказ о последнем русском монахе, доживающем здесь в семидесятые годы прошлого века. Представилось, как он тут один, уже немощный, бредёт каждый день в ветшающий храм... А ведь он помнит, как в многочисленных зданиях полнилась жизнь. И вот теперь разрушения вокруг становятся всё более явными и уже нет сомнения, что скоро всё это великолепие обратится в прах, скоро прахом станет и он... Это я так представляю... А он-то, может, и не видел ничего этого. Просто каждое утро поднимался и шёл на молитву.

Как же звали этого последнего русского монаха в Андреевском скиту?<sup>[35]</sup>

Скит перешёл к грекам. Нам говорили, что греки вытесняют русских с Афона, ставят разные административные препоны, чтобы русских монахов было тут как можно меньше. Для этого ввели для желающих поступить в монастырь обязательное принятие греческого гражданства, ещё ряд условий, и вот теперь греки восстанавливают русский скит.

Господь так устроил, что мы из русского Пантелеимонова монастыря, идя в греческий Кутлумуш, оказались в бывшем русском скиту, который наполняется греческим духом.

А мы: Кутлумуш, Кутлумуш... Кутлумуш ещё заслужить надо, нас, некрепких, видно, нельзя было сразу допускать в старейший греческий монастырь. В общем, нам было что обсудить. И тут снова появился монах, похожий на молодого раввина. Явился он без посредника, прошёл в дальнюю комнатку, скоро оттуда донёсся запах кофе, и монах появился с подносом, на котором стояли махонькие (в два раза меньше, чем в Пантелеймоне) рюмашки, и стал всех обходить. Когда рюмашку протянули мне, я снова занервничал. Когда монах только появился с подносом, я подумал, что так же решительно откажусь, как в Пантелеймоне, потом вспомнил последующую грусть, когда я глядел на Алексея Ивановича... Нет, для Алексея Ивановича, конечно, рюмки водки не жалко, дело не в этом, а в том, что мне нельзя, а хочется...

Монах терпеливо ждал, уткнув поднос в мой живот, и становилось неловко, что из-за меня застопорилось чинное движение. И ведь не объяснишь этому нерусскому... да и чего объяснять? Я схватил двадцатикапельную рюмочку и ухнул в себя. Затем со страхом стал следить за движением обжигающей капли в сторону поджелудочной, которую, собственно, и оперировали. Ничего страшного не произошло. Никаких конвульсий и предсмертных судорог, как стоял, так и стою. Вот ведь: старцы учат произносить слова умной молитвы и следить, как они доходят до сердца, а я слежу, как водка дотекает до поджелудочной...

— Ты как? — спросил Алексей Иванович. Он, оказывается, пока я проводил эксперимент, тревожно наблюдал за мной.

— Не понял пока.

— Ну вот, а я уж надеялся, мне теперь везде по второй перепадать будет.

— Вон ты чего переживал.

— А ты думал, за тебя, что ли? Тебя ещё отмолить можно, а рюмку-то уже не вернёшь.

Монах вынес ещё один поднос, где почти такие же маленькие, как рюмки, стояли чашечки кофе и лукум.

— Всё у них тут, вроде, наше русское осталось, а посуду свою, греческую привезли, — определил Алексей Иванович.

— Строятся только, вот и экономят на всём.

— Так не на водке же с кофе? Эх, не с того начинают...

Я же продолжал вслушиваться в свои внутренности, но ничего смертельного из обещанного врачами не обнаруживал. Более того — мне было хорошо. А когда я положил сверху ещё несколько глоточков горячего и очень вкусного кофе, успокаивающая благодатная волна прокатилась по телу и мне уже верилось, что это чувство теплоты коснулось сейчас каждого в комнате и потому дальнейшее показалось мне совершенной несурезицей: как люди могут заниматься такой ерундой? Да ещё с такими серьёзными лицами.

Монах вынес такую же огромную, как и в Пантелеймоне, амбарную книгу, и началось установление личностей. Монах бросил взгляд в нашу сторону и, решив отложить мучения на потом, подозвал греков. Разговор у них вышел коротким, но всё-таки эмоциональным, как у апостола Павла с галатами. Причём в роли апостола выступали по очереди греки. Впрочем, всё кончилось миром, и греки, забрав вещи, покинули залу архондарика. Затем записались два полковника, тоже получили ключи и монах тоскливо посмотрел на нас. Мы опять произнесли заветные «русия» и «ортодокс», но это его снова не впечатлило. Монах что-то объяснял, указывая на амбарную книгу, и с каждым его словом наша четвёрка всё больше проникалась чувством, что до «неразумных галатов» нам ещё расти и расти. Монах начал помогать себе руками. Нам, людям северных широт, язык жестов тоже был неблизок. Монах, побеждённый нашим невежеством, вздохнул, нашёл в себе силы ободряюще улыбнуться и вышел.

Санёк-питерский и Алексей Иванович тут же схватились за разговорники — это было очень похоже на оставленных на время профессором студентов. Я рассмеялся, и второй Санёк удивлённо посмотрел на меня. Двое других оторвались от разговорников и, не по-доброму взглянув, снова уткнулись в конспекты. Но выучить греческий всё равно не успели — раввинистый монах вернулся быстро и привёл с собой другого монаха. Тот был мал ростом, постарше и в очках, что делало его похожим на учёного человека. Но самое главное — он улыбался уже знакомой нам доброй афонской улыбкой.

— Do you speak English?<sup>[36]</sup> — спросил монах, и мы, как идиоты, дружно закивали головами.

Я ещё подумал: надо же, до чего нас довели с этой американской глобализацией.

А монах тем временем что-то снова нас спросил и, по логике, тоже на английском. Повисла пауза. МХАТ позавидовал бы.

— Ну да, — резюмировал я за всех.

И тут из-за наших спин донеслась незнакомая речь. Мы, не веря своим ушам, оглянулись — да, рот открывал второй Санёк, и оттуда исходили звуки, похожие на английские слова. Причём создавалось впечатление, что это не чудесное обретение дара говорения чужими языками, а он

даже понимает, что говорит.

Уж не знаю, насколько это было грамотно, но монах в очках его понял. Между ними вообще завязался диалог, по ходу которого мы составляли этакий композиционный фон из четырёх глупых лиц для беседы интеллектуалов. Затем Санёк представлял нас улыбающемуся монаху, каждый из нас улыбался в ответ и троекратно лобызался. Чего там Санёк говорил про нас, осталось на его совести, но улыбались мы широко и без всякой мысли — можно сказать, по-американски...

Дальнейшее, как любят говорить комментаторы, было делом техники. Второй Санёк вписал всех в амбарную книгу (нас с Алексеем Ивановичем он нарёк writer и мы постарались запомнить слово), и монах в очках повёл нас в келью по длинному коридору. Московский Санёк о чём-то мирно беседовал с монахом, мы шли следом, а сзади нет-нет да и вздыхал Санёк-питерский:

— Говорила мне мама: учи языки...

Но что языки — какими замечательными кельями нас наградили — мечта паломника! В небольшой комнатке уместились три кровати, одну из стен почти полностью занимало окно, из которого был виден монастырский двор, противоположная стена представляла настоящий иконостас. Что ещё нужно? Слава Тебе, Господи, слава Тебе! А мы ещё расстраивались, что не попали в Кутлумуш. Господи, прости неразумных. Ты всё веши, дай нам только понимать Тебя и не поступать по-своему.

Только исключительно из-за того, что пребывал в радостном и благодарном состоянии, я не утерпел, и когда монах в очках заглянул проверить, как мы устроились, схватил его за руки, втянул в келейку и вручил бутылку водки. Искренне и от всего сердца. Моя радость не могла не передаться монаху. Он закивал в ответ и даже попытался сказать что-то на русском, впрочем, это неважно. Мы обнялись, я едва не прослезился, и монах ушёл. Больше мы его не видели.

#### 4

После того как улеглась первая радость обретения пристанища, мы отправились к Санькам на совет — мы уже чувствовали, что они нам посланы не зря. Саньки, кстати, придерживались по поводу нас такого же мнения.

Для начала попробовали заслушать Санька-московского, но на вопрос: «Ну и о чём ты говорил с монахом?» — тот честно признался:

— Да я вообще не понял, что он от меня хотел.

— Опаньки! — радостно отозвался Санёк-питерский. Видимо, это был ответ его маме, докучавшей с изучением языков.

Предваряя прения, Алексей Иванович предложил испить кофе по полной, что и было принято единодушно, благо кружки, кипятильники и молотый кофе — неотъемлемая часть набора паломника.

Далее, в ходе обмена информацией, выяснилось, что до ужина ещё четыре часа, и было принято решение прогуляться в Карею: нам с Алексеем Ивановичем всё-таки хотелось найти Кутлумуш, а Санькам — протат, им откуда-то стало известно, что там легко можно продлить диамонитионы ещё на четыре дня.



Погода стояла великолепная — теплынь, солнце. Неужели ещё утром говорили, что из-за шторма паром не подойдёт к Пантелеймону? Но это было на другой стороне Афона. На этой же — настоящее русское бабье лето. Только вдалеке, словно суровые стражники, тёмно-синие облака укрывали саму Гору. Но мы понимали: раз уж в Кутлумуш Господь не допустил, то Гору тем паче зреть недостойны. Мы и нынешнее-то счастье ещё пережить не успели.

Господи, какие беспопечительство и необременённость! Только фотоаппарат и необходимость к четырём явиться на трапезу. В остальном — живи, человек, радуйся!

До Карей мы шли прогулочным. Вдоль дороги, на которой не встретили ни одной машины и ни одного пешего, тянулись зелёные низкорослые деревца (или это такие большие кустарники?). Попалось несколько домиков, скромненьких и приятных своей неброскостью. Внизу, километрах в пяти, ярко-синим ковром стлалось до Константинополя море.

Мне опять показалось окружающее нереальным: зелёные деревья, море, Константинополь... Господи, где мы?

Какая благодать... Никуда не спешить, ничего не требовать и ничего не обещать.

Всё покрывал дух мира и покоя, и только наши праздношатающиеся фигуры нарушали благообразную картину.

На площади в Карей мы зашли в несколько лавочек, находящихся на первых этажах. И в лавочках не было суетливости, присущей всякому торговому делу. Пожилой грек безучастно сидел за кассой и не обращал на нас никакого внимания. То ли по нам видно было, что ничего покупать мы не собираемся и только любопытствуем, то ли в самом деле с наступлением часа сиесты у местных жителей происходит примерно то же, что у лягушки, попавшей в холод — кровь густеет. Нам даже неудобно стало заходить в лавочки и тревожить их обитателей. Да и всех лавочек-то было пять-шесть, ну, может, семь... Мы пошли дальше по мощёным улочкам, вышли к большому собору, упакованному в строительные леса (батюшка, наставляя перед поездкой, говорил, что где-то здесь должна находиться икона Божьей Матери «Достоинство есть»<sup>[37]</sup>), но храм был закрыт. Зато напротив обнаружили здание протата, и если бы перед ним хотя бы небольшую площадь соток в двадцать да хотя бы пару-тройку ёлок — вылитый наш райисполком. А так — протат, который тоже был закрыт. Что и отличало его от райисполкома. Здесь другой ритм и уклад даже у официальных учреждений.

Двинулись по узенькой (только два человека и могут разойтись) улочке, которая через три дома закончилась, и мы увидели указатель, одна его стрелка показывала на небольшую, убегающую меж зелёных кустов в гору тропку, на ней было начертано по-гречески «Филофей», другая — на небольшие воротца с калиточкой и обозначено: «Кутлумуш». На калиточке был накинута резиновый кругляшок, обозначавший, что калиточка закрыта.

Это было совершенно невероятно: вот же он — Кутлумуш! Почему мы не пошли сюда? Значит, так и действительно угодно Богу — и нечего переживать. Да, в общем-то, мы и не переживали. Просто никак не могли осознать своё несовершенство: всё лезем, пытаемся, строим планы, а Господь знает, что и когда нам полезно. Вот сейчас устроил нас в Андреевском скиту и показал, где находится Кутлумуш. То есть нам сюда надо после Андреевского скита. Прочувствовав момент, мы даже не попытались снять резиновый кругляшок с калиточки: завтра — так завтра, но всё не решались уйти.

С той стороны показался человек, он подошёл к калиточке, снял резиновый кругляшок, вышел.

— Кутлумуш? — спросил Алексей Иванович, указывая на калиточку, за которой не просматривалось никаких величественных, огромных строений, скорее там был сад, с беседками, дорожками, клумбами.

— Кутлумуш, Кутлумуш, — радостно закивал человек.

— Ну вот, сюда завтра и пойдём, — подвёл черту Алексей Иванович и строго посмотрел на Саньков.

— А мы — в протат, — ответил питерский.

На том и порешили. Больше в Карей нам делать было нечего. Разве что забавляли самой разнообразной расцветки и величины коты, которые в невероятных количествах по-хозяйски сопровождали нас. Можно было подумать, что они живут в этом городе, а не люди. Из-за котов заспорили: по преданиям, доступ на Афон женскому полу запрещён, причём это касается абсолютно всей твари. Есть такая поговорка, что на Афоне и птичка гнезда не вьёт. Но откуда же столько кошек? То есть котов? Неужели все привозные? Санёк-питерский попытался отловить парочку экземпляров для научного изучения, но коты не давались.

— Оставь, — предложил Алексей Иванович, — пусть остаются как есть.

Сопровождаемые котами, мы обошли городок ещё раз, вышли к крутому спуску, с которого открывалось море, сфотографировались и так же не спеша пошли в Андреевский скит — до ужина оставалось два часа.

Посидели на лавочке в тени больших деревьев недалеко от скитских ворот и уже собирались войти, как показалось, что надпись над воротами — русская. Зрение у меня никудышное, очки же оставил в келье, и я, подтолкнув Алексея Ивановича, указал ему на надпись. Наконец мы нашли чем занять оставшееся время — текст над воротами разбирался коллективно. Где прочитали, а где домыслили, и выходило, что икона над воротами есть список с чудотворной иконы Божией Матери, явленной в Вятке. Воодушевлению Алексею Ивановича не было предела. По-моему, только хохлы могут потягаться с вятичами в национальном самомнении.

Алексей Иванович сделал широкий приглашающий жест, словно мы у него в гостях, и дальнейшее только укрепило его в этом чувстве. Возле восстанавливающегося храма стояло несколько старинных с зеленоватым отливом колоколов. Видно было, что колокола сняли на время ремонта. Алексей Иванович подошёл и стал читать написанное по ободу. Колокола оказались даром вятских купцов <sup>[38]</sup>!

— Вот! — сказал Алексей Иванович и скромно отошёл в сторону, давая нам возможность увидеть подтверждение того, что для него являлось неоспоримой истиной.

Мы, разумеется, стали разглядывать надпись на колоколах, как разглядывают в гостях фотографии из хозяйского альбома, а Алексей Иванович, как положено в таких случаях, комментировал:

— Вятские — это соль земли, без них вообще ничего не делается, они повсюду. Заметь, на подворье Пантелеимонова монастыря в Москве сторож — из Вятки, здесь, на Афоне, свидетельство исторической связи Афона с Вяткой, а завтра идём в Кутлумуш, где подвизается тоже вятский. Вятские — везде, их можно встретить в любом уголке мира.

Крыть было нечем. Только язвить.

— Эх вас разметало. Ладно евреи, а вы-то чем Бога прогневали?

Алексей Иванович поперхнулся, но ничего не ответил, вздохнул глубоко и скорбно, словно старик, уверенный, что молодое поколение обязательно должно быть хуже.

— На ужин пора, — сказал Санёк-питерский, ему тоже, видимо, было досадно, что никаких питерских следов на Афоне нам не попало.

Между прочим, позже я узнал, что долгое время храм Андреевского скита оставался самым большим на Балканах<sup>[39]</sup>...

Ужин проходил в небольшом полуподвальном помещении. Вспомнился старый город, кафешки, в которые надо спускаться по тёмным искрошившимся ступенькам, но как же там уютно! Конечно, трапезная Андреевского скита — это не кафешка, длинные столы, но как на них всё радостно: и блестящая металлическая посуда, и лежащие горкой фрукты, и цветные салфетки; со стен смотрят святые, их суровые взгляды и тёмные лики удачно сочетаются с кирпичным цветом стен; за трапезой читалось поучение. То ли от того, что читалось оно на греческом языке, то ли сам текст выпал такой удачный, но воспринималось чтение как ласковая музыка, в которой ничего не понимаешь, но хочется, чтобы она длилась и длилась; а вот сами кушанья ни в какой кафешке не поешь! Такое — только на Афоне! Могу сказать только, что блюда напоминали овощной супчик и запеканку. Но их никак нельзя назвать «супчиком» и «запеканкой» — это слишком обыденно для тех чудесных блюд. Ещё была зелень, фрукты и графинчик с вином, к которому я, пройдя утреннее испытание, уверенно потянулся. Графинчик подавался из расчёта стаканчик на человека (пишу «стаканчик», чтобы чувствовалось отличие от монументальности русского слово «стакан»), а я и тот не дерзнул полнить. Лишь пригубил. Но не в этом де-ело...

Господи, да за что же нам такой праздник? Что мы к исходу дня принесли Тебе, что Ты нас так щедро одаряешь?! Мне не путники, а путанники, которые всё норовят сойти с путей Твоих. Сколько раз сегодня мы оставляли упование на Тебя, а сколько раз забывали благодарить, когда Ты исправлял и направлял нас! И вот Ты, Господи, привёл на этот пир... а мы? Что за одежда на нас, Господи?! Как смел я садиться за Твой стол так легко и просто, да ещё рассуждать: ступеньки, стены, потолок, кафешка... Прости, Господи, неразумного и неблагодарного, прости...

## 5

Мне захотелось молиться. Это было чувство слёзной благодарности Терпящему моему лихоимство и несовершенство. И, слава Богу, почти сразу после трапезы началась служба.

Быстро темнело, из трапезной вышли уже в сумерках, потянуло прохладой. Зашли в кельи (оказалось, прибыла ещё одна группа: два батюшки и два мирянина из Москвы; батюшек поселили отдельно, а мирян — к нам третьими), потеплее оделись и направились в храм, располагающийся над главными воротами скита.

Совсем стало темно, и удивительное чувство возникло — словно мы на небе: то тут, то там вокруг нас мерцали и покачивались звёздочки. Я поднял голову: небо было на месте, но как звёзды отражаются здесь?

— Ты фонарик взял? — спросил Алексей Иванович.

Ах, да, что же я? Включил фонарик — и зажглась ещё одна звёздочка, и тоже влилась в общий

порядок. Здесь он свой — все звёздочки, движутся к храму. А может, это общий порядок Вселенной? Ведь всё в мире — Бог. И вся Вселенная движется к Нему.

Вот и меня Господь сподобил — иду со всей Вселенной, покачиваю фонариком в такт шагам.

Перед входом в храм тёпленький свет лампы освещает лик Богородицы и я выключил фонарик. В небольшом притворе плотно, в несколько рядов — стасидии, словно вынесенная на время ремонта мебель, к удивлению, ряды стасидий обнаруживаются и в храме. Наверное, если бы я увидел заполненными стасидиями храм днём, это произвело неприятное впечатление пустующего театра, но сейчас, в полумраке, при жёлтом свете свечей всё воспринималось естественно. Вспомнилось есенинское «и как стражники замерли в нашем саду»<sup>[40]</sup>, и представилось, как на рубеже веков так же плотно стояли здесь монахи. И сейчас это не стасидии, а памятники им, ушедшим. А может, души их по-прежнему здесь, ведь это их стасидии?

Храм стал обходить монах с забавной штуковиной, похожей на лампу Алладина, он потрясал ею, лампа разливалась весёлыми бубенчиками, а из горлышка растекался по храму дух благовоний<sup>[41]</sup>. Так у нас дьякон обходит храм с кадилом. Некоторые, кстати, подвешивают на кадило колокольчики, и получается такой же мелодичный звон. Только у нас дьякон кадилом движет мерно, словно отсчитывает время, а здесь монах движется быстро, словно добрый вестник старается быстрее оповестить всех: радуйтесь, радуйтесь, начинается служба Богу.

Монахи запели. Меня удивили восточные интонации, которые я привык слышать в турецких песнях, частенько звучащих в наших маршрутках. И то, что в песнях греческих монахов мне послышался турецкий шлягер, несколько покорило, но тут же, с другой стороны, пришло: я неправильно слушаю мир, это не греческие песнопения произошли от турецкой попсы, а культура Византии отразилась в мусульманских напевах, а потом их выскоблили и заполняют выметенный<sup>[42]</sup> мир.

Я стал вслушиваться — мне хотелось полюбить Византию.

Сначала я пытался угадывать службу, улавливал знакомые слова «падре»<sup>[43]</sup>, «кирие елейсон»<sup>[44]</sup>, «агиос»<sup>[45]</sup>, но скоро понял, что это вслушивание только отвлекает от молитвенного настроения, которое не хотелось терять, и я перестал вдумываться, и так хорошо стало: всё разом сложилось — и то, что звучало на греческом, и то, что было в душе — и без разделения языков звучало так чудесно и волнительно, что я радовался, узнавая своё и вместе с тем печалюсь: о, Византия, почему я не слышал тебя раньше?!

Вдруг служба кончилась. Я никак не ожидал, что уже всё. Посмотрел на часы — прошло всего полтора часа, только начал влюбляться в Византию, а ответить ей не успел.

Тихое звёздное небо примирило. Какое вообще чудо жить на земле! Господи, а что же тогда там, у Тебя?

Когда вернулись в келью, ни о каком сне и речи быть не могло. Утренняя служба через восемь часов — для сна это казалось излишне много. Я предложил к вечернему правилу присовокупить какой-нибудь акафист. Алексей Иванович согласился, стали выбирать, какой, но тут пришёл сосед и, стесняясь, стал говорить, что он сейчас исповедовался у своего батюшки и теперь надо вычитывать каноны и последование, и вот он боится, что доставит нам неудобства. Как мы обрадовались — опять ничего решать не надо! Мы тут же вызвались читать каноны

вместе.

Какое великое дело — совместная молитва! Да ещё на Афоне! Может быть, в этот раз не было того изумительного звука, как вчера в высокой молитвенной комнатке, но душа так легко откликнулась на молитву! Хорошо, когда двое или трое...

После канонов и вечернего правила Алексей Иванович сказал:

— Дальше пусть сам, — и неопровержимо зевнул. Алексей Иванович постарше меня, и рюкзак у него тяжелее, и переживал он больше — намаялся человек, а готов был и до конца последование читать, но мне показалось, что неудобно будет, если я останусь читать, словно укор какой-то. Я согласился, попросив только, чтобы москвич читал вслух. Алексей Иванович вышел по своим делам, я расстелил кровать и лёг, и под мерное чтение не слышал уже, как вернулся Алексей Иванович, как москвич ещё перекладывал вещи, как, наконец, погасили свет...

## День третий

### 1

Проснулся я бодрым, свежим и в то же время с чувством, что не ложился спать вовсе, так, вздремнул чуть-чуть...

Снова звёздочки-фонарики потекли к храму, снова мы вошли в храм, заполненный пустыми стасидиями, только в этот раз мне захотелось быть поближе к царским вратам, и я нарушил покой уставленных перед алтарём стасидий (в первом ряду занять место не дерзнул, а вот во второй пристроился), рядом со мной, через одно место, расположился монах — значит, можно и тут места занимать, успокоился я.

Всё складывалось хорошо.

Когда начали петь псалмы, я подумал, а почему бы мне не опереться на скамеечку в стасидии — смотрю, и монах, который рядом, тоже опёрся. Снова протяжно запели, бережно выводя каждую ноту. Это русская песня — долгий путь через степь и лес с приступами отчаянного веселья, а греческая — это лёгкое покачивание на волнах ласкового Эгейского моря.

Становилось светлее, передо мною возникли серые монахи, или это я уже мог различать их? Меня позвали, не голосом, а сам не знаю, как, но я откликнулся и пошёл за ним. Куда меня вели, зачем? Какая разница? Я чувствовал покой и никакого страха. Город какой... Белый город... Но древний и подзапущенный... И пустой... Только тени монахов впереди... Сомнение задело меня: откуда такой светлый город и вообще, что, собственно... ба! Да я в наглуую сплю!

Ну, скажем, дремлю. Вот ведь, вроде чувствовал себя бодро, а укачало-таки на волнах. Это потому, что я улавливал только внешнюю сторону службы, но сам-то не молился.

Я оторвался от скамеечки и постарался вникнуть в службу. Снова стал узнавать слова, угадывать смысл песнопений и скоро догадался, что читают часы — неужели я и в самом деле выпал больше чем на пятнадцать минут?

Бодря и благоухая, пошёл монах с кадильницей, а затем из алтаря раздалось: «Благослови». Дальше всё было знакомо и захватила нарастающая волна, словно нарастающий ритм сертаки.

И вот уже выносят Чашу. И я, прожив эту Литургию и достигнув высшей её точки, хотел упасть

на колени... но смог только положить руки на впереди стоящую стасидию... А те, кто стояли в стасидиях, расположенных вдоль стен, на колени встали. А монах, стоявший рядом, двинулся к причастию, и я признал в нём русского батюшку, скорее всего, это как раз один из московских, которые пришли в монастырь вечером. Ну вот, а я по нему сверял, когда можно присесть в стасидию. А батюшка, поди, на меня посматривал, так мы с ним всегда одновременно садились и вставали. Вот и наш сосед по келье причащается. Слава Богу.

Вышли из храма, когда купол и колокольня засияли небесно-розовым цветом. Было прохладно. Но розовый свет всё более светлел, отливаясь золотом, всё ближе сходил к нам, и осязаемое вхождение в новый день, как рождение в новую жизнь, было восхитительно.

Трапеза для работников и паломников проходила на этот раз отдельно от братии, в подвальном этаже архондарика. Выстроившись в небольшую очередь, подходили к кастрюлям с едой, накладывали, кто чего желал, для розлива был установлен автомат — в общем, столовая эконо-класса. Никто за трапезой не читает. Земным повеяло.

Нет, конечно, нельзя сказать, что, оставшись без видимого присутствия монахов, мы стали уж шибко вольно вести себя — за столами царило братское желание быть полезным, послужить, но какая-то расслабленность чувствовалась. Словно у нас вечер пятницы. А на самом-то деле — вторник, утро.

Поднялись в кельи. Алексей Иванович, уже не особо стесняясь, достал папиросы и ушёл, а я прилёг на кровать и задремал, пригретый заглянувшим в окошко солнышком.

Первый раз я пожалел, что Алексей Иванович так быстро курит. Нет, его, конечно, тоже понять можно: у меня, видимо, было такое счастливое лицо, что это не могло не возмутить. Ну, да, весь мир чем-то занимается, суетится, укладывается, а я тут, понимаете ли, блаженствую.

— О! Развалился тут! (Хотя я лежал тихонечко, молитвенно сложив ручки на груди.) Давай вставай, нас выселяют. (Господи, как грубо.)

— Куда нам торопиться? — попытался сопротивляться я. — До Кутлумуша-то минут двадцать...

— Сколько бы ни было — расчётное время.

Хоть слово «выселяют» и резковатое, но, в общем-то, верное, нас и в самом деле попросили: надо прибирать комнаты, приготовить их для новых гостей, а нам — в путь, в каждом монастыре можно переночевать только одну ночь.

Монастырский дворик окатил бодростью и светом. Мы нашли лавочку под раскидистым деревом и стали ждать Саньков.

На леса, обступившие храм, полезли строители, несколько человек пронесли большую кастрюлю, показался молодой иеромонах, более похожий на колхозного учётика, важного и для сельского хозяйства обременительного.

— Пойдём благословимся, — предложил Алексей Иванович.

Мы подошли, иеромонах благословил, улыбнулся и что-то пожелал нам по-гречески. Мы тоже — что-то по-русски. Иеромонах ещё раз перекрестил нас и двинулся было своей дорогой, но тут Алексей Иванович возопил:

— Илеос!<sup>[46]</sup>

Даже я вздрогнул, не говоря уж о монахе — тот посмотрел в нашу сторону с опаской. А Алексей Иванович, перебивая русское причитание исковерканными греческими словами, схватился за монаха.

— Нам бы маслица, батюшка, отче, падре, илеос, илеос.

— А, елей, — догадался монах.

— Ее! Ее, — вырвалось у Алексея Ивановича из глубин пострадавшего от общей американизации сознания.

«Я, я, натюрлих», — мысленно поддержал я товарища.

Иеромонах немного успокоился, снова улыбнулся и показал на храм над воротами скита. Мы закивали головами, понятно, что масло в храме. Иеромонах, оставляя вытянутой в сторону храма руку, махнул ею пару раз, мол, ну и идите туда, но мы строго держались батюшки. Тот наконец опустил руку, вздохнул, улыбнулся и пожалел нас. А как быть с неразумными детьми? Он повернул к храму, мы — за ним. Когда поднялись на второй этаж, он оставил нас в притворе — в самом храме шла уборка — и ушёл.

— Просить надо, — зашептал Алексей Иванович. — Всегда просить надо. Это мне духовник говорил. Бес учил: никогда ничего не проси. Это — гордыня.

Минуты через две иеромонах вышел и протянул нам два маленьких пузырьёчка. Как мы его благодарили! Он тоже расчувствовался, что-то всё желал нам и несколько раз благословил. Из храма мы вышли счастливые донельзя.

— Вот теперь можно и в путь! — удовлетворённо изрёк Алексей Иванович.

Возле лавочки мы обрели не только оставленные рюкзаки, но и Саньков, и не преминули похвастаться пузырьёчками. Лучше бы мы этого не делали — вид у них стал... мы и причастились, и маслица добыли... Чувство незаслуженных наград перевесило чувство обладания, и мы указали, где и как можно получить маслице. Саньки убежали, а мы остались опять под деревом. Солнышко припекало всё больше и больше. Благодать! Появились четверо москвичей.

— Идите быстрее в храм, — наставительно сказал Алексей Иванович. — Там батюшка масло раздаёт. Скажете: «Илеос».

«Если что, скажите, от нас», — я не произнёс — подумал.

Только ушли москвичи, появились довольные Саньки, а я представил иеромонаха, когда он увидит очередную делегацию с прошением о «илеосе».

— Ну что, пошли?

— Пошли!

— Слава Богу!

Мы вышли из ворот Андреевского скита, перекрестились, земно поклонились так чудесно принявшей нас обители и ступили на дорогу в Карею.

На дорожном просторе новое открытие ждало нас — мы увидели Гору. Только на третий день Господь открыл нам её.

Чёткий треугольник, словно нимб с древних икон, белоснежно сиял перед нами. Его вершина истончалась в небе, и мы настолько ясно видели её, что, казалось, различали все складочки, все тропки, все камешки и трещинки на них...

Мы замерли... Гора поражала своим величием, манила и вместе с тем казалась недостижимой. В то же время мы точно знали, что на неё восходят паломники, там стоит крест и есть келейка, где можно переночевать <sup>[47]</sup>... Но неужели это возможно?

— Вот куда идти-то надо... — произнёс Алексей Иванович.

И это «куда надо идти» прозвучало не как идти именно на вершину Афонской горы, а как жизненный путь, вершина которого должна так же истончаться в небе...

Невесть откуда набежавшее облачко закрыло Гору. Довольно с нас, стало быть, и этого.

Сфотографировались на фоне Горы, прикрытой облачком, и побрели в Карею. Шли, почти не разговаривая. Появившееся чувство вины и досады на самого себя не оставляло. Сколько раз Господь ясно указывал путь. И всякий раз утешал себя тем, что слаб, немощен, что стараюсь исполнять, но по мере сил...

Господи, как мы глупы, когда, приходя на исповедь, чуть не радуясь, сообщаем: слаб я, батюшка... И какое-то даже удовольствие от этого испытываем, вот, мол, слаб, что с меня взять... И правда, нечего... Пустоцвет. Откуда же ангелы понесут Ему нектар?

Грустная дорога у нас получилась... Хотя день был светел, море лазурно, даже птички пели, а Карея встретила столичной суетой на местный лад: с десятков паломников не спеша переходили из лавки в лавку, пара человек сидела непосредственно возле лавок, несколько монахов ждали автобуса, ленивыми стайками курсировали коты.

На площади мы попрощались с Саньками. Они остались ждать открытия протата, а мы пошли в Кутлумуш. Расставание, как и дорога, вышло грустным. Я почему-то был уверен, что мы уже не встретимся. Санёк-питерский всё пытался что-то подарить на память из множества вещей, которые непонятно каким образом вмещались в его небольшой рюкзачок, Санёк-московский и Алексей Иванович обменивались адресами...

Когда мы уже стояли у заветной кутлумушской калитки, Алексей Иванович, приободрившись, сказал:

— Вот, послал Господь друзей в нужное время. Что бы мы без Саньков делали в Пантелеймоне и в скиту? А теперь нас ждёт монахус Серафим, он нам всё расскажет, — и потянул калитку на себя.

Она, разумеется, не открылась.

### 3

Алексей Иванович — человек впечатлительный, для него, как, впрочем, и для всякого православного, есть Промысел Божий, а случайностей — нет. Поэтому, когда калиточка не открылась, он тут же покрылся потом и затряс калиточку, повторяя:



— Молитвами Святых Отцов наших, Господи Иисусе Христе, помилуй нас.

Оказалось, что калиточка замкнута на небольшой крючок, какой раньше, до эпохи евроремонта, присутствовал почти в каждой ванной комнате коммунальных квартир.

Слава Богу, что не оторвал, крючочек-то легко открывался. Алексей Иванович вытер пот, и мы вошли.

Первое ощущение было, что попали в образцово-показательное садоводческое хозяйство, так сказать, для своих. По левую руку от нас аккуратными рядами наблюдались культурные посадки то ли маслин, то ли других плодоносящих, перемежалось это всё лужайками, клумбами и беседками. По правую руку почти отвесной стеной поднималась гора — храма видно не было. Мы даже засомневались, а не заплутали ли опять? Впрочем, впереди виднелось строение тёмно-красного цвета, не тусклого, как наши водонапорные башни почти на всех полустанках, а насыщенного, живого. На имевшейся у нас карте Кутлумуш был представлен как раз в таких тонах, более того, в одном из путеводителей писалось, что Кутлумуш выделяется из всех монастырей Афона именно необычным тёмно-красным цветом построек. А вообще-то это один из самых древних монастырей Афона. Построен греками и греческим всегда оставался <sup>[48]</sup>. Это нас несколько не смущало, во-первых, мы были уверены, что попадём под покровительство монаха Серафима, во-вторых, тоскливые воспоминания о чувствах инородца, испытанные в архондарике Андреевского скита, притупились, ну, а в-третьих, мы были «русия ортодокс», что, как нам представлялось, соответствует званию особо почётного гостя. Мне почему-то сейчас подумалось, что американцы, когда куда-нибудь лезут, тоже так о себе думают.

Ну, Бог с ними, с американцами, нам с бы с собой разобраться. Кстати, приземистый дом, закрасневшийся впереди нас, оказался жилым и обитали там явно не монахи. Зато, обогнув его, мы обнаружили стену, похожую на монастырскую, и, пройдя вдоль, вышли к красивым воротам с колоннами. Напротив ворот была чудная каменная беседка, увитая зеленью, в глубине которой журчал родничок. Асфальтовая дорожка, по которой мы шли, закончилась, началась брусчатка. Ну, слава Богу!

Ворота были распахнуты и открывали путь через тёмную узкую арку, какие любят изображать писатели-фантасты для перенесения героев из одного времени в другое. В арке веяло холодом и пахло подземельем, на стенах едва различимые росписи, двери (обычно одна из дверей ведёт в церковную лавку), чуть более десятка шагов и мы... в самом деле оказались в другом времени.

В каком веке? Бог весть. Только я чувствовал, что здесь так же было и сто лет назад, и двести, и триста. Понятие времени потеряло смысл.

Перед нами стоял храм из тёмно-красного кирпича. Невысокий, но крепкий и основательный, как крестьянский сын. Храм не был, как у нас в России, «увенчан шапкой купола», а скорее прикрыт подобием восточной тибетейки. Но с крестом. Напротив храма устремлялось ввысь здание, похожее на часовню, пожалуй, единственное, в котором красный цвет не преобладал. Всё это окружали близко подступающие трёхэтажные помещения из того же тёмно-красного кирпича и ровными рядами окон напоминали (прости, Господи) тюремную стену. Из-за того, что стены были высоки, а площадь мала, солнце почти не проникало внутрь, и сразу показалось, что здесь холоднее и суровее, чем с той стороны арки.

Пока мы несколько минут оглядывались, привыкая ко времени и месту, ни единое живое существо не дало о себе знать. Никакой Серафим с распростёртыми объятиями нас не

встречал. И куда теперь? Я почувствовал себя несколько неудобно. Хотя, что такого? С нами Бог. Он привёл в монастырь. Чего нам бояться? Разве что своих грехов? Но вот этого-то мы почему-то никогда и не боимся.

Должна же быть где-нибудь табличка! И я увидел её, только такая уж она была неприметная, словно завалилась тут со времён самых первых олимпийских игр, и я не прочитал, а угадал слово, ставшее для нас в последнее время одним из самых жизненно необходимых: «архондарик». Стрелка указывала на дверь в стене за нашими спинами. Мы развернулись и вошли внутрь.

Вот — здравствуйте, опять метание во времени, и я невольно опустился на изящный деревянный стульчик, которыми было уставлено пространство залы, больше похожей на восточное кафе в полуденные часы. Так же пахло кофе и пряностями, так же было малоллюдно, но всё было готово в любой момент ожить и задвигаться — дай только повод. И тут вошли мы. Люди за столиками сразу загалдели, словно их тут не четверо, а сорок. За барной стойкой сидевший на самом высоком стульчике монах стал громко отдавать команды кому-то в открытую кухонную дверь, потом ответил сидящим за столиком, потом пред ним предстал другой монах, поменьше, и высокий то ли отчитал, то ли похвалил его — в общем, видно было, что именно он руководит тут процессом. На нас он даже не взглянул.

Мы сели за один из столиков.

Через некоторое время захотелось обратно на пустынную площадь. В Андреевском скиту с нами хоть попытались заговорить, а тут игнорировали напрочь.

Минут через пять Алексей Иванович произнёс:

— Может, у них кофе спросить?

— Спроси, — кивнул я на высокого руководителя.

Алексей Иванович насупился.

Вошли ещё двое паломников. Греки. Поставили рюкзаки у входа. Сели за столик, сказали что-то. Высокий кивнул, гаркнул в ответ, и скоро из кухоньки показался молодой человек с подносом, на котором стояли чашки с кофе и лукум. Пройдя мимо нас, он поставил поднос на столик только что пришедшим и ретировался обратно за стойку.

Через несколько минут он появился снова. Алексей Иванович не выдержал и, когда тот нечаянно к нам приблизился, схватил его за рукав.

— Кафе, кафе...

Тот сделал удивлённые глаза, мол, откуда это мы тут, но улыбнулся, что-то ответил и жестом дал понять, мол, ждите. Ну, ладно, сидим дальше.

И-да, время обрело формы, оно тянулось, как американская резинка, которую уже и жевать противно, а выплюнуть почему-то жалко. Появился другой монах, по-афонски улыбочивый и не такой чёрный, как их руководитель. Из его слов мы уловили знакомое «диамонитирион» и торопливо полезли по карманам, словно гости Москвы, остановленные бдительной милицией.

Монах повертел в руках наши бумажки и, не переставая улыбаться, скорбно вздохнул, видимо, о несовершенстве мира, и направился показывать наши афонские паспорта начальствующему

чёрному монаху. Тот тоже пренебрежительно повертел их перед глазами и вернул монаху как предмет, не заслуживающий внимания. Монах попытался возразить, разведя в сторону руками, но начальствующий прервал его резко и безапелляционно. Второй монах стоял, виновато потупившись, наши диамонитирионы повисли у него в руках, как безнадежные экзаменационные листы, исправить которые нет никакой возможности.

— Хоть бы кофе дали... — обречённо глядя на бесполезные диамонитирионы, проговорил Алексей Иванович.

А я начал молиться, сам не зная, о чём: не пустят, так не пустят, пойдём искать ночлег, лишь бы быстрее разрешилось всё.

Монах с диамонитирионами подошёл к нам, но Алексей Иванович опередил его:

— Нам бы только посылку передать, доро, доро, монахус Серафимус, и уйдём, вот только доро отдать, ну, и кофе на дорожку...

Монах протянул нам диамонитирионы и произнёс что-то ободряющее, наверное, пожелал доброго пути. Появился молодой человек с подносом, на котором стояли две чашечки кофе, два стакана с водой и тарелочка с лукумом, к нашему удивлению, поставил всё это перед нами и, белозубо улыбнувшись, дал понять, что можно вкушать. Монах, вернувший нам диамонитирионы, тоже жестом пояснил: мол, кушайте, кушайте, не буду вам мешать, и отошёл.

— И на том спасибо, — поблагодарил Алексей Иванович.

Кофе был отменный, не зря тут у них профессиональная стойка. Мы тянули его медленно, если честно, уходить не хотелось.

С улицы вошёл ещё монах, молодой, высокий, как показалось, неуклюжий и чем-то напуганный. Точнее, не напуганный, а лицо его как бы недоумевало и вопрошало: как же это могло случиться, почему, отчего? Он существенно отличался от всех в зале русой бородёнкой, белым лицом и голубыми глазами в допотопных очёчках, больше похожих на пенсне. Во всём облике вошедшего, монаха угадывалось родное, этакий удивлённый платоновский чудик. Он подошёл к стойке, начальствующий гаркнул, а второй объяснил, и монах, повернувшись к нам и не переставая изумляться, стал нас рассматривать. Мы дружно перестали пить кофе и потупились. А монах двинулся к нам, но уже глядя поверх нас, потом остановился, обрадовался, словно что-то наконец нашёл там, наверху, посмотрел на нас и, снова недоумевая, как такое могло случиться, спросил:

— Русия?

— Да! Да! — обрадовались мы, и Алексей Иванович начал про «доро», «монахуса Серафимуса» и что, мол, сейчас отдадим посылку и свалим, раз у вас тут с местами туго.

— Изограф? — вдруг спросил монах.

— Чего? — не понял Алексей Иванович и тоже недоумённо посмотрел на меня.

— Он спрашивает, — пояснил я, — Серафим твой — художник?

— Да, художник, — ответил Алексей Иванович. — То есть иконописец.

— Нэ<sup>[49]</sup>, изограф, — перевёл я удивлённому монаху.

Тот удивился ещё больше и, покачивая головой, направился в сторону двери и вышел.

— Ну, и что теперь делать? — ей-Богу, он уже начал доставать этим испортившим жизнь России вопросом.

— Кофе пить.

— Я уже выпил.

— Лукум поешь.

— Он сладкий.

— Сходи покури.

— Да отстань ты.

И в самом деле, чего это я?

— Давай карту посмотрим, — примирительно предложил я. — Куда пойдём-то? — и мы склонились над картой, хотя, по большому счёту, было всё равно, куда идти, да и в карте этой мы ничего не понимали.

Снова открылись двери и снова появился раз и навсегда удивлённый монах, а с ним, судя по строгой чёрной бороде и смуглому лицу, — грек... И всё же некая утончённость сквозила в его лице, и смуглость эта, и правильная борода словно покрывали прошлое.

Они подошли к нам. Мы встали.

— Монах Серафим, — представил смуглого монаха русоволосый и отошёл.

— Батюшка! — возликовал Алексей Иванович.

Монах смущённо заулыбался, показывая на уши, и приложил палец к губам. Алексей Иванович сообразил, что такое бурное выражение эмоций не совсем уместно, хотя вон местным позволяется, и, перейдя на заговорщический шёпот, усадил монаха подле себя и принялся обстоятельно рассказывать о наших паломнических трудах и передавать поклоны. Монах смущался всё больше, жестами попытался что-то объяснить, потом достал блокнот, карандаш, написал что-то и протянул блокнот Алексею Ивановичу. Тот прочитал и посмотрел на меня с такой тоской и отчаянием, что я невольно напрягся, быстро пытаюсь сообразить, что может быть хуже отказа в ночлеге.

— Он — глухонемой, — сказал Алексей Иванович, показывая мне листок блокнота.

— Ну, вот и поговорили, — выдохнул я.

Монах Серафим закивал головой.

#### 4

Впрочем, всё оказалось не так уж и трагично. Это поначалу Алексей Иванович (на правах земляка с Серафимом общался, в основном, он) разговаривал голосом мастера прокатного

цеха. Греки в зале сначала притихли, а потом поуходили вовсе. Серафим же, увидев открывающийся рот собеседника, подставлял блокнот и протягивал карандаш. Вынужденный заняться писанием, Алексей Иванович быстро успокоился и перешёл на бормотание, поясняя мне, что пишет. Листков в блокноте было немного, писать карандашом — занятие мучительное, так что Алексей Иванович в своих записках был литературно краток. Вполне возможно, что эти афонские записки — лучшее из пока написанного им.

— Так, это не надо... Это — ладно, а вот: «У нас построили новый храм».

Литература вообще дисциплинирует. Жаль, немногих.

А монах Серафим оказался не такой уж и немой. Прочитав написанное Алексеем Ивановичем, он отвечал тихо и мало, слова ему давались с трудом, словно нужно было сделать усилие, чтобы вспомнить. Тем не менее вынужденное немногословие беседы-переписки оказалось весьма полезным. Нас записали в местную большую книжицу и определили на жильё, потом мы узнали расписание: через три часа читается акафист Богородице, потом — трапеза и небольшой отдых, потом — служба, следом — отдых часов пять и — Литургия. В конце чтения акафиста будут выносить святыни монастыря, день сегодня постный, поэтому можно готовиться к причастию. Ещё мы узнали, что совсем рядом находится калива, где подвизался Паисий Святогорец<sup>[50]</sup>, и как раз до акафиста мы успеем туда сходить. Конечно, мы изъявили желание. Серафим, правда, проводить нас не мог — в иконописной мастерской его ждало послушание.

Мы искренне и сердечно благодарили Серафима. Алексей Иванович бодро написал: мол, идите, мы тут теперь сами разберёмся (как мы быстро воспряли!), но Серафим всё-таки повёл нас устраиваться.

Снова оказались на монастырском дворе. Солнце, пока мы сидели в архондарике, поднялось высоко и залило двор почти полностью, так что он уже не казался холодным и суровым. Да и как может быть холодно и сурово, когда жильём обеспечен, трапезой тоже — живи и радуйся. Бога только благодарить не забывай.

Прошли мимо приземистого главного храма, розовой часовни, которая оказалась трапезной, и поднялись по деревянной лестнице жилого корпуса. Сам корпус и есть стена монастыря, дверь выходит на внутренний двор, окно — на другую сторону. С внутренней же стороны монументальное здание, стены которого, наверное, не менее метра толщины, обступают деревянные террасы, которые напоминают строительные леса, только, конечно, более основательные, но всё-таки кажутся, особенно в сравнении с древними мощными стенами, жиденькими и ненадёжными.

На втором этаже нас встретил уже знакомый русоволосый монах, который, увидев нас, удивлённо покачал головой.

На самом деле он нас ждал и уже приготовил келью. Монах Серафим ещё раз извинился, что ему надо идти на послушание, попросил дождаться его, он покажет, как пройти к каливе Паисия. И мы пошли за русоволосым монахом.

С широких строительных лесов переступили на узенькую каменную терраску ещё давних времён, а затем оказались в весьма современного образца номере гостинички общежительного типа. Это когда небольшая прихожая объединяет несколько комнат. Наш провожатый не преминул удивиться такому устройству, будто первый раз видел, и открыл одну из дверей.

Чистенькая светленькая комнатка, даже большеватая для двух кроватей. И высокая. Наверху окно, судя по нему, насчёт метровых стен я загнул, но полметра в ширину — точно. В окне качалась зелёная листва и слышалось теньканье птичек. При входе стояли тапочки.

Я почему-то сразу вспомнил, как Бог сказал Моисею: «Сними обувь твою, ибо место, на котором ты стоишь, свято», и ещё вспомнил, как Владимир Крупин ходил по Иерусалиму босиком.

Но это было так великолепно — тапочки! И несмотря на то, что у нас с Алексеем Ивановичем имелись свои, мы предпочли переобуться в монастырские. Когда сопровождавший нас монах ушёл, я плюхнулся на кровать. Блаженство! Как всё хорошо! Слава Тебе, Господи!

Ну разве мог я предполагать, что побываю в каливе Паисия?! Где-то с полгода назад я прочитал его Слова и пришёл в восторг. «Вот это настоящий писатель, — говорил я знакомым. — Вот настоящая литература, без лукавства, без мудрований и в то же время лёгкая, без натуженного тумана, когда пытаются скрыть незнание предмета, и в то же время какая образная и метафоричная!» Каюсь, я больше восхищался старцем Паисием как писателем.

Но чем больше узнавал о нём, о его жизни, тем больше проникался любовью к старцу. Уже не как к писателю, которым он, собственно, никогда и не был, все его слова и поучения были записаны кем-то или взяты из писем, а как к человеку Божьему.

И вот Божиим Промыслом я оказался буквально в двух шагах от места, где жил старец, куда к нему стекалось множество людей.

Мы оставили вещи и вышли на террасу. Там нас уже ждал Серафим. Он вывел нас за ворота монастыря и показал на предгорье, которое издалика казалось ровным и зелёным, как английский газон, на котором то тут, то там виднелись небольшие беленькие домики — это были каливы. Мы несколько раз переспросили, Серафим несколько раз повторил про поворот с асфальтовой дороги, про развилку, про мостик и Божию помощь. Ещё он напомнил про акафист Богородице.

Серафим оставил нас (эх, сколько смысла в этой фразе!) и отправился исполнять послушание, а мы — радостные тем, как всё удачно оборачивается, сбросившие рюкзаки и попечение о сегодняшнем дне — пошли вниз по асфальтовой дороге.

Какой день подарил Господь! Солнышко, лёгкий ветерок, зелень леса... Нет, столько благодати нельзя сразу давать, по крайней мере, таким, как мы.

Для начала мы свернули не там. Да, был поворот и как раз направо, перегораживал его закрытый шлагбаум с непонятной надписью на греческом, и мы почему-то решили, что если перегорожено, то, значит, нам как раз туда и надо. Мы обошли шлагбаум и пошли уже по дорожке из щебня, которая сразу стала забирать вверх и в сторону от нужного нам направления. Впрочем, пока мы не волновались. И столько интересного вокруг — вот дерево с плодами.

— Это же оливки! — воскликнул Алексей Иванович. — Ты видел, как растут оливки?

Я не видел. Алексей Иванович — тоже, но почему-то был уверен, что это именно они, причем, они в самом деле были похожи на те, что продают у нас в консервных банках.

— Давай попробуем, — и он, сорвав парочку, одну сунул мне в руку, а другую себе в рот.

Простите за гордость, но я оказался умнее и продолжал держать предложенный плод в руках. Алексея Ивановича же так перекосило, как ни одно кривое зеркало не отобразит. И это человека, который горький перец ест, как огурцы.

Он долго плевался, запить у нас, конечно, ничего не оказалось, так что, дабы перебить горечь, пришлось курить <sup>[51]</sup>.

— А вдруг она оказалась бы сладка во чреве твоём? <sup>[52]</sup>

Алексей Иванович недобро посмотрел на меня, спрятал окурок в карман и сказал:

— Не туда мы идём.

Я и сам уже понимал, что не туда, но жалко стало пройденного пути, и я предложил дойти до небольшого домика, который виднелся впереди, благо время позволяло.

Мы поднялись немного и вышли к домику, в сравнении с которым украинская хата выглядит и богаче, и поосаннее. А этот скорее походил на домик бедных рыбаков. Отчего-то сначала вспомнился Старик и море, потом подумал: ловцы человеков <sup>[53]</sup>, а перед ними — людское море...

Никто не вышел к нам, никто не стал нас ловить. Мы обошли вокруг домика и двинулись обратной дорогой. Проходя мимо места вкушения плодов, Алексей Иванович произнёс:

— А ведь батюшка мой говорил: ничего на Афоне без благословения не делай, даже палки с земли не поднимай, а я полез оливки есть. Ладно хоть не отравился.

— Это часа через два станет ясно. Да не переживай ты так, — видя, как помрачнел Алексей Иванович, постарался я исправиться, — там как раз акафист Богородице читать начнут всем монастырём и отмолят тебя... если что.

До шлагбаума мы шли молча. И хорошо. Вот за что я люблю Алексея Ивановича — он никогда не обижается. Почти.

Вернувшись на асфальтовую дорогу, мы пропустили вперёд себя группу молодых греков весьма причудливой наружности. Словно пять молодёжных неформальных движений (если, конечно, Греция таковыми страдает) выделили по своему делегату и отправили на Афон: дескать, узнайте, чуваки, как там дела у наших старцев, не перевились ли ещё на земле греческой? Один — с хаером, другой — лысый, третий — в заклёпках, четвёртый — одетый во всё яркое, как гвинейский петух, пятый — в джинсовке и очках (ладно хоть не в пиджаке и галстук). По моему, они находились в том же беспечном настроении, что и мы двадцать минут назад.

— Посмотрим, куда они идут, — предложил Алексей Иванович.

Ну, те мимо шлагбаума прошли, даже не задумываясь. Европа, никакой творческой логики: если шлагбаум закрыт, так чего туда лезть? Зато, отойдя от нас метров на пятьдесят, молодёжь зашпорила. Потом группа разделилась и двое ушли вперёд. Когда разведчики вернулись, компания, как это принято у южных народов, ещё погалдела и свернула с асфальта.

— За ними, — сказал Алексей Иванович.

Дойдя до места дороги, где пропала греческая молодёжь, мы заметили небольшую воткнутую

в землю дощечку. У нас похожие втыкают на кладбищах на свежие могилы. Но здесь номерков не было, а была стрелочка, которая не то указывала, а скорее, намекала на небольшую тропку, спускающуюся вниз от дороги.

Никогда бы не подумал, что это тропка к келье почитаемого старца, мне представлялось, что дорога к нему должна быть если не асфальтовая, то широкая и утоптанная. Ну, как говорится, узкими воротами...

Не хотелось выглядеть совсем несамостоятельными в глазах юношей, и мы поотстали, да оно и потише стало. И как вам — оказаться в ноябре в чудесном зелёном лесу!

Но тут тропинка, словно язык змеи, раздвоилась. Юношей слышно не было, мы призадумались. Алексей Иванович забрался на пенёк, чтобы лучше разглядеть сквозь листву беленький домик старца.

— По-моему, туда...

По моим ощущениям тоже надо было идти по тропинке, уходящей влево. Мы пошли быстрее, надеясь нагнать юношей, но скоро вышли на ещё одно раздвоение тропинки.

— Надо было направо идти, — скорее задумался, чем решил Алексей Иванович.

— Правильно, — поддержал я. — Ибо сказано: правыми путями ходите...

Алексею Ивановичу не нравилось моё к месту и не к месту поминание Священного Писания, он неодобрительно покачал головой, но шагнул вправо. Попалось ещё ответвление, но мы прошли мимо, ещё одно — мимо...

— Кажется, мы не туда идём, — не первый раз за этот день определил Алексей Иванович.

— Да мы вообще заблудились, — конкретизировал я. — Возвращаться надо... если сможем, конечно... Время-то, — я показал на часы, — мы уже минут сорок бродим.

— Молиться надо начинать.

Мы повернули назад.

Иисусова молитва имеет удивительное свойство (вообще у неё много самых наудивительнейших свойств, но сейчас об одном): если начинаешь творить её внимательно и с чувством (а у меня чувство появилось, потому что я ясно осознал, что с нашей беспечностью мы оставили Бога и Бог теперь мог оставить нас — это страшно, и плутание вокруг каливы Паисия нам попущено не случайно, а чтобы опамятавали), то через какое-то время молитва начинает жить как бы отдельно от тебя. Это трудно объяснить (да и невозможно), но если уж взялся писать...

Молитва словно разделяется, она остаётся в тебе и в то же время вырастает рядом с тобой, она ведёт. И ты чувствуешь её как спутника, и вместе с тем она осталась в тебе. Ты чувствуешь это общее, хоть оно и разделено телесной оболочкой, и открывается возможность совсем по-иному видеть мир, не своими глазами, а вообще не зрением, а другим, более видящим, и вдруг понимаешь, что можешь рассуждать, думать о мирском, но мягче, спокойнее, бесстрашнее, и рядом, и в тебе само собой повторяется: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешного».



Фу-ух, не Толстой, конечно, но как уж смог...

И тут за очередным изгибом тропинки мы наткнулись на греческую молодёжь, притихшую в некоторой растерянности.

Мы как шли, так, не останавливаясь, и продолжили шествие. Юноши посторонились, а затем пристроились за нами. Я, находившийся впереди, гордо оглянул шествующее за мной партизанское войско и вдруг почувствовал, что не знаю, куда идти — я потерял молитву.

— А вот и мостик, — сказал Алексей Иванович.

Слава Богу. И впрямь — впереди зияла трещина, по которой щебетал ручеёк, а через трещину — деревянный мостик. Сооружение явно являлось архитектурно-историческим памятником какого-нибудь...надцатого века, но на Афоне нет времени. Поэтому главная функция данного сооружения состояла не в том, чтобы вокруг него ахали и восхищались: ах, такой-то век, ах, сам святой своими ручками строил — а в том, чтобы по нему можно было перейти расщелину. И потому дощечки, приходившие в негодность (даже если их делали ручки какого-нибудь святого), заменялись другими (тоже трудами других подвижников), и оттого мостик был пёстр, скрипуч и невыразимо мил. Мы не могли не сфотографироваться. Юноши последовали нашему примеру. Потом мы ещё их щёлкнули всех вместе, а они — нас. И пошли дальше. Юноши почтительно предоставили нам право идти впереди. Белый домик старца был уже совсем близко. Тем не менее пришлось ещё раз подняться вверх, ещё раз потерять домик из вида и ещё раз испугаться, что снова сбились, и всё-таки минут через десять от мостка мы уткнулись в железную сетку и, цепляясь за неё, чтобы удержаться на совсем сузившейся тропочке, пошли вдоль и скоро вышли к железной калитке, на которой висел замочек, какие раньше вешали на наших садовых участках доверчивые огородники. Рядом с калиткой была прикреплена металлическая дощечка и висела железная гирька. Я качнул гирьку, она стукнулась о дощечку — получился грустный и мелодичный звук. Алексей Иванович оказался смелее и дважды качнул гирьку, и дощечка снова отозвалась меланхолично и протяжно, словно бубенцы из далёкой сказки.

## 5

Ничто не шелохнулось в белом домике. Да это было и неважно. Главное — дошли. Стоим перед дверьми каливы, где жил великий старец. Небольшая лужайка перед домиком, умиротворение и покой, и ни единым звуком, движением, чувством не хотелось нарушать благодать этого места. Хотя, конечно, так влекло на чистую полянку, посидеть на лавочке у крыльца, прикоснуться к стене... Но разве нас можно так сразу в рай? Посмотрим — с нас и довольно.

Юные греки рассуждали иначе. Один из них подошёл к гирьке и стал отчаянно колотить в дощечку, словно возвещая о пожаре. Ему на смену пришёл другой. Уже понятно было, что никто не выйдет, потому что и от первого стука можно было оглохнуть. А им, по-моему, просто понравился сам получающийся звук, отличавшийся от хэви-металл или чего там у них сейчас... Третий подошёл... Я понял, что тишина закончилась навсегда, шум спугнул очарование полянки, стало грустно и захотелось быстрее уйти, чтобы сохранить тот первообраз благодати, открывшийся нам в первые минуты... Дверь каливы отворилась, и появился старичок, который улыбался нам как самым долгожданным гостям, ясно и искренне, хотя нет-нет да и приглаживал топорщащиеся волосы, поправлял душегрейку и часто моргал.

Замок, оказалось, висел просто для вида, а калитка закрывалась обычным резиновым кольцом, наброшенным сверху.

Дальше всё было как во сне. Бывают такие сны: смотришь на всё и в то же время никоим образом в происходящем не участвуешь. Старичок что-то лопотал молодёжи, та внимательно слушала, изредка кто-нибудь почтительно задавал вопрос, все вместе мы прошли лужайку, поднялись на крыльцо...

Алексей Иванович не забыл представиться: «Русия! Ортодокс!», — старичок радостно закивал, что-то сказал доброе и нам и пригласил внутрь.

Нет, это сон, сон... Только во сне можно побывать там, где никогда побывать невозможно.

Мы пригибаемся в дверях и входим в тесный тёмный коридор, впереди виден светлый проём, там комната, но старичок поворачивает нас направо, и мы оказываемся в церкви.

Размер комнатки меньше, чем комната в «хрущёвке». Алтарь отгорожен деревянным иконостасом с царскими вратами и одной дверью. Вдоль стен от иконостаса помещаются только две стасидии, ещё по одной стоят по обе стороны входа в церковку. Низкий потолок. Стасидии старые, высокие, загустевшего от времени коричневого цвета, и я непонятно каким чувством понимаю, что вот та, рядом с которой сейчас стою, как раз старца Паисия, на спине стасидии прикреплена чёрная вязаная материя, и я, оглянувшись на увлечённо рассказывающего старичка, легонько прикасаюсь к ней... Как мне захотелось присесть в это царское кресло! И чтобы шла служба... Неважно какая, пусть хоть мерно читаются часы...

Я увидел, как старичок смотрит на меня и улыбается. Кивает головой и теперь все поворачиваются (сказать «подходят» нельзя, потому что в маленькой церковке стоим плотно, как на Пасху) к стасидии, возле которой стою я, а старичок показывает чуть выше, там портрет — и я узнаю старца Паисия...

А старичок, улыбаясь, всё говорил и говорил... Мне вдруг напомнило это музей, а я не люблю музеи. Нет, ничего против них я не имею, более того, они нужны и важны, но мне почему-то кажется, что вещь, которой перестали пользоваться по назначению, умирает как сама вещь. Это, например, уже не ручка писателя, а мёртвая ручка, или не веретено позапрошлого века, а мёртвое веретено. Вещи сами по себе немного значат, если ими перестают пользоваться. Мне, например, книги всегда больше помогают увидеть прошлое. Для Слова времени не существует. Но это только хорошие книги. Вот, например, я беру книгу старца Паисия, читаю и ясно вижу солнечный день, стоит миром побиваемый человек, а Паисий, сидя на низенькой лавочке у крыльца, говорит, и одной рукой как бы ласкает человека, а другой перебирает чётки...

Как бы помолиться здесь! Канон Паисию прочитайте! Прости, святой отче. Ты за весь мир молишься. И сейчас молишься, а мы вот не можем...

Нет, этой молодёжной экскурсии не будет конца. В общем-то, чего я злюсь, радоваться надо — с каким вниманием эти разношёрстные молодые люди слушали и с каким почтением задавали вопросы! О, как бы мне хотелось, чтобы наши русские ребята так же приходили на Валаам, в Оптину пустынь, Дивеево, Санаксары... Да сколько в России намоленных мест! Как бы спасительно для всех нас это было... Господи, это мы не смогли привести их... Мы и сами-то ещё не знаем, куда бредём. Ты не оставь! Ты знаешь — как!

Кутлумуш! Там скоро молебен! Я показал доброму старичку на часы, тот закивал головой, что-то доброе сказал про Русию (молодёжь, между прочим, смотрела на нас в это время с нескрываемым уважением) и благословил. Мы протиснулись по церковке, приложились к иконам на царских вратах и стенах и вышли.

Ещё некоторое время, пока не перешли мостик, чувство нереальности происшедшего не

оставляло меня. Я только что был вне времени. Я только что был у старца Паисия. Не почившего, а живого [54]. Я ощущал это, хотя бы потому, как мне захотелось там, в маленькой церковке, молиться.

Мы шли молча, переживая происшедшее, боясь словами нарушить и спугнуть чувство, наполнившее нас.

Неожиданно перед нами раскрылся совершенно русский деревенский пейзаж: большая поляна, посреди которой стоял стог сена чуть повыше нашего роста, а рядом две копёшки поменьше, посреди поляны тянулась ограда из двух корявых жердин, кое-где подломившаяся и непонятно что ограждавшая. По поляне то там, то сям сквозь зелень травы проглядывали беленькие и жёлтые цветочки.

После того, как пришло ощущение, что времени нет, показалось, что и пространство перестало существовать, — ей-Богу, это была типичная околица русской деревни.

Впрочем, поднимавшаяся слева от нас гора окончательно забыться не давала. Но на неё можно было и не смотреть.

Я привалился к стожку и от удовольствия, даже не от удовольствия, а от окружающего покоя закрыл глаза... благодать. Алексей Иванович, примостившись к околице, мечтательно вздохнул:

— Хорошо, что вино с собой не взяли. Напились бы сейчас... Испортили всё...

— Хорошо, что Яну послушались.

— Ха, послушались, мы ж её ещё уговаривать начали, может, поменьше посудину-то... Это Господь удержал.

— Эт-то точно, — согласился я и спросил: — Лёш, почему мы пить не умеем? Неужели прямо во мне сидит настоящий бес? Ведь вот не пьём же — хорошо.

— Значит, сидит.

— Я уже год не пью... — несколько обиделся я, что во мне сидит бес, а в нём как бы нет.

— Видел я, как ты у Яны не пил-то...

— А всё равно хорошо бы сейчас стаканчик сухонького... Благодать на благодать... — Но тут же одёрнул себя: — И напились бы... Эт-то точно. Я ведь и впрямь считаю, что Господь, лишив меня поджелудочной, спас. Потянуло дымком Отечества. Так прошло минут пять.

— Неужели так трудно бросить курить?

— Началось...

— Да нет, просто обидно: столько благодати вокруг и тут ты, как паровоз, ну, почему бы не потерпеть?

— А чего бы тебе не потерпеть? Сказано: носите немощи друг друга [55]. Вот ты немощь друга и неси.

- Мне-то что, мне за тебя досадно: табак твой — как пятно на белой одежде.
- Я, между прочим, дома по две пачки в день выкуриваю, а здесь только вторую начал.
- Эка подвиг!
- Для меня подвиг.
- Тоже мне, подвижник.
- Ты чего взъелся?!
- Да кури, кури своим бесам...

Какое-то время молчали.

- Идти надо, — снова первым начал я.
- А куда?
- А кто его знает.
- Нет, серьёзно. Мы ведь, когда шли, эту полянку не проходили.

Я огляделся. И в самом деле: как мы сюда попали?

- Пора начинать молиться.
- Тогда ты иди первый, а то я покурю...

Я покосился на Алексея Ивановича: язвит или серьёзно? Но идти-то, в самом деле, надо, я поднялся, и вдруг у меня закружилась голова. Я быстро присел обратно и уже почувствовал, как побежали иголки по телу, вот они добрались до кончиков пальцев и там остановились, холодно пощипывая.

- Слушай, — отчего-то шёпотом произнёс я, — мне, кажись, того...
- Чего — того?
- Плохо мне.
- В каком смысле?
- Сахар. Мы тут пока ходили... я не рассчитал... вернее, забыл... короче, мне надо срочно что-нибудь съесть... У тебя шоколадки были.
- Так они в рюкзаке.
- И мои в рюкзаке.
- Что делать? Слушай, давай ты полежи здесь, а я сбегаю принесу.

Перспектива остаться одному испугала меня ещё больше, чем приступ гипогликемии<sup>[56]</sup>. Но благородство и решительность я оценил.

— Идти надо, — сказал я. — Давай только вместе «Богородицу» петь будем.

И мы запели, а минут через десять вышли на большую асфальтовую дорогу, а ещё через пять были в своей келье в Кутлумуше.

## 6

Я сразу съел кусочек шоколадки, Алексей Иванович хотел было заварить кофе, но не нашли розетку, да и молебен должен был вот-вот начаться.

Послышались звуки деревянного била, и мы спустились к храму. Немного удивила пустота храма — людей было мало, и в то же время полнота его — храм был пронизан светом. Может, так поразил свет, что мы не были на службе днём?

Красный снаружи, изнутри храм отливал пепельным цветом, и этот благородный оттенок подчёркивал его древность, мудрость и вечность. Начался молебен. Я, наверное, поступил неправильно: вместо того чтобы воздавать хвалу и честь Богородице, достал записки и, благо было светло, стал поминать заповедовавших молиться о них. И так хорошо ложилось греческое чтение акафиста на мои записки, что я, если и чувствовал вину перед Богородицей, то извинительную — так хотелось, чтобы люди, близкие, дальние, совсем незнакомые, оставшиеся в России, хоть так, через меня, грешного, присутствовали здесь, на службе.

Я закончил читать, а служба ещё длилась, мерно и благодарно, и казалось, что этой мерности и благодарности не будет конца, что голоса — это часть пепельных стен, солнечных лучей, тихих ликом — всё вечность. Как хорошо и светло пребывать в этой вечности...

Неожиданно голоса остановились. На середину храма вынесли длинный, похожий на обеденный, стол, покрытый красной материей (представьте: солнечные лучи, пересекающиеся в тихом пространстве, пепельное окружение стен и красная ткань посередине). Из алтаря стали выносить ковчежцы и ставить на стол. Ко всей великолепной картине добавилось блистающее в солнечных лучах золото ковчежцев.

Появились люди. Вроде никого не видно было, а тут к столу выстроилась небольшая очередь. За монахами стояло несколько мирян. Неужели и нам можно?

Кто-то легонько подтолкнул сзади. Я оглянулся — это был Серафим. Он глазами показывал — туда, туда идите.

И вот такое же неспешное, как служба, движение к святыням. Возле каждой можно было опуститься на колени, никто не торопил, но и самому было неудобно задерживать остальных. Поклон, целование, шаг дальше...

Унесли в алтарь ковчежцы — и в храме сразу потускнело. Убрали матерью, стол...

— Пойдём, — сказал Алексей Иванович.

Господи, да неужели всё?!

## 7

В келье сразу отыскалась розетка. Кровать слегка отодвинули — и вот, пожалуйста. Мы это восприняли как добрый знак, я сходил за водой, и Алексей Иванович запустил кипятильник. Скоро по келье потёк аромат кофе. И вот уже первый горячий глоток... с кусочком

шоколадки...

За этим делом и застал нас Серафим и опять смутился. Вид у нас всё-таки был, наверное, больше туристический. Без всякого благословения распиваем ещё кофе, который мы, конечно, тут же монаху и предложили, отчего тот смутился ещё больше и отказался. Впрочем, наш восторженный рассказ о походе к каливе Паисия, видимо, показал, что мы не так уж и безнадежны, и он повернул к нам лицом то, что держал в руках (мы, занятые кофе и собственными впечатлениями, не обратили внимания, что он что-то принёс). Это были чудесные иконы Божией Матери. Серафим пояснил, что он их только что закончил.

Теперь мы растерялись, не зная, куда пристроить щедрый подарок: на столик с недопитыми чашками кофе — не хотелось, и каждый положил икону у изголовья кровати.

А ещё Серафим дал нам чётки. Небольшие, чёрные и, что мне особенно понравилось, не с деревянными или каменными зёрнышками, а матерчатыми, совершенно бесшумными узелками.

Конечно, это интеллигенты придумали: жить надо так, чтобы не мешать окружающим (вместо того, чтобы поступать с другими так, как хотелось, чтобы поступали с тобой<sup>[57]</sup>), и я так хотел бы не раздражать окружающих чётками... именно о таких — тихих — мне и мечталось.

Сам я не мог позволить себе купить чётки (хотя их сейчас можно купить почти в любом храме), для меня это равносильно, как если бы я купил на базаре орден Красной Звезды. Чётки надо заслужить... Неужели — аксиос<sup>[58]</sup>?!

А монах уже отступал к двери, объясняя Алексею Ивановичу что-то на установившемся меж ними бумажно-речевом языке.

— Подарок! — вспомнил Алексей Иванович и бросился к рюкзаку. Он так хорошо упаковался, что рюкзак пришлось выпотрошить почти весь. Достав книгу (это был большой альбом по иконописи), он протянул её монаху: — Вот. Это вам отец Геннадий просил передать.

Монах принял альбом и некоторое время любовался им, словно ему дали его только подержать.

— Вам, вам, — подтолкнул альбом Алексей Иванович.

Монах, видимо, не верил. Алексей Иванович схватил бумажку, черкнул что-то и положил поверх альбома.

Монах ещё некоторое время держал подарок на вытянутых руках, потом прижал его к себе и поклонился.

Неловко стало за этот поклон, хотя монах, может, и не нам кланялся, а далёкой России, и Алексей Иванович засуетился:

— Пакет под альбом надо, что тут у нас, ах, да — вот же! — и он протянул монаху пакет, где у него лежали пузырьки с настойкой боярышника.

Монах крепче прижал к себе альбом и покачал головой.

— Это лекарство, лекарство, — Алексей Иванович достал пузырёк, настойчиво тряс им перед монахом. — Надо по чуть-чуть, по капелькам....

— Я-то сам не пью, — обрёл вдруг дар речи потрясённый монах, но, поняв по лицу, что тот пытается подарить что-то особо ценное, возможно, даже более ценное, чем альбом, утешил дарителя: — Спасибо, будет что архиерею подарить.

«Мама дорогая», — обмер я, представив себе архиерея, отвинчивающего крышечку с настойки боярышника.

Монах заторопился, видимо, опасаясь, как бы ещё чем-нибудь не загрузили.

— Давай быстро допивай кофе, — сказал Алексей Иванович, когда дверь за Серафимом закрылась, — он приглашает нас в комнату для свиданий, — и, смутившись неудачной терминологией, поправился: — В смысле, для бесед.

Быстро пить кофе, даже если он подостывший, — глумление над продуктом. А это не по православному. Примерно так я пытался объяснить Алексею Ивановичу, и тут за дверью послышалось:

— Молитвами святых отец наших...

— Войдите! — поспешил ответить Алексей Иванович.

Вошёл Серафим, я допил кофе и стал помогать Алексею Ивановичу укладывать рюкзак. Без книг теперь никак не получалось — всё оставались какие-то пустоты.

— Какая большая книга, — указал на лежащую на кровати книгу «Евлогите» Серафим.

— Это наш путеводитель, — объяснил Алексей Иванович и протянул монаху. Достал он её, кстати, первый раз с тех пор, как в архондарике Андреевского скита пытался выучить греческий.

Серафим полистал книгу.

— Какие интересные гравюры, — задержал ещё в руках и вернул обратно. — Пойдёмте.

Он повёл по террасе в другой конец братского корпуса, распахнул одну из дверей, и мы оказались в большой зале, как раз, видимо, предназначенной для бесед: стояло несколько беленьких аккуратных овальных столиков, вокруг них такие же беленькие изящные стулья. Нельзя сказать, что комната утопала в коврах, их было немного, но их неожиданная пестрота придавала комнате мягкость и уют. Всё располагало к тихой и мирной беседе. Единственное, что смущало, — кроме нас в комнате никого не было. Получалось, что остальные монахи либо молятся по кельям, либо несут послушание, либо отдыхают. И только мы нарушаем ритм, да ещё и Серафима втягиваем.

Я деятельного участия в беседе не принимал. Алексей Иванович сначала писал в блокноте, потом громко и по складам повторял написанное вслух, причём, скорее всего, для себя, потому что тут же что-то зачёркивал, переправлял и протягивал блокнот монаху. Серафим никогда не отвечал сразу. Говорил тихо, словно пробовал каждое слово на вкус, и смотрел на того, кому говорил, — понимают ли его? Сначала Алексей Иванович передал поклоны от духовного отца, рассказал об известных городских храмах. Выяснилось, что они с Серафимом ходили в один храм и, более того, жили на соседних улицах. Беседа пошла оживлённее. Хотя показалось, что монах немного испугался. Алексей Иванович вдохновенно переписывал в свой блокнотик последние городские новости, и когда переворачивал очередной листок, монах попросил: а нельзя ли ему написать небольшое письмецо, там остались у него сестра с тёткой, от которых

давно уже не было писем, а Алексей Иванович передал бы? Алексей Иванович аж подпрыгнул от радости — наконец-то нашлось, чем он может послужить Серафиму и хоть как-то отблагодарить. А когда Серафим написал адрес, Алексей Иванович и вовсе зашёлся от счастья:

— Так это ж на соседней улице, — и не зная, какую ещё услугу оказать, воскликнул: — А давайте им позвоним, — и на всякий случай посмотрел на меня.

А надо было смотреть на монаха — тот испугался ещё больше.

— Запросто, — тоже из самых лучших побуждений ответил я и достал телефон.

И никому из нас двоих даже в голову не пришла тогда мысль, что такое отказаться от мира, начать жить другой жизнью, оставив связь с прошлым только на уровне пасхальных и рождественских открыток, и вдруг тебе протягивают трубку, а ты слышишь знакомый голос... Ну, как слышал бы Серафим, не знаю, но ведь говорить надо что-то будет.

Но разве мы думаем о других, особенно, когда самим кажется, что делаем что-то необозримо доброе и нужное.

Серафим видел, как нам хочется сделать ему приятное, и стал медленно выуживать из глубин памяти, казалось, истлевшие цифры. Алексей Иванович приставил код города, я — код страны — и понеслась.

Для начала сорвалось. Когда не получилось ещё раз, я мельком глянул на напряжённое лицо монаха и подумал, что лучше бы ничего у нас не получилось. Алексей Иванович тоже почувал неладное, но мрачновато попросил:

— Попробуй ещё.

Я уже знал, что не получится, но для очистки совести набрал номер в третий раз. Сорвалось. Не то чтобы не брали трубку или было занято, а именно — сорвалось.

И все с облегчением вздохнули — беседа сама собой свернула с домашней темы.

Конечно, нам хотелось (да и полезно было бы) услышать какое-нибудь духовное наставление. Но мне почему-то кажется, прямым вопросом: мол, как нам жить дальше, только смутили бы скромного Серафима. Ну, может быть, сказал что-то, например: «Любите друг друга»<sup>[59]</sup> или «Последние времена, дети!»<sup>[60]</sup>. Я вообще обратил внимание, что когда паломники начинают рассказывать о том, как попали к какому-то старцу и, припав к нему, спросили: «Батюшка, скажите, что нам делать?», — то выясняется, что ответ всегда не противоречит Евангелию. А что в таких случаях мы хотим услышать? Что-нибудь иное?

Да и что я такого могу спросить? Вот в миру — да, там у нас море вопросов: идти ли на выборы, принимать ли ИНН, как быть с ребёнком-наркоманом, можно ли сделать аборт, если отец неправославный... А тут... Так никчёмны тут наши мирские вопросы...

Алексей Иванович спросил:

— Можно ли причаститься?

— Да, сегодня среда, на трапезе всё постное, только после вечерни надо будет прочитать правило к причащению.



— А исповедь?

И монах Серафим поведал нам интересные вещи.

## 8

В Греции, оказывается, приходят на глубокую исповедь к священнику, как это принято у нас, четыре-пять раз в год <sup>[61]</sup> (не об этом ли говорили Серафим Саровский и Феофан Затворник?), а в остальное время, если человек соблюдает многодневные посты, постится в среду и пятницу и достойно подготовился, то может приступить к причастию, покаявшись на общей исповеди, которая бывает перед Литургией (не так ли исповедовал Иоанн Кронштадский?).

Надо сказать, что мне очень понравился этот порядок. Я далёк от богословских споров на тему причастия, да и прав никаких на это не имею, могу только опытом поделиться.

Когда я только начал воцерковляться, то причащался в конце многодневных постов и на день ангела. Сейчас мне кажется, что это пожелание Серафима Саровского относилось к всё более уходящему от Бога миру, то есть определяло минимум христианина. А у нас ведь многие вздохнули с облегчением: вот, мол, Серафим Саровский сказал, четыре-пять раз в год, стало быть, и довольно. Но он-то по немощи нашей сказал.

Помню, когда я первый раз держал Великий пост, священник на проповеди в Вербное воскресенье сказал, что все мы, прихожане, должны хорошо подготовиться к причастию в Великий четверг. Я и готовился. И, слава Богу, причастился. И всё было изумительно. Для новоначального первые причащения — чудо. (Сейчас-то я понимаю, что каждый раз, когда Господь допускает до причастия, — это чудо, потому что, если по справедливости, то по делам нашим не только до причастия, но и в храм-то Божий таким, как я, входить грех.) В субботу на утренней Литургии, когда священник объявил распорядок на Пасхальное богослужение и я услышал, что будет исповедь, то после службы подошёл и спросил: а можно ли мне причаститься и на Пасху? «Так ты же только что причащался», — полуспросил, полуответил батюшка. И я так понял, что не стоит. Тут ведь как: может, мне надо было просить, а может, мне как новоначальному не следовало торопиться успеть везде и сразу. Бог вещь. Но какое же щемящее чувство подступило после полунощной радости, после дружных и мощных ответов «Воистину воскресе!», когда с десяток человек встали к вынесенной чаше, а я остался в стороне. Как я им завидовал! Грешным делом, мелькнула мысль: зря в четверг причащался, лучше бы сегодня. Ни в коем случае не могу сказать, что праздник был испорчен, но что-то примешалось к радости, добавилась досада на самого себя: вот, опять сделал что-то не так. А что именно не так, я понять не мог. В общем, бочку мёда это не испортило, но ложка дёгтя была.

В следующий Великий пост я снова причащался на Великий четверг и снова был в великой радости, и радости было столько, что её никак нельзя было держать в себе. Мне со всеми хотелось делиться. Радость в одиночку — это ущербная радость. Это даже не радость, а самый настоящий эгоизм. Я тогда даже подумал, что Господь-то и создал человека, чтобы было с кем поделиться радостью о красоте бытия. В общем, я уговорил одних знакомых поговорить хотя бы последние три дня и причаститься на саму Пасху. Я их всячески поддерживал эти дни, а в субботу взялся и каноны с ними читать. Перед службой они исповедовались, а мне что-то опять взгрустнулось. Такая лёгкая грусть о несбыточном. Началась служба, и радость Воскресения заслонила всё. Подошла к концу Литургия, я протолкнул знакомых поближе к соле <sup>[62]</sup>, и сам невдалеке стою. Начали читать молитвы ко Святому причащению. И тут выходит к распятию батюшка с крестом и Евангелием, ему аналойчик поставили и, смотрю, несколько человек

собираются исповедоваться, и, судя по одежке, не простой народ, видимо, не успели перед службой. И тут такая дерзость на меня нашла, и, опять же, так захотелось причастия, что я, пробравшись к батюшке, постарался изложить своё состояние, в общем-то, каясь в том, что завидую чужой радости, и упомянув, что в четверг уже причащался.

— А каноны читал?

— Читал, читал.

И батюшка меня разрешил.

Господи, тогда мне казалось, что то, что происходит со мной, это и есть высшее счастье! Может, так оно и было.

А следующим постом я причащался уже каждую неделю.

Не знаю, как правильно, по-богословски, но если цель человека — соединение с Богом, то здесь, на земле, есть ли ещё большее единение, когда мы принимаем в себя Тело и Кровь Христовы?

Может, и есть... Но мне это не дано. И я должен быть готов достойно принять Тело Христово — всегда!

Но возможно ли это?

Я — грешный человек. Подходя к Чаше, я всякий раз осознаю своё недостойнство. И с каждым годом, чем сильнее стремишься к Чаше, жаждешь Причастия, тем больше это недостойнство ощущается. Потому что всё яснее начинаю понимать, как благ и долготерпелив Господь, и что я и малой доли не оправдываю того, что Он даёт мне. Но Он и хананеянку помиловал <sup>[63]</sup>, и расслабленному сказал: «Встань, возьми постель твою и иди» <sup>[64]</sup>, и разбойнику рая двери отверз <sup>[65]</sup> — и не мне уже решать, моё дело идти, а Бог видит, и если уж нельзя допустить, то Он и не попустит.

Бывали случаи, когда, казалось, по всем правилам можно было меня допустить к Причастию, но священник останавливал. Бывало, когда я сам, исповедуясь, признавал: не готов.

Но надо идти, сознание собственного недостойнства не должно смущать, оно должно усиливать стремление ко Христу, ибо только Он способен восстановить всего человека.

И теперь я стараюсь причащаться как можно чаще.

Расскажу ещё один, может быть, спорный, с точки зрения церковной практики, момент.

Первое время я очень ревностно следил за соблюдением перед причастием трёхдневного поста. Но с какого-то времени стал чувствовать, что это не главное, более того, строго следя за надписями на упаковках, я как раз главное и терял.

И вот как-то в субботу пришлось выступать в одном районном центре. После хозяева со всей русской радушностью и хлебосольством раскатали стол. Я понимал, что всё это изобилие не такой уж и богатой ныне деревни было припасено, может, даже оторвано от себя именно ради приезда гостя. И мне показалось, что если сейчас откажусь, то сильно обижу людей.

Дав себе слово есть умеренно, я приступил к трапезе. Покажите мне человека, которому удалось есть умеренно за деревенским праздничным столом. Ну, если только у него была операция на поджелудочной. А у меня тогда не было.

В воскресенье я всё как есть рассказал на исповеди.

— Причащайся, — благословил батюшка.

— А как же вот я накануне-то оскоромился.

— Покажите мне хоть один канон, где сказано, что накануне перед Причастием ничего скоромного вкушать нельзя!

Я, разумеется, ничего такого показать не мог. Я вообще рот открыл от таких откровений.

— Священник Дары потребляет без всякого рассуждения о пище накануне, а он такой же человек. Причащайся и нисколько не сомневайся. Благослови Тебя Бог!

Вот — есть же у нас батюшки!

А потом подумал: первые христиане — они же каждый день причащались, не может быть, чтобы они мяса не ели. Да, конечно, мир тогда дышал Христом, мы же сейчас настолько ушли за прогрессом, что организм нуждается хотя бы в небольшой очистке, нам нужно хотя бы три дня походить с мыслью, что я не ем ничего животного, отказываюсь от плоти, уничижаю её, чтобы принять Христа.

Конечно, я не за то, чтобы не говеть перед причастием. Это очень нужно, в первую очередь, самому человеку. Я о том только, что еда — не главное. Всё то — средства, помогающие, но не исцеляющие. Исцеляет один Бог. А ему нужно наше сердце.

С тех пор я перестал ревностно рассуждать о том, например, кладут яйца в муку на хлебозаводе или нет, потом я вообще перестал придавать пище значение и почувствовал, насколько вообще стало легче жить — я стал равнодушен к еде.

Интересно, так же было у меня с вычиткой трёх канонов и последования. Опять же рассказываю не в качестве примера для подражания, а чтобы показать: у каждого свой путь. И благодарю Господа за всех, кто помогал идти.

Поначалу вычитывание канонов было для меня одним из тяжелейших моментов подготовки к причастию. Мало того, что я многое не понимал, было тяжело стоять почти по стойке «смирно» полтора часа. Я, кстати, тогда понял слово «расхлябанность». Тот человек, у которого внутри стержня нет, вот он и болтается, у него каждый член сам по себе пляшет. То у него нога трясётся, то за ухом чешется, то руки непонятно куда лезут. Мне самому было неприятно, когда я увидел себя таким со стороны. Встал как-то в церкви паренёк передо мной и давай чуть ли не плясать — всю службу я только на него и смотрел, только на него и досадовал. А потом дошло: Господь его тут не просто так передо мной поставил, а чтобы я сам себя увидел. Между прочим, такое состояние человека и есть предвестник дьявольского мироустройства — хаоса. А путь к хаосу — наша расхлябанность. Когда дошло, что стояние на канонах это есть та же борьба с хаосом во мне самом, стало полегче, но лукавый умишко всё равно выискивал, как бы правило подсократить. Стал читать совмещённые каноны.

Перед каким-то большим праздником пожаловался батюшке, что вот, мол, срочная работа, а сейчас дома каноны с последованием вычитывать, да потом уж и никакой работой заняться не

сможешь.

— А чего сегодня читать-то: только покаянный канон Христу и Последование.

— Как так? — изумился я.

— А перед большими праздниками только покаянный читается и праздничный, а его мы за службой прочитали.

Господи, сейчас стыдно вспоминать, чему я радовался — сократил время на богообщение! Для меня же тогда соблюдение правил было важнее, чем молитва.

Когда я первый раз оказался в трёхдневном крестном ходе, меня смутило, что после первого дня почти все причащались. Батюшка, возглавлявший крестный ход, все сомнения развеял:

— У нас как на войне — один день за три.

«Логично», — подумал я и тут же задал следующий вопрос.

— Тогда можно ли приравнять сегодняшний день к большому празднику?

— Конечно.

— Тогда, стало быть, можно и покаянным каноном ограничиться?

Батюшка понял, куда я клоню, и вздохнул:

— Тебе можно.

За час до прихода на место ночёвки я взялся читать правило: с одной стороны, молитва в любом случае лучше разговоров, которые обычно случаются в первый день, во-вторых, на сон больше времени останется. Читал я вслух и вокруг меня тут же собрался народ. Прочитал я покаянный канон и перехожу к Последованию. Одна старушка попыталась напомнить, что-де ещё Богородице и Ангелу-хранителю читать надо, но я ей популярно растолковал, как и что, праздник, мол, большой у нас, а по большим праздникам радоваться надо. В общем, наставил старушку и продолжил чтение. Рассчитал я точно, как закончил чтение, показалось село. Окружающие поблагодарили и я с чувством выполненного долга убрал молитвослов в рюкзак.

На следующий день подходит ко мне одна женщина и так тихонечко, чтобы никто не слышал, говорит:

— Нас-то батюшка вчера отругал... Это, говорит, я ему, то есть вам, разрешил один канон читать, а вас кто благословлял? Так-то... — и отошла.

Вот где мне стыдно стало. До такой степени, что хоть разворачивайся и обратно возвращайся, чтобы заново крестный ход начать.

Тот случай показал, какой я немогущий и маленький, младенец, можно сказать, раз мне такие послабления делаются. А позже я понял, насколько мудр был батюшка, не торопивший меня, он видел, что молитва моя больше внешняя, вот и ждал, пока созрею.

Сколько чудесных батюшек даровал нам Господь, какая это радость — общение с ними!

Иногда приходится слышать: вот тот — такой, а этот сякой, эти, мол, творят то, а те — другое.

Я всякий раз тушуюсь, мне не хочется говорить с таким человеком. Но именно эти люди всегда начинают требовать ответа. Ну да, начинаю лепетать, может, и бывает там где-то... кое-где... у нас порой... В лучшем случае заканчивается такой разговор признанием, что в семье, мол, не без уroda... Супротивник гордо замолкает, я проглатываю пилюлю, лишь бы быстрее закрыть тему, и понимаю, что молчанием предаётся Бог. Конечно, надо отвечать, ибо я перевидал многих батюшек — и всяких, и разных, и таких, и сяких, — но ни одного урода не встретил.

Алексей Иванович продолжал беседовать с Серафимом. Тот рассказал, что на сам Афон подниматься сейчас не следует, нужно, чтобы световой день был подлиннее, да и холодно там сейчас ночью (а ночевать пришлось бы на Горе), но съездить в Великую лавру, которая находится у подножия Горы и с которой, собственно, и начинался Афон как монашеская республика, советовал. Алексей Иванович достал карту и попросил указать, где находится Ксилургу. Оказалось, что это в другой стороне от Лавры — Серафим обвёл пространство меж трёх дорог: где-то здесь. Ещё он рассказал про недавний пожар в сербском Хиландаре<sup>[66]</sup> и отсоветовал туда идти ввиду нынешней стеснённости братии.

— А как носить чётки? — спросил я.

Неслышащий Серафим внимательно посмотрел на меня, а Алексей Иванович продублировал вопрос в блокнотике. Серафим улыбнулся.

— Очень просто. Надевай на руку и носи.

— На правую или на левую?

— Всё равно, где удобнее. Они всегда с тобой будут и будут напоминать. Дай руку, — и он надел мне на запястье чётки. Потом так же легко снял. — Можешь снять, перебирать, потом опять наденешь, — и снова надел.

Мы посидели ещё немного, потом Серафим провёл нас по монастырю и оставил у трапезной для мирян и рабочих, располагавшейся на первом этаже братского корпуса.

Трапеза мало чем отличалась от трапезы в Андреевском скиту, разве что посуда побогаче, а стол поскромнее, это и понятно — день-то постный. Но это ничуть не сказалось на ощущении полной меры — мы вышли сытые и благодарные, а вернувшись в келью, довольные, растянулись на кроватях.

— Ты обратил внимание, — произнёс Алексей Иванович, — как вырисовывается маршрут?

— Да. Завтра — в Лавру. А там Господь дальше направит.

Какая благодать быть под водительством Божиим и не лезть со своими поправками! И за что нам столько счастья?!

— А как мы туда доберёмся? — спросил Алексей Иванович.

— Завтра, — ответил я. — Это всё будет завтра...

Говорить не хотелось, мы так и молчали, пока со двора не послышался бодрый стук деревянной колотушки — пора на вечерню.

В сумраке наполнялся притвор древнего Кутлумушского храма тенями мира. От тела — только слабая тень, всё остальное — Богу. Мы встали перед закрытым занавесом главным входом. Началась служба — вход в храм ещё надо заслужить.

Но вот открывается занавес и мы проходим внутрь — здесь всё по-другому, словно мы вошли в древние первохристианские катакомбы, высеченные в пещере. Всё низко, близко и холодновато. Холодновоато именно физически, будто мы и впрямь спустились в подземелье.

Но пошёл по храму монах с кадильницей, и весёлый звон её, словно малая Пасха, приободрил. Монахов немного, я выбрал стасидию за колонной, но так, чтобы видны были царские врата.

Как описать афонскую службу... Алексей Иванович на следующее утро скажет: «Я влюбился в греческую службу». А я даже не знаю, как описать это. Может, слова, сказанные русскими старейшинами, посланными для испытания веры князю Владимиру, и есть самые точные: «Не знали мы, где находимся, на земле или на небе».

В общем-то для человека молящегося нет никакой разницы. Всё идёт своим чередом, всё узнаваемо, ничто не нарушается. Но я-то... любопытствующий. Подумал, что в наших храмах служат более радостно, что ли, у нас больше чисто человеческой детской радости, словно благовествуем всему миру: Христос Воскрес! Мы радуемся и спешим поделиться радостью с окружающим миром. Мы, как дети, всякий раз непосредственно открываем для себя чудо Воскресения на каждой Литургии и спешим рассказать об этом всем. Наша служба, по большей части, миссионерская, а на Афоне служат Богу. И протяжное одиночное пение только подчёркивает отрешённость от мира. Хор отзывается, как эхо с далёкой земли.

Зазвучали псалмы. Я опёрся на подлокотники стасидии. Скользнули по руке чётки, я взял их в руки и стал вспоминать заповеданные списки, всё получилось так естественно и само собой, что я даже не обратил внимания, как это произошло, словно занимался привычным делом.

А Алексей Иванович стоял. Я попытался поделиться новым опытом, как хорошо в стасидии перебирать чётки, но Алексей Иванович был твёрд: «Я буду стоять». А я, значит, сидеть, что ли? Потом подумал: настоюсь ещё, да и не сидел я, а только облакачивался, и так хорошо перебирались под псалмы чётки, зёрнышки словно сами текли.

И служба текла — снова истончилось время. Происходили движения в храме, с одного клироса на другой метался псаломщик, выносили свечу, обходили храм, кадили, выносили Евангелие — но всё происходило вне времени. Единственно, пожалуй, что зацепило внимание, это Серафим, несший свечу во время каждения. «Простому монаху не поручили бы такое почётное дело», — мелькнуло в голове и вспомнилось, как заботливо он обращался с нами и как смутился, когда мы предложили позвонить ему домой. Но свечу пронесли, и забылось, потому что воспоминание существовало во времени, а сейчас его не было — всё было настоящее: и эти стены, построенные тысячу лет назад, и проплывающая свеча, и запах ладана, и причастие, к которому шёл.

— Ты как? — нагнулся ко мне Алексей Иванович, видимо, обративший внимание, что я частенько пользуюсь стасидией, и подумавший, что у меня опять нелады со здоровьем.

— Нормально.

— А я вот что-то подмёрз, — поёжился Алексей Иванович. — Куртку надо было надевать, — и распрямился.

В самом деле, комнатной температуру в храме вряд ли назовёшь, но я как-то не обращал на это

внимания. Я-то, в отличие от Алексея Ивановича, в куртке. К тому же, закалённый, каждый день принимаю холодный душ.

Только я подумал об этом, как почувствовал, что начинаю дрожать. Сначала дрожало только внутри, в районе желудка, и я невольно, продолжая перебирать чётки, стал отвлекаться на это дрожание, а оно маленькими червячками поползло по телу. Я встал и попробовал потихонечку сжимать кулаки и крутить ступнями. А как же Алексей Иванович-то без куртки? Покосился в его сторону — стоит!

Сколько же идёт служба? Глянул на часы — ба! — четыре часа! Холод теперь охватил меня всего, всё было ледяным, самые древние стены, казалось, покрылись инеем.

А служба продолжала свой веками устоявшийся ход. Никакой холод не касался её или, может, никто больше вокруг не чувствует холода? Господи, дай мне силы дотянуть до конца! Никакой, Господи, я не закалённый, и без шапки я зимой хожу ради выпендрёжу, и в проруби я купался на спор, то есть гордыни ради...

И тут рядом оказался Серафим. Он слегка нагнулся и шепнул:

— Сейчас будет исповедь, — и чуть подтолкнул меня вперёд.

Что будет, если толкнуть замёрзшую статую? Правильно — и, скорее всего, вдребезги. Но Серафим лишь чуть коснулся меня, словно и в самом деле боялся за мою целостность. И я шагнул вперёд, почти как в больнице, когда учился заново ходить на одеревенелых ногах. Там меня жена поддерживала. А тут — Серафим. Ещё несколько шажков — и вот я почти на середине храма, куда вышли ещё с десятков мирян. Священник стал читать, и на слове «метано»<sup>[67]</sup> все опустились на колени. И я — тоже. И так несколько раз. На третий раз я уже вместе со всеми повторял «метано». Так и согрелся.

И сразу был отпуст. Конечно, выходя из храма, мы старались соблюдать степенность и благочиние, и что у нас никаких мыслей нет о тёплых одеялах в келье, но, когда мы поднялись на террасу нашего этажа, то поскакали почти вприпрыжку — и тут дорогу преградил монах с удивлённым лицом. На этот раз лицо удивлялось неодобрительно: как же так можно вести себя в монастыре? Ну, виноваты, простите, сигноми<sup>[68]</sup>. Но куда он нас зовёт? Монах подвёл нас к не приметной двери и, перегнувшись в комнатку, вынул и всунул нам каждому по два одеяла.

Возможно, многие мне возразят, что никакое это не чудо, но для меня, сорок лет прожившего в миру, такая забота о человеке, о ближнем и есть настоящее чудо!

Мы влетели в нашу келью, и Алексей Иванович безапелляционно произнёс:

— А каноны мы вчера в Андреевском читали.

Я кивнул.

Не скажу, что мы торопились, но последование прочитали быстро и юркнули под гору одеял. Алексей Иванович предпочёл не разоблачаться вовсе. На сон нам выходило почти четыре часа. И слава Богу.

# День четвертый

## 1

Я снова я проснулся отдохнувшим и бодрым.

Алексей Иванович тоже поднялся споро, и когда мы дочитывали утреннее правило, слышался стук била, собирающий братию на службу.

Выбираться на улицу было немного страшновато, но оказалось, не так уж и холодно. А в храме показалось и теплее, и светлее, и поют звонко. В самом деле — начинало светать, а Литургия здесь стремительна, это единый порыв, устремлённый в небо.

У правого плеча оказался Серафим и тихонько напомнил:

— После причастия возьмёте плат и губы вытрите сами.

Я кивнул, хотя толком не понял — надо смотреть, как будут делать другие. Оказалось, что после принятия Христовых Тайн сам берёшь край плата у дьякона и вытираешь губы. Но не об этом хотелось думать. Думать вообще не хотелось. Господи, как научиться не отвлекаться на то, что не Твоё?! Ведь я иду причащаться в старейшем афонском монастыре — а что если сейчас священник возьмёт и развернёт меня? Меня прошибло холодом пострашнее ночного, тот был внешний, физический, а этот свой, нутряной. Разве я достоин? С последованием немножко слукавили, вчера чуть с Алексеем Ивановичем не поругались, и ведём себя вообще, как туристы... Алексей Иванович, разумеется, пристроился за мной, прикрылся... Да что же это я, Господи, всё, как ворчливая баба — Господи, как полюбить всех?! Хотя бы тех, кого люблю. Хоть лучик любви, который разогнал бы всю эту смуту в голове! И я увидел глаза Серафима. Он спокойно стоял со свечой чуть в стороне. И я перестал думать.

В память пришёл, когда меня подтолкнули к подходившим к чаше со святой водой. Я взял кусочек просфоры и запил её.

— С принятием Святых Тайн, — услышал я тихий голос.

Это был Серафим.

После службы все собирались на площадке перед вторым храмом, который оказался трапезной. Солнце ещё не поднялось над стенами монастыря, но для меня всё было залито светом и теплом. Я не мог не то чтобы поверить, что причастился, а никак не мог понять, как Господь допустил меня. Никогда не уразуметь меры Его любви. Ничего не хотелось делать — ни говорить, ни наблюдать за происходившем вокруг, только лелеять это чувство благодарности за великую милость.

Куда простирается долготерпение Божие? Я вспомнил разговор с одним умным человеком, который убеждённо доказывал, что конец света должен был наступить уже неоднократно, а последний раз явно надвинулся в начале двадцатого века.

— Смотри, — говорил он, — все признаки налицо. Началось с угасания веры и появились многие лжехристы: от Ильича до Льва Николаевича, а промеж них всякие рерихи, хлысты и прочие. Начались войны — Первая мировая, потом — Гражданская, брат пошёл на брата, а царство на царство. Затем наступили голод и болезни. И Удерживающий, то бишь Царь, был изъят. Христиан начали убивать, предавать на мучение за веру и на местах святых восстала



мерзость запустения. Вот — всё, как указано в Евангелии<sup>[69]</sup>. Никогда кончина мира не была так близко.

— Так почему не случилось?

— По милости Божией, — ответил умный человек. — Вымолили наши мученики ещё время для России, и она прошла очищение Второй мировой войной. Неслучайно же Гитлер вдруг передумал нападать на Англию и повернул на Россию. Через лютые скорби войны Россия вновь поверила в Бога, потому что люди и в окопах, и в тылу видели и чувствовали Десницу Божию и заступничество Богородицы. Россия кровью умылась, а духом воскресла.

— А перестройка тогда откуда?

— А-а, это так, — отмахнулся умный человек. — Бесы шалили. В 1988 году ждали 1000-летия Крещения Руси. Какой подъём тогда в народе был. Вот им и надо было замутить его. Отвлечь от главного, а заодно и воспользоваться поднимающейся энергией. А русский человек податлив, закричали все: колбасы хотим, пусть лежит в магазинах колбаса, пусть купить не сможем, но пусть хоть увидим. Ну, и дал Господь. Но, заметь, Он не оставил русский народ, а как только тот вразумился, что не колбасой единой жив человек, как только о Боге вспомнил, так Господь тут же и миловать начал. А уж, казалось бы, сколько можно? Но Бог — это бесконечная Любовь, которую умом познать невозможно, только сердцем, но для этого надо отдать своё сердце Богу, и Тот расширит его в бесконечность.

Господи, возьми моё сердце!

Сколько раз я готов был так воскликнуть, отходя от причастия!

Но тут же добавлял: только оставь мне то-то и то-то, ну, ещё и то, пожалуй, и вот это. И тут же понимал, что не готов я отдать всего себя. Не имею я той Любви, что заповедал Господь. Эх, не в сыновья, так хотя бы в число наёмников войти<sup>[70]</sup>. Так и наёмник какой из меня? Господь говорит, я киваю головой, да, мол, а потом иду и делаю по-своему<sup>[71]</sup>. И наёмник из меня никудышный.

Хоть рабом прими меня, Господи!

Но и для этого отсечь свою волю, свои хотения и жить хотением и волей Божией. А я этого не умею...

Господи, Господи, как трудно узнавать себя, узнавать, как жалок и ничтожен, на что же гожусь-то вообще?!

А Ты допустил до Себя, Господи... Вот такое ничтожество другом Своим вчинил со ученики Своими...

Вот и на трапезу приглашают... Если сравнивать с трапезной Пантелеимонова монастыря, то в Кутлумуше она меньше, но кажется более обжитой (может, как раз потому, что меньше). Здесь тоже были длинные деревянные столы, но народу меньше. Также всё чинно и благолепно. Зазвучал ангельский голос за трапезой, он тем более казался ангельским, что звучал на незнакомом языке. Подавался овощной суп и огромный кусок вкусной рыбы. Фрукты, зелень и стаканчик вина. В конце трапезы разнесли всем лакомую смесь из орешков, изюма и Бог весть ещё чего. Все подставляли салфетки, разносившие клали в них ложечку лакомства, и все

вкушали с неменьшим благоговением, так бывает у нас в церквах, когда на вечерне раздают освящённый хлеб, а некоторые, так же, как у нас старушки заворачивают освящённый хлеб в платочки, заворачивали подаваемое лакомство в салфетки. Ну, а мы съели. Очень вкусно, только сразу захотелось пить.

Выход из трапезной был не менее торжественен и благодатен, чем храмовая служба. Собственно, мы и находились в храме, а у монаха вся жизнь — служба.

За настоятелем пошло священство, потом — монахи, потом — работники, потом — миряне. И на выходе всем кланялись три человека и обращались к каждому, словно в чём-то были виноваты. Я подумал было, может, на покаяние поставили, как в известном рассказе, когда одного монаха, чтобы победить гордость, настоятель определил в течение нескольких лет стоять перед воротами обители и у всех испрашивать прощения. Но после выяснилось, что кланялись нам монастырские повара: простите, мол, если что не так.

Так захотелось расцеловать их.

Но нельзя нарушать порядка, и мы только чинно поклонились.

Как не хотелось уходить из Кутлумуша! Но одновременно и было желание двигаться дальше. Мы быстро собрались. У Алексея Ивановича возникла, правда, проблема с тысячестраничной книжицей «Евлогите», которую вчера так трепетно разглядывал Серафим. В опустевшем рюкзаке она теперь болталась и билась о спину кирпичом. Алексей Иванович сложил в рюкзак куртку, благо на небе, как и на душе, не было ни облачка, но теперь не влазила «Евлогите».

— А давай Серафиму её подарим, — предложил я.

— Точно! — обрадовался Алексей Иванович, но некоторое сомнение всё-таки задело: — А как же мы будем узнавать про святыни? Да и разговорник там...

— Много помог тебе разговорник... А святыни... Мне кажется, здесь всё — святыня.

— Книга вообще-то твоя, — напомнил Алексей Иванович.

— Тем более — дарим!

На террасе встретили знакомого монаха, который, казалось, теперь удивлялся, что мы покидаем монастырь.

— Да вот, пошли мы дальше, — сказал Алексей Иванович.

И монах поклонился нам. И мы ему поклонились.

После трапезы мы договорились встретиться с Серафимом на площади, куда он подошёл почти одновременно с нами. Мы уже приготовились затянуть прощальную песню и подарить «Евлогите», но Серафим опередил нас, дав пузырьки с маслицем, и пригласил в комнату для гостей. Не вчерашнюю, а другую, располагавшуюся по другую сторону арки, напротив архондарика.

Гостиничная была по-восточному яркой, со всякими маленькими пёстрыми ковриками, изящными столиками и стульчиками. За несколькими столиками сидели монахи и миряне, пили кофе, беседовали, а я подивился, как два десятка человек могут создавать такой шум, словно я в каком-то уличном кафе. Сначала снисходительно подумал: греки... А потом

сообразил, что последние дни более десятка людей встречал только в храме да трапезной и что в общем-то не так уж и громко разговаривают люди в гостиничной, это я уже воспринимаю людскую беседу как шум, как некое нарушение гармонии, которую начинала ощущать душа. И так я обрадовался. Сам не знаю, чему. Просто радостно было, что могу различать шум. И вот, вроде бы он должен мешать мне, а я не испытываю всегдашнего в таких случаях раздражения, потому что чувствую, что гармония никуда не делась, она по-прежнему во мне.

Как только сели за небольшой столик, принесли кофе, по рюмочке раки и лукун. Серафим от раки отказался. Ну, а мы — нет. Затем наконец-то стали дарить «Евлогите». И опять — радость. Когда я увидел глаза Серафима, понял, как хорошо и правильно мы решили. Господи, что может быть радостнее чувства, когда понимаешь, что поступаешь правильно. А что такое поступать правильно? Это, Господи, следовать воле Твоей. Тогда никаких сомнений, тревожений — мир и покой на сердце!

Серафим давал нам наставления: как добраться до Лавры, в Лавре мы должны найти травника Николая (о нём, кстати, упоминал и наставлявший меня в дорогу батюшка), попытался ещё раз обозначить на карте Ксилургу, получалось, что надо идти от Ватопеда, а в Ватопеде есть русский монах Владимир.

Я ещё спросил (через освоившего быстро навыки переводчика Алексея Ивановича), какое вино лучше всего привести в подарок батюшкам.

— Нама. Розовое. У нас в основном на нём служат, — сказал Серафим и стал объяснять, как не ошибиться и как выглядит этикетка, хотел даже сходить и принести, чтобы показать, — удержали: спасибо, мол, это с чётками разобраться не можем, а с вином уж как-нибудь.

И тут к нашему столику подошли ещё три монаха (как потом выяснилось, два иеромонаха и один послушник), которые тепло стали обниматься с нашим Серафимом. Видно было, что видятся не впервой и что встреча им весьма приятна. Оказалось, это монахи Троице-Сергиевой лавры, несущие там послушание в иконописной мастерской. Несколько лет там же трудился и Серафим. В общем, мы так поняли, что нам пора. Однако Серафим запротестовал — подали ещё кофе.

Потом Серафим вызвался проводить нас до автобуса и провести по Карей! Спросил друзей-иконописцев: не присоединяться ли они к нам или с дороги желают отдохнуть? Разумеется, иконописцы предпочли быть с Серафимом. Раз решили — чего тянуть — вся компания поднялась. Серафим пошёл для начала разместить вновь прибывших, а мы вышли ждать за ворота Кутлумуша.

Вслед за нами из арки вышел роскошный чёрный кот, который степенно и не обращая внимания на окружающих прошёлся в тень беседки и возлёг на одну из лавочек.

— Этот у них за архимандрита, — определил Алексей Иванович. «У них» — имелись в виду коты, которые только что крутились под ногами в изобилии, а тут куда-то попрятались.

Скоро появился Серафим, ласково взял на руки «архимандрита», и так мы их и сфотографировали. Потом вышли московские изографы и мы покинули Кутлумуш.

## 2

Встречу с профессиональными иконописцами Алексей Иванович воспринял, разумеется, как знак Божий, ибо он как раз в это время занимался историей чудотворной иконы Божией Матери, именуемой «Хлыновская», а одна из нитей исследования вела как раз в Троице-

Сергиеву лавру. У него завязался полезный разговор с одним из изографов, я шёл с послушником за Серафимом и вторым иеромонахом. Так парами мы поднимались по узким, вымощенным камнем улочкам Карей.

Интересная у нас получилась процессия: впереди монах в греческом облики — чёрный высокий клобук<sup>[72]</sup> на голове (наверное, по правилам у всех клобуки высотой одинаковые, но на Серафиме он казался боярской шапкой, причём абсолютно чёрного цвета) задавал тон его фигуре, продолжением клобука была такая же чёрная борода, от плеч фигура помалу расширялась, но всё равно это был единый чёрный столп. Стержень. Ничем не хочу обидеть наших монахов, но они отличались от Серафима (и не в лучшую сторону, и не в худшую, просто отличались), клобуки у них, по сравнению с серафимовским, казались заношенными арестантскими шапочками и цвет их, как и ряс, был, скорее, пыльный, чем тёмный, нельзя сказать, что их лица украшали бороды, так, некое русоволосое прикрытие, которое всё равно не могло утаить круглости и румяности ликов. Они были бойки, отзывчивы, говорили быстро и с обычной московской уверенностью, которая казалась сейчас далёкой, но такой приятной и милой. Ну, в общем, если Серафим предстоял таким столпом, то лавровцы были как три шишкинских беззаботных мишки. Причём мишки-то были нам как раз роднее и по-земному ближе. И мы ещё — два недоразумения с рюкзаками за плечами, хотя я и был во всём чёрном, но рядом с Серафимом моё чёрное одеяние походило на игру. В общем, составила приятная группа, мы были вместе, нам было очень хорошо, и так жаль, что через какое-то время мы неминуемо расстанемся. Но не распадёмся! По крайней мере, для меня всегда будет и Серафим, и эти добрые иконописцы из Троице-Сергиевой лавры, и наша прогулка по Карей.

А Серафим поднялся на площадку меж прижимающихся домиков и указал: смотрите. И мы увидели, замолчали и разом в едином чувстве начали креститься. Перед нами во всей красе возвышалась Гора Афон.

Величественная громадина почти правильной треугольной формы уходила в безукоризненно голубое небо. Мелькнуло в голове, что это и есть престол Божий. Но тут же постарался отогнать образ, за которым пряталось что-то языческое, но не думать о Боге и Его величии, глядя на Гору, было нельзя. Это и язычники прекрасно понимали. И понимают.

Как подняться на эту вершину? Пока только радоваться и благодарить, что дано видеть этот зримый след присутствия Божия в мире.

Когда первые минуты восторга, трепета и смятения прошли, заметил любопытную деталь: я знал, что до Горы километров двадцать, но казалось, что я чётко вижу все тропки, трещины, валуны, словно смотрел на Гору в сильный морской бинокль. И так захотелось пойти по этим тропкам...

Дальше мы шли за Серафимом в молчании, то и дело оглядываясь на Гору. А Серафим остановился возле одной из дверей, выходящих на улочку, и позвонил в колокольчик. Тут только я обратил внимание, что дом из серого камня устремлением ввысь и более нарядным фасадом напоминает, скорее, часовню.

— Это сербский скит<sup>[73]</sup>, - пояснил Серафим и позвонил ещё раз. — Здесь живёт всего один монах<sup>[74]</sup>.

Дверь отворилась, и на пороге показался улыбающийся дедушка, который обрадовался нам так, как радуются деревенские старики приехавшим навестить из города чадам.

Дедушке уже много лет, но он лёгкий, подвижный, говорливый, ряса на нём уже не воспринимается одеждой священника, а скорее неким родом домашнего халата. И вообще всё в облике единственного насельника сербского скита было таким домашним и уютным, что казалось, мы в самом деле давно знакомы.

Мы прошли небольшую горницу, где стоял деревянный стол и лавки человек на десять, заканчивалась горница красивой мозаикой и входом в небольшой, но высокий храм. Монах зажёл свечи, мы, уже зная традицию, приложились к иконам, в том числе и на царских воротах и иконостасе, потом расположились в стасидиях, а монах, словно действительно только нас и ждал, запел акафист святому Савве.

Как он пел! Негромкий, но такой душевный голос его слегка прерывался и спотыкался, но сколько любви, нежности и страдания было в нём! Вся боль и слава Сербии, её прошлое и последние испытания слышались в этом голосе. Настолько всё звучало проникновенно и близко... Это не было ещё наше бескрайнее и протяжное пение, здесь слышалось, как перекачивался голос по горам, как затихал в лесах, как тёл полноводным Дунаем, но и не было в нём восточного украшательства, которое услаждает в пении греков. Мы едва не плакали, а когда монах закончил, некоторое время молчали, а потом монахи Троице-Сергиевской лавры грянули Похвалу Богородице, которая после пения старца показалась бравурным маршем, но вышло здорово. Серб, в отличие от нас, чувств скрывать не стал и слезу пустил. Он снова повёл нас в горницу и подвёл к большим иконам Саввы и Симеона<sup>[75]</sup>. Открыл стеклянные дверцы, и мы приложились к мощам святых.

Потом старец усадил нас за стол и буквально через минуту появился с подносом, на котором стояло не только традиционное афонское угощение, но и графинчик. Да и рюмки размерами уже отличались большим радушием и пониманием славянской души.

Когда серб произносил тост, несколько раз мелькнуло знакомое «Путин». Серафим пояснил:

— Этому скиту очень помог во время недавнего визита Путин, вот он и предлагает тост за Россию.

Эх, это после того, как мы молчали, пока натовцы утюжили наших братьев...

— За Россию и Сербию вместе, — сказал кто-то из москвичей.

Это был уже второй тост. А один из наших запел что-то бодрое-народное. Старец в такт умилительно качал головой, а когда песня кончилась, удивился, что рюмки пусты. Ну, так... Я всё-таки отдал свою порцию Алексею Ивановичу, после чего тот шепнул:

— Надо ему тоже боярышника подарить.

Сколько же он набрал его? А я чем хуже? Тоже решил подарить сербу одну из бутылок водки — больно уж тут хорошо всё пришлось по душе. Как раз монах отлучился, мы подтащили рюкзаки, а монах уже появился с кофе — когда он всё успевал?! Подкараулив, когда монах пошёл обратно в коридорчик, где, судя по всему, у него была келейка и кухня, мы вручили наши подарки.

Я ещё подумал: вот дикари, дарят-то обычно самое дорогое, выходит, что у нас в мире самое дорогое — водка. Вот наши ценности!

А когда мы уходили, старец вынес нам большие закатанные в пластик иконы Божией Матери

Млекопитательницы<sup>[76]</sup> и ещё с десятков маленьких иконок. Вот что дарить-то надо! Господи, помоги всем братьям-сербам.

И тут я вспомнил, что мне передавали посылку для сербов. Сказано было: сербам. Конечно, подразумевался Хиландарь, но Бог знает, попадём ли мы туда, тем более наверняка связь с Хиландарем у этого скита есть, и я оставил пакет одинокому сербскому монаху. Рюкзак мой совсем перестал весить: бутылка водки да тапочки — вот и все грехи за плечами.

Серафиму пора возвращаться на послушание. Он повёл нас к площади Карей, откуда развозят паломников по Афону. Когда проходили мимо большой стройки, на которую обратили внимание вчера, гуляя с Саньками (кажется, так давно это было!), Серафим рассказал, что это идёт реставрация главного собора Карей<sup>[77]</sup>.

— А к «Достоинно есть»<sup>[78]</sup> можно попасть? — спросил один из московских монахов и, спохватившись, что Серафим не слышит, потянул того за рукав и жестами стал показывать, что хотел бы войти внутрь.

Серафим чуть улыбнулся — он понял желание.

— Посмотрим, — а мне послышалось: куда нам...

За Серафимом мы прошли под строительными лесами, и вдруг открылась старинная выморенная до черноты каменная кладка. И если в Кутлумуше время пропадало, то эти камни словно говорили: да, время существует, и мы этому свидетели.

В стене показалась небольшая невзрачная на вид железная полукруглая дверь, на которой висел замок.

Серафим развёл руками и ещё раз улыбнулся.

«Куда нам... — снова подумал я. — После бутылочки раки...»

Вернулись на улицу, вон уже и площадь видна. Серафим сказал, что как приедут автобусы из Дафни, это где-то через час, «газельки» поедут по монастырям, надо подходить и спрашивать, куда едет машина, определённых маршрутов нет. То, что всегда надо просить, это мы уже начинали усваивать.

Мы тепло попрощались. Расставаться не хотелось и с москвичами, и, особенно, с Серафимом. Вот ещё одна удивительная добрая встреча с замечательными людьми, которые вошли в моё сердце. А сколько таких людей на земле! Сколько доброты и любви на земле Твоей, Господи! Сердце, сможешь ли ты вместить?! Вмещай, сердце, помни, сердце, учись любить!

### 3

Мы вышли на залитую полуденным солнцем главную и единственную площадь Карей. Никого народу. Когда мы первый раз оказались здесь, сойдя с автобуса у магазинчиков, хоть аксакалы обозначали наличие жизни, а сейчас и их нет. Даже котов не видно. А «газельки» стоят — штук шесть. «Газельки», конечно, не наши, импортные, но, судя по внешнему виду, такие же бойкие, не щадящие ни себя, ни пассажиров. Но ни одного водителя, только на лобовых стёклах приклеенные и ничего не говорящие цифры.

Присели на лавочку, укрывшуюся в тени большого дерева. Алексей Иванович от нечего делать

достал «беломорину», а я решил пройтись по магазинчикам. В третьем наткнулся на вино в самых разных бутылках и бутылочках и сразу в руки попало то, про которое говорил Серафим, причём в маленькой подарочной таре. Покрутил бутылку, только подумал, что нам тут с Алексеем Ивановичем час на жаре мыкаться, тут же подскочил паренёк и затарахтел над ухом. Я поставил бутылку и быстро вышел.

Перешёл улицу и, открыв дверь, попал в кофейню. Если так можно это назвать. Это, скорее, была пивная, в которой подавали кофе. Стойка, где кофе разливали, находилась прямо перед входом, а народ шумел дальше. Ну ладно, подумал я, пить-то всё равно хочется, и попросил кофе. Бармен взял большой картонный стакан, поднёс его к торчащему из нутра стойки соску, надавил рукоять и зашипел пенящийся напиток. У нас точно так же наливают на набережной разбавленное пиво. Но здесь до цента отсчитали сдачу.

Выйдя, я отхлебнул. Хорошо, что я этого не сделал внутри. Мне, конечно, приходилось пить и менее приятные напитки, но чтобы их называли кофе! К тому же, он был холодный. Я даже засомневался, стоит ли нести купленное Алексею Ивановичу, не воспримет ли он это как оскорбление.

— Вот, — сказал я, протягивая бокал, — тут это... напиток местный... охлаждённый.

Алексей Иванович отхлебнул и с недоумением посмотрел на меня.

— Я попросил кофе, ну, мне и дали вот...

— И сколько это стоит?

— Да так, мелочи, два евро всего, — соврал я, на самом деле два пятьдесят. Один.

— Они нас что, совсем за людей не считают?

— Ладно тебе, смирайся.

— Сам смирайся, — он вернул мне стакан и с сожалением вздохнул: — Эх, опять курить придётся...

И в данном случае я понимал: чем-то перебить вкус надо было. Я отхлебнул из его бокала.

— Зря. Очень даже бодрит, — и огляделся: нет ли поблизости урны.

Урны не было — это слишком большая роскошь для такого маленького городка.

— Может, дойдём до стройки, — предложил я. — Вдруг там храм открыли.

— А без нас не уедут? — кивнул Алексей Иванович на микроавтобусики, около которых стали появляться группки людей.

У меня даже и мысли такой не возникло: вон как Господь всё хорошо устраивает.

— Не должны, — решил я.

У Алексея Ивановича настроение было иное, как-то чересчур мрачновато он изрёк:

— А сколько будет стоить катание на этих «газельках»?

Н-да, зря я его так надолго одного оставил и сколько кофе этот стоит зря сказал.

— Какая разница, — отмахнулся я и не обратил внимания, как Алексей Иванович помрачнел ещё больше.

Возле стройки я нашёл, куда выбросить надоевший стакан, мы прошли под лесами и оказались у железной двери. На этот раз замка на ней не было. Я потянул скобу, и массивная дверь ворчливо и неохотно поддалась.

Чуть пригнувшись, шагнули внутрь. После яркого солнечного дня поначалу ничего не было видно — только слабенькие маячки свечей указывали путь. Мы прошли тёмный притвор и оказались в большом и высоком храме, похожем на старинную закопчённую красно-коричневую икону. «Достойно есть» стояла перед нами <sup>[79]</sup>. Мы уже три дня на Афоне, в Твоём уделе, и только сейчас прибегаем к Тебе, Царица!

Сначала мы находились под прикрытием посылок игумена Никона, потом под благословением Макария, затем нас опекал Серафим — они готовили нас. Просителя не сразу допускают до Царицы, сначала встречу готовят Её слуги. И вот теперь — прибегаем к Тебе, Владычица!

Мне опять показалось, что всё правильно у нас и хорошо. Я поклонился ещё раз и с чистым сердцем вышел из храма. Снова — солнце, синее небо и коты, которые за людьми повыбирались на улицу.

Алексей Иванович задерживался. В принципе, надо было поспешать, а то как бы и впрямь автобусы не укатили. Алексей Иванович ещё застрял, я начинал нервничать, а когда он вышел и задумчиво проговорил: «Наверное, всё-таки дорого будет, это же такси...», — торопливо отмахнулся:

— Да перестань ты, есть деньги.

— У тебя-то есть, а у меня почти нет, я и так каждую копейку считаю. В Пантелеймоне сорокоуст не стал заказывать... И тут ещё сколько дней жить, и потом неизвестно, как будет...

— Ты что, предлагаешь пешком идти? — начал заводиться я.

— Я ничего не предлагаю, на всё воля Божия.

— Вот и поехали. Нам Серафим сказал: езжайте.

Алексей Иванович тяжело вздохнул. Я его не понимал. Конечно, у меня карманных денег больше, к тому же, есть НЗ — пластиковая карточка, о которой я ему не говорил, да и сам постарался забыть о её существовании. Да и при чём тут твои-мои деньги? Я что, не дам ему денег или когда-нибудь спрошу с него, сколько истратил? Вместе идём. А вдруг когда-нибудь спрошу?

Чушь какая!

— Ты не думай, — как можно миролюбивее произнёс я, — у меня, если что, ещё карточка есть.

Алексей Иванович вздохнул так тяжело, что я должен был или тут же броситься просить у него прощение, или перестать обращать на него внимание. Я выбрал второе. И пошёл обходить «газельки», у которых собирался народ. Стоило сказать «Мега лавра», как меня тут же подхватил молодой грек, стал что-то оживлённо рассказывать мне и всё показывал один палец.



Ладно хоть не средний.

— Нас двое, — сказал я и показал два пальца.

— Эна, эна <sup>[80]</sup>, - настаивал грек.

Я в него продолжал тыкать рогаткой из двух пальцев. Грек отрицательно качал головой, в конце концов схватил меня за рукав и повлёк к крайнему автобусику, распахнул заднюю дверцу и чуть ли не стал стаскивать с меня рюкзак.

— Мега лавра? — уточнил я.

Грек закивал головой и опять показал мне один палец. Ладно хоть указательный. Вот ведь.

— Я же сказал: двое нас, — Господи, да где же этот второй-то?

Алексей Иванович стоял чуть поодаль с видом осуждённого на вечные муки. Причём на земле.

— Сколько? — на всякий случай спросил я. — Посо?

— Лавра, Лавра, — закивал в ответ грек и для убедительности развёл руками: — Мега лавра.

Я покорно снял рюкзак и поставил его в багажник, пошёл в сторону Алексея Ивановича, увидел на лобовом стекле «газельки» приклеенную цифру «один» и оценил терпение сажавшего меня в автобусик грека.

Подойдя к Алексею Ивановичу, я постарался быть добрее, чем я есть на самом деле.

— Иди, ставь вещи вон в ту «газельку».

— Я тут видел, — замогильным голос загудел Алексей Иванович, — в «газельке» у него написано: семьдесят евро...

— Не хочешь — не езжай, — не выдержал я и пошёл к машине.

Эта мелочность достала меня. О чём он? Бог с ними, с этими евро?! Курить бы лучше бросил! Сам вон извёлся: дома — то это не так, то другое... Его Господь и так тычет, и эдак, а он только курит и курит. И ноет при этом. Надоели эти сопли...

Грек любезно распахнул дверцу. Я для начала окинул взглядом салон: ну, где он увидел про семьдесят евро? Даже если логически рассуждать: от Дафни с нас взяли по три евро, да, это вроде такси, но пусть в два-три раза дороже, но не в двадцать же три! Да за такие деньги они бы после каждого рейса по новой «газельке» должны покупать! Господи, о чём я думаю?! Какая же дрянь эти деньги! Бог с ними. Да что же я злой-то такой, Господи?! Молчать надо. Вообще ничего не говорить. Молиться надо начинать. Да и места в автобусе занимать.

Я пролез внутрь, несколько мест было занято, я сел у окна и тут сами собой выскользнули из-под рукава куртки чётки, подаренные Серафимом. Я снял их и стал перебирать, машинально повторяя: «Господи, помилуй, Господи, помилуй», — тут увидел табличку про семьдесят евро и сразу догадался, что семьдесят евро — это аренда всего автобуса, стало быть, если нас тут десять человек, то с каждого по семь. Я хотел выскочить к Алексею Ивановичу, но тут же подумал: опять скажу что-нибудь не то или не так. Молчать надо. Господь Сам разрешит.

В «газельку» с видом профессора, которого отправляют на овощную базу, залез Алексей Иванович, молча сел рядом и, сложив брови домиком, уставился в противоположное окно. Главное, что сел. Двери автобуса закрылись, и мы поехали.

Проплыл Андреевский скит, потянулись деревца, вот открылась под нами вся Карея, потом спустились к изумрудному морю, но оно лишь мелькнуло, и автобусик снова, по-змеиному петляя, пополз вверх. Вспомнился анекдот, рассказанный экскурсоводом, когда так же по крутым поворотам автобус поднимался на Сан-Марино.

Умерли священник и водитель автобуса. Первого определили в ад, второго — в рай. Священник возопил: как же так, Господи! Я столько служил Тебе и Ты посылаешь меня в ад, а этого забулдыгу, который и лба-то ни разу не перекрестил, — в рай! Где справедливость? На что последовал ответ: когда ты читал проповеди в церкви — все спали, а когда он вёл автобус — все молились.

Хотел пересказать анекдот Алексею Ивановичу, но сдержался, что-то ещё оставалось меж нами, и любое неуместное слово могло нарушить тихое соглашение, уж лучше и правда молиться.

— Гора!

Это мы выкрикнули одновременно — прямо перед нами, так, по крайней мере, ощущалось, выплыл Афон. Тут же «газелька» потянулась вниз, и Афон скрылся. Но через несколько минут показался снова, по-царски величественный и по-вселенски недостигаемый. Теперь мы не отрывались от окна и восторженно ловили каждое мгновение, когда Афон показывал себя, радостно тыкали пальцами, охали, ахали и что-то лепетали восторженное — ничто нас больше не разделяло.

«Газелька» стала спускаться вниз, снова море приблизилось к нам, и мы выехали к расположенному в небольшой бухточке и утопающему в зелени красивейшему монастырю, который всё же, благодаря сторожевым башенкам и могучим стенам, сохранил вид древней крепости. Мы посмотрели карты. Это был Иверский монастырь <sup>[81]</sup>. Здесь Пресвятая Богородица ступила на афонскую землю. Стало неловко, что мы едем по той земле, а не ступаем вслед. Мы тут же решили на обратном пути заехать в Иверский монастырь и пройти там, где ступала Богородица. Хотя... Бог вещь, как сложится. Но я уже точно знал, что Господь ведёт нас и Он лучше знает, что нам надобно и потребно.

Через полтора часа мы подъехали к Великой лавре. Здесь начинался Святой Афон. Гора закрывала полнеба, и у подножия её стоял величественный город. Сразу почувствовалось, что именно здесь — столица. Карея, несмотря на протат и подобие вокзала, — всего лишь административный центр, нет в ней величия и монументальности Великой лавры. И в Пантелеймоне этого нет. Пантелеймон — это больше изящный Петербург, если, конечно, дозволено такое сравнение, но сердце России всё же в Московском Кремле. Кто бы его ни занимал. Это наше сердце.

А сердце Афона — Великая лавра.

Стоя подле неё, я чувствовал себя песчинкой. И именно это ощущение, что — песчинка, а тоже прилепляюсь к великому и вечному, вызывало восторг.

Греки, ехавшие с нами в автобусе, видимо, были здесь не впервой и, в отличие от нас, забывших земное, быстренько разобрали рюкзаки, сумки и поспешали к Лавре. О земном

напомнил водитель. Понимать греков я так и не научился, потому дал ему с некоторым замиранием (всё-таки некая смута, посеянная тревогами Алексея Ивановича, присутствовала) двадцать евро и получил на сдачу пятёрку, стало быть, по семи с половиной на брата. И слава Богу. Еле удержался, чтобы не показать товарищу язык или как-нибудь не понасмешничать. Взяв рюкзак, сказал:

— Пошли, — оглянулся на Алексея Ивановича, всё ещё пытающегося охватить и каким-то чудом вместить в себя открывшееся нам, и тоже не захотелось никуда сразу идти и заниматься поисками архондарика. — Или покурим?

Алексей Иванович кивнул, и я так понял, что он на меня больше не злится.

#### 4

Архондарик располагался на втором этаже монастырской стены. Каменная лестница вела на террасу, только эта терраса не казалась временным строительным пристроем, как в Кутлумуше, тень величия окружающего легла и на неё. Это была роскошная терраса, а мы — странники с распутий, оказавшиеся в огромном богатом дворце. Я невольно оглядел себя и товарища — разве в таких одеждах входят в царские дворцы?

Вдоль террасы стояли лавки и большие столы, за которыми по двое-трое сидели греки.

— Ишь ты! — восхитился тем временем Алексей Иванович. — Да они здесь курят.

— С чего ты взял?

— А вон пепельница стоит, — и он указал на стол.

Каждому — своё. И в самом деле, на столе стояла пепельница, да ещё с окурками.

— Пойдём, — и я решительно потащил товарища в открытую дверь подальше от искусовых пепельниц.

Комната, в которой мы оказались, чем-то напоминала зал ожидания повышенной комфортности. Было много затейливо расположенных лавочек, столиков, и во всём чувствовалась лёгкость и непринуждённая приветливость. Мне совсем стало неловко за грязные ботинки, мятый вид и туристический рюкзак, который даже стыдно было снимать и ставить на чистый пол. А тут ещё юноша, больше похожий на вышколенного студента уважаемого колледжа, принёс кофе, лукум и раки. Н-да, захотелось перейти с хозяином сего дворца на «ты». Обстановка располагала.

Появился невысокий грек с большой головой, русской лопатистой бородой и грустными глазами. Он, как и юноша, тоже не был похож на монашествующего, скорее на несостоявшегося циркача, оставленного при цирке для разных поручений. Сам он, видимо, не считал эти поручения особенно нужными и важными. Он вынес такую же большую, как и в других монастырях, книгу, положил на столик в центре комнаты, раскрыл и предложил всем самим вписываться, сам же отошёл в сторону и равнодушно взирал на возникшую возню; так же небрежно и даже с некоторым презрением собирал диамонитирионы, весь вид его говорил: Господи, какими глупостями занимаются люди! Но, кстати, нам с Алексеем Ивановичем он, указывая на красивый потемневший светильник в зале, сказал:

— Николай, доро, доро, — и мы поняли, что это подарок нашего царя. В голосе грека в этот момент звучали уважительные нотки, и мы почувствовали себя увереннее, словно то уважение,

с каким показывал нам царский светильник невысокий грек, перешло и на нас.

Мирное течение устройства в монастыре нарушилось явлением толпы из восьми человек, и до этого архондарик, казавшийся светлым и просторным, уменьшился до привокзального буфета и отнюдь не повышенного комфорта. Это были наши. Точнее, украинцы, но всё равно — наши. Как бы они куда ни отделялись, в любом российском городке можно набрать такую бригаду.

Первым делом — два батюшки. Один — в возрасте, весьма симпатичный и тихий, всем видом являющий смирение: мол, раз уж другими путями мне на Афон никак не попасть, то вот, Господи, терплю с благодарностью. Он поставил сумочку чуть в сторону и вообще старался держаться как бы на краю группы. Но видно было, что к нему относились с пиететом и, скорее всего, без его молитв сие сборище вообще никуда не подвиглось — и он был среди них за духовника. Второй батюшка был молод, рыж и огромен, больше, правда, в ширину, но за ним чувствовался сильный голос и связующая нить между духовником и остальным народом. Причём к смиренному батюшке рыжий относился с нескрываемыми сыновней преданностью и почтением, а к остальным — как атаман к шайке разбойников, и всё это происходило у него одновременно. Двое других были типичные комсомольские работники — один, среднего роста, с брюшком, постарше рангом, давал всё время указания, а второй, такого же роста, но худее, тут же суетливо бросался их исполнять, в большинстве случаев бестолково, так что приходилось слышать рык рыжего батюшки, после чего следовала очередная команда комсомольца рангом повыше. Остальные четверо были те, кто оплатил эту поездку и продолжал платить и, наверное, с удовольствием платил бы и больше, но на Афоне особо и тратить-то негде. Мужики все были за сорок, в теле, и такие же крепкие, как бульдоги у ног хозяев, стояли рядом с каждым баулы. У одного ещё на шее болталась видеокамера, хотя съёмки на Афоне строго запрещены. В общем, чувствуется, это была повидавшая виды братия, не раз боровшаяся и побеждавшая жизнь.

Скорее всего, это те самые украинцы, которые вызвали в Пантелеймон машину и с которыми хотели уехать Саньки.

Младший комсомолец собрал диамонитирионы и ушёл вписывать братию в книгу, потом попытался заговорить с невысоким греком, в котором отстранённый от происходящего в комнате вид явно выдавал старшего. Грек слушал внимательно, даже грустная улыбка сквозь бороду показалась, но видно было, как далеко ему всё это и что он даже и не старается вникнуть, чего от него хочет комсомолец — наверняка какая-нибудь очередная людская глупость. Грек подозвал юношу, и тот скоро вернулся с невысоким бледным монахом, лицо которого было точною иллюстрацией того, почему хохлы прозывают русских «кацапами», то бишь «козлами». Бородёнка на нём была столь жидка, что лицо казалось непривычно голым для монаха его лет и серым, словно в неурожайный год. Но монах оказался натурой деятельной и сразу взялся руководить группой, распоряжаясь, кому куда и как носить, при этом поварчивал на их неловкость и незнание тех или иных монастырских порядков. Хохлы на такое покровительство согласились и, видимо, готовы были это ворчание какое-то время пережить, тем более что монах обещал их разместить, сводить на трапезу, а потом ещё провести экскурсию. Впрочем, долго кацапское покровительство они терпеть не собирались, намередаясь утром при первой же возможности Лавру покинуть.

Монах переговорил со старшим греком и объявил, что если наберётся полный микроавтобус, то можно уехать в Карею в 6.45. Хохлы не поняли, почему надо обязательно набирать полный автобус, а я подумал: почему в 6.45, а не в семь или половине седьмого? — и неожиданно предложил Алексею Ивановичу:

— А поехали с ними.

Тот несколько удивлённо посмотрел на меня.

— Литургию до конца можем не дотянуть.

— Причащаться мы не будем. А после Литургии будем ждать автобус и смотреть на Гору, и грустить, что не можем на неё пойти. А так уже рано утром выйдем у Иверского.

— А платить-то придётся, как до Карики, — завёл было Алексей Иванович, но, посмотрев на меня, осёкся. — Как Господь...

Я подошёл к молодому комсомольцу, который составлял список (ну да, куда у нас без списка).

— А можно с вами?

— Да-да, конечно, — обрадовался комсомолец, словно я изъявил желание принять участие в субботнике, но потом построжел: — Если, конечно, места хватит. Сколько вас? Как ваши фамилии?

Я чуть было не брякнул очередную глупость, но сдержался и назвал по паспорту.

Монах тоже не упустил возможность поначальствовать.

— Смотрите не опаздывайте.

— В шесть сорок пять ещё, наверное, служба будет идти...

— Ну, что ж... — развёл руками монах. — Это уж вы смотрите.

— А не подскажете ли, — вспомнил я, — как нам найти трапезария Николая?

— А-а, Николай... Бегает тут где-то... Да сейчас ужин будет, там его и увидите, — и монах отвернулся.

Вообще-то «трапезарий» звучало для меня гордо, почти как «церемонимейстер», и вызывало почтение, я представлял такого важного человека, распределяющего на столы блюда с яствами, а почтительное отношение к людям, находящимся близ кухни, у меня сохранилось с армии. Поэтому фраза «бегает тут где-то» резанула и показалось несколько легкомысленной, что ли... Но откуда мне знать их порядки?

— Записался? — спросил Алексей Иванович. Я кивнул. — Нам ещё с ночлегом определиться надо и хорошо бы Николая этого найти.

— Да бегают он тут где-то... — невольно повторил я и почти тем же тоном, что и монах.

Хохлы тем временем поднялись и двинулись за монахом. Потянулись из архондарика и другие. Мы внимательно начали следить глазами за отстранённым греком. Это был взгляд двух бездомных собачек, и он не мог его не заметить.

— В церкву, в церкву, — сказал он.

В церкву так в церкву — рано тут служба начинается, что ж, в каждом монастыре и впрямь свои порядки.

В Лавре храм такого же типа, как в Кутлумуше, только побольше и, как показалось, светлее, может, оттого, что служба началась раньше. И уже знакомое моление перед входом в храм, весёлая кадилница, похожее на тихое, безбрежное море пение и утишающее чтение Псалтыри. Пожалуй, неожиданным оказалось, что монахов на службе было немного. Больше, конечно, чем в Кутлумуше, но Великая лавра звучит так величественно, да и сами строения монастыря настраивали на столичное многолюдье, но его не наблюдалось. Зато сколько вынесли и разложили перед нами в конце службы святынь! Одно перечисление имён вызывает благоговейный трепет, а тут мы прикладывались к ним! Несколько огорчало, что прикладывались в порядке живой очереди, то есть быстренько, не задерживаясь, а так хотелось не второпях, постоять... Но и то чудо! Вот всё-таки натура человеческая: то, Господи, помоги хоть на Афон попасть, то дай к святыням приложиться, а теперь и постоять бы у них. Ну, точно старуха с корытом!

То ли потому, что греческий порядок был знаком, то ли потому, что в столицах всё делается не так размеренно, показалось, что служба пролетела быстро. Мы приложились к иконам и уже выходили из храма, как заметили монаха, взявшего под опеку братьев-украинцев и теперь рассказывающего что-то двум батюшкам и молодому комсомольцу. Мы подошли в самый нужный момент, когда монах произнёс:

— А теперь пройдем к главной святыне нашего монастыря — мощам преподобного Афанасия Афонского <sup>[82]</sup>.

Мощи Афанасия Великого покоились в левом приделе. Тут же появился настоящий греческий монах, сухонький, бодренький, с проседью в чёрных волосах и улыбающийся, стал что-то объяснять нам, пытаюсь нет-нет да и вставлять русские слова, отчего понять его совсем было невозможно, но слушалось с удовольствием. Приведший нас монах немного поморщился, ответил улыбающемуся монаху, тот закивал головой, и наш покровитель кивнул:

— Ну, прикладывайтесь.

Сначала приложились священники, потом — мы. И никто нас никуда не торопил. Стой сколько хочешь! Ведь только стоило попросить... Господи, будь всегда так милостив ко мне. Впрочем, я знаю: Ты всегда и так был милостив, просто я не замечал этого. Мне не о чем больше просить Тебя.

А вот Алексей Иванович знал, что просить. После того, как все приложились и стояли присмирившие и тихие, он наклонился к греку:

— Иелеесу бы.

Монах оживился и снова что-то быстро заговорил, откуда-то появилось несколько пузырьков и длинная палка с крюком, которой он осторожно снял лампаду над мощами святого Афанасия и прямо оттуда стал наливать масло.

Господи, неоценимы дары Твои!

Встрепенулся и наш монах и что-то стал объяснять греку. Общение их было живо и, как обычно, непонятно, то ли они препирались, то ли рассыпались в благодарностях. В итоге появилось ещё несколько пузырьков, монах снял ещё одну лампаду и, разлив из неё масло, передал нашему руководителю, а тот торжественно вручил их смиренному батюшке.

— Вот, всем остальным раздашь.

Тот поклонился.

— А сейчас надо готовиться к трапезе, а после я вам экскурсию проведу, — объявил наш монах.

Мы вернулись в архондарик, прибрали дорогие пузырьки и сели в некоторой задумчивости на террасе. До трапезы оставалось минут двадцать, а мы всё ещё не имели места, где голову приклонить.

— Николая надо искать, — сказал Алексей Иванович.

И мы пошли его искать, в нас ещё сидело убеждение, что по знакомству всегда можно устроиться лучше. В чём, кстати, частично убеждал и опыт Кутлумуша. Хотя опять же: зачем уезжающим через несколько часов так заботиться о ночлеге? И вообще — зачем? Тем более здесь, если уж находишься под Покровом Божией Матери.

Но Николая надо было найти хотя бы потому, что о нём говорили и Серафим, и батюшка, напутствовавший меня в России. Последний даже поклон передавал.

Мы оставили рюкзаки в архондарике и вышли в Лавру. Какое это удивительное чувство — бродить по мощёным улочкам, проходить низкими арками. И ни разу не возникло мысли, что мы в музее или в заботливо оберегаемой властями исторической части какого-нибудь древнего города — нет, тут всё было живое: вон навстречу нам катил тележку об одном колесе, какие, наверное, сохранились испокон века, сухонький мужичок с удивительно знакомым лицом, точно — очень похож на грузчика из магазина в нашем доме.

— Паракало, пу инэ Николас?<sup>[83]</sup>

— Какой Николай?

Мы немножко опешили, но послушно перешли на русский.

— Ну я Николай, — мужичок опустил оглобли тележки.

Мы совсем растерялись. А чего теряться-то: Алексей Иванович попросил найти Николая, вышли, и первый встречный — Николай. Слава Тебе, Господи!

— Вы только пришли, что ли? — попытался вывести нас из ступора Николай. — Где разместились? Надолго? Какие планы? А, ладно, сейчас мне некогда, увидимся в трапезной.

Он подхватил тележку и покатил дальше.

Так вот ты какой, трапезарий... На нашего грузчика похож, да...

О! Какая в Великой лавре трапезная!

Собственно говоря, нам ничего не оставалось, как последовать за ним — в трапезную.

## 6

Неужели на царском пиру лучше? У Небесного Царя — наверно, а вот у земных — сомневаюсь.

О еде говорить скучно. Она была. И я выбирал между тем и этим, а в конце трапезы, когда предложили феты, отказался, предпочтя кусочек македонской халвы. И запил славный ужин

чудесным вином.

Всё время не покидало чувство, что мы попали на праздник, только не можем понять, какой.

Появился трапезарий Николай и быстренько стал убирать со стола. Слегка нагнувшись к нам, спросил:

— Где разместились?

А я и забыл, что нигде, после такой трапезы о пустяках не думалось. Пока я соображал, о чём меня спросили, трапезарий ответил, будто я успел что-то сказать:

— Хорошо. Я вас обязательно найду, — и, глядь, он уже у других столов.

Нет, что ни говори, а ужин был на славу.

Слава Господу! Слава Лавре! Слава поварам! Слава трапезарию. Всем — слава!

Слегка разомлевшие и слегка покачиваясь от сытости, довольные миром и собой, мы потекли к архондарнику. Поднявшись на веранду, сели за один из столиков. Алексей Иванович закурил, и это несколько не испортило блаженства — какая мне радость, если другу чего-то не хватает? А так — хорошо... Мы молчали. Алексей Иванович медленными струйками давал почувствовать греческому небу вкус «Беломора», а я, полуприкрыв глаза, думал, что где-то там, далеко, за тысячу вёрст, точнее сказать, в другой жизни, жена и сын ложатся спать. Да, в другой жизни. И именно той жизни я принадлежу. Что я здесь делаю? Блаженствую. Для того ли я сюда ехал? А для чего? Я попытался вспомнить разные минуты радости в моей жизни и поймал себя на мысли, что всякий раз, когда случалась такая минута, она казалась самой радостной и замечательной. Тогда я подумал: какое счастье, что я могу перечислять радости, которые были у меня в жизни и понимать, что каждая новая радость ярче и сильнее предыдущих. А значит, впереди только новое и более радостное. Как хорошо!

Вернул нас к действительности грек с грустными глазами. Он обратился к Алексею Ивановичу, и тот, решив, что грек серчает на курево, оправдываясь, показал на пепельницу, стоящую на столе. Грек, в свою очередь, показал на наши рюкзаки. Ну да, мы же не на террасе собрались ночевать, хотя в тот миг казалось: сидел бы так и сидел. Мы подняли рюкзаки и пошли за греком. И он привёл нас в комнату к хохлам.

Комната, как можно уже было ожидать, предстала отнюдь не царской, а вполне обыкновенной. Точно такая же была в Пантелеймоне, только там стояло пять коек, а здесь — десять. А так всё уютно, чистенько, опрятно, хохлы, правда, пошумливали, рассказывая анекдоты и байки, косясь при этом на смиренного батюшку, покоившегося на самом почётном месте, которым после фильма «Джентльмены удачи» считается дальнее угловое у окна. А нам, стало быть, достались места противоположного плана, крайние, так сказать. Да какая нам разница, слава Богу, есть где ноги вытянуть. Встретили нас добродушно, но мы в разговоры вступать не стали, а занялись весьма полезным дельцем.

У нас набралось по три флакончика с маслицем (из Александровского скита, Кутлумуша и Лавры). Маслице из каждого монастыря различалось по запаху и цвету. Самое необычное, пожалуй, было из Кутлумуша, аж с зеленоватым оттенком, а из Лавры — самое пахучее. А вот пузырьки были похожи и, дабы не возникла путаница, решили их подписать. Для этого нарезали кусочки пластыря, наклеили и надписали химическим карандашом, специально, между прочим, для этого взятым по совету наставлявшего меня перед дорогой батюшки.



Тут в комнату вошёл молодой комсомолец и стал всех звать на экскурсию.

— Пошли посидим ещё на веранде, — предложил я.

Но столик, за которым мы недавно сидели, оказался занят. Да и у нас прошла та чудесная минута, когда не чувствуешь ни времени, ни пространства. Мы спустились вниз, думая в наступающем вечере немного походить по монастырю. После двадцатиминутного пребывания в комнате с украинской братвой хотелось тишины и уединения.

Но не успели сделать и пары шагов от лестницы, как пред нами возникла фигура трапезария Николая, в руках у него был чёрный полиэтиленовый пакет.

— О! А я вас ищу! — бодро воскликнул он, а послышалось: о, а я вас тут уже два часа жду!

Ну, извини, брат.

Я передал ему поклоны от провожавшего меня батюшки.

— Да, помню. Очень хороший батюшка. Мы тут с ним хорошо поговорили, — я немного напрягся, вспомнив слова батюшки об ультраправых взглядах трапезария, но тот перевёл разговор в другое русло, ещё более неожиданное: — Вы на что жалуетесь?

— Э-э... — начал соображать я.

— Вижу, можете не говорить.

Вот так всегда более-менее опытная гадалка или экстрасенс за одну минуту могут сделать из меня дурака. Но уж на Афоне я этого никак не ожидал: к Афону, ко всему живущему здесь и произрастающему у меня сложилось беспредельное почтение и доверие.

— Печень, почки, кишечник, — быстро перечислял трапезарий.

— Поджелудочная, — подсказал я.

— Ну, да. Я вижу. Сейчас скажу отличное средство. Будешь пить ежедневно натошак, и всё заработает.

Я хотел сказать, что работать-то особо нечему, так как поджелудочная у меня практически отсутствует, но удержался. Но трапезарий успел заметить тень сомнения на моём лице.

— Как ты думаешь, сколько мне лет? — спросил он.

Я почему-то опять вспомнил грузчика из нашего магазина, накинул на всякий случай пятёрочку и сказал:

— Пятьдесят пять.

— А вот и нет — мне седьмой десяток пошёл. А видишь, как выгляжу.

Я хотел сказать: «Как наш грузчик», — но снова Господь удержал. А вообще на Афоне люди долго живут, Плутарх называл живущих здесь долговечными. Живость моего собеседника опережала рассуждения.

— Я — травник, — объявил он.

Слава Богу, не экстрасенс, подумал я.

Дальше последовал краткий экскурс в науку и местные её особенности, из которого я всё равно ничего не запомнил, а завершился коротким распоряжением:

— Записывай.

Как на грех, блокнот и карандаш оказались с собой. Вот тебе и первая запись на Афоне.

Цитировать не буду. Сам не пробовал, а вдруг кому-нибудь в голову придёт проверить... Отвечай потом. Нет уж, лучше езжайте на Афон к травнику Николаю. Может, кому и для этого Афон нужен. Могу сообщить только, что список для сбора был велик и напоминал советы старых колдуний. Нет, всяких дохлых лягушек и сушёных тараканов там не присутствовало, но неизвестных и странных названий хватало. Заканчивалось так:

— Выпил — и сразу на берёзку, на берёзку. Вот увидишь, всё восстановится.

Я кивал, изображая послушного студента, и чувствовал, как за правым плечом давится от смеха Алексей Иванович.

Травник, видимо, это тоже почувствовал и строго обратился к Алексею Ивановичу:

— А у вас что?

— Я здоров, — быстро ответил тот.

— Не скажите... — с язвительностью опытного хирурга, которому только что сказали, что вырезать у вас нечего, заметил травник, и шагнул к Алексею Ивановичу.

И тут случилось очередное своевременное чудо: с лестницы, у которой мы стояли, спускались монах, обещавший экскурсию, пара комсомольцев и молодой рыжий батюшка. Монах досадовал и выговаривал молодому батюшке:

— Что ж другой-то не пошёл? Неинтересно? А такой праведный на вид, так прикладывался везде, а тут не пошёл...

— Устал... — извинительно отвечал батюшка.

Я вспомнил утомлённое лицо смиренного батюшки, который, наверное, настрадался от окружающих разговоров, смеха, басен, отвернулся, поди, сейчас к стене, закрылся с головой от всех подушкой и молится.

— Знаете, — обратился я к травнику, — спасибо вам, конечно, это всё здорово, что я записал, но тут нам экскурсию обещали...

— Да-да, конечно, — как-то быстро согласился трапезарий и протянул пакет: — Это вам.

— Что это?

— Виноград, яблоки, кушайте, очень полезно.

«Ага, мне с сахарным диабетом только виноград и трескать», — подумал я, а вслух сказал:

— Подождите, — и опрометью бросился наверх.

Растормошив рюкзак, извлёк очередную бутылку, виноград вывалил на газету, в которую она была завернута, бутылку же переложил в чёрный пакет, в котором принёс виноград, и выскочил на улицу.

Нет, сначала сказал молча наблюдавшим за моими действиями хохлам: «Угощайтесь!» — указал на виноград, а потом — выскочил.

Травник внимательно разглядывал Алексея Ивановича, тот не сдавался и тайн не выдавал.

— Возьмите, это от нас, — передал я пакет.

— Спасибо, — ответил травник и растворился в наступающих сумерках.

А Алексей Иванович наконец-то захохотал. Даже экскурсионная группа, отошедшая немного вперёд, остановилась и удивлённо обернулась. Так мы их и догнали.

— Можно с вами? — попросил я, стараясь прикрыть всё ещё сотрясающегося Алексея Ивановича.

— Что это вас так развеселило? — подозрительно спросил монах.

— Да мы тут сейчас с вашим травником общались, — пояснил я и добавил: — Весьма неординарная личность.

— А-а, с Николаем, — облегчённо вздохнул монах, поняв, что смех не имеет к нему отношения. — Присоединяйтесь, а то вот тут некоторые устали, видите ли... Можно подумать, каждый день на Афон приезжают... — Но мы уже выходили за ворота монастыря.

Лёгкая вечерняя дымка приспустилась на Афон. Ещё было светло, но окружающее уже поменяло краски, словно приставил к глазам стёклышко, нельзя сказать, что всё вокруг померкло, скорее, наоборот, обострилось и приобрело налёт таинственности и юношеской мечтательности, когда грезится о дальних странствиях, приключениях и морских пиратах.

Сразу за стенами монастыря потянулись двухэтажные домики, как-то необъяснимо похожие на рабочие посёлки подле какого-нибудь кирпичного заводика в глубине России. Было едва уловимое ощущение временности этих жилищ, тем более в видах могучего монастыря, и в то же время не покидало чувство, что эти временки могут простоять века. Мне вдруг показалось, что они стоят тут со времён Пелопонесской войны, а то и долее. Да и так ли уж давно была та война?

— Здесь рабочие живут, — пояснил монах.

— Какие рабочие? — удивились мы.

— Строители, в основном, ну, подсобные разные, кто монастырю помогает.

— И Николай тут живёт?

— Травник который?

— Ну да, травник.

— И Николай.

— А давно он тут живёт?

— Осторожно, тут ступенька. А теперь срежем немножко, пройдем за домами.

Свернув с дороги, мы перелезли через заборчик, потом прошли сквозь заброшенный сарай, выбрались на крышу другого домика, прошли по ней, спрыгнули — прямо казаки-разбойники какие-то. А куда мы, собственно говоря, идём?

— Вот, здесь старинное кладбище, — сказал монах, обводя рукой небольшую поляну, и правда, увенчанную несколькими приземистыми крестами.

— А мы слышали, что умерших монахов в яму складывают, а потом достают и смотрят, сгнили кости или нет?

— Какая яма! — усмехнулся нашему невежеству монах. — Вот через три года откопают и действительно посмотрят: если кость желта, то череп переносят в усыпальню, а если черна, то считается, что Господь не принял инока, кости закапывают снова и начинают усиленную молитву. А я вас привёл к могиле недавно почившего старца. Очень почитаемый был старец... — монах оборотился к одному из крестов и замолчал.

Мы, действительно, стояли у креста, но никакого привычного холмика не было, земля была ровной, только видно, что её недавно тревожили. Мы перекрестились и не знали, что делать дальше.

— Ну, что стоишь, — обратился монах к батюшке. — Давай литию отслужим. Или наизусть не помнишь?

Батюшка немного смутился.

— Как же не помню?

— Ну так начинай. Только погоди, свечи зажечь надо. — Перед крестом и в самом деле стояло три свечи. — Спички-то есть?

Спичек ни у кого не оказалось.

— Э-эх, — досадливо вздохнул от нашей никчёмности монах.

— Зажигалка есть, — сказал Алексей Иванович.

— Куришь? — спросил монах.

— Борюсь.

— Ну-ну, зажигай.

Алексей Иванович зажёл свечи, и они загорелись ровно и ярко.

— Начинай, — дал команду батюшке монах, и тот, уже поборов смущение, возгласил.

Я, конечно, подозревал, что в могучем теле рыжего батюшки должен обитать могучий голос, но он превзошёл все ожидания. Воздух дрогнул, и свечи трепетно поклонились. А потом по полянке потёк ветерок. Это было настолько явственно и неожиданно, что все восприняли ветерок именно в связи с тем, что начали служить литию. И ветерок усиливался и словно тоже

участвовал. Его дыхание чувствовали все, он заглядывал в лица, и каждый старался подпевать батюшке. И свечи теперь не стояли прямо, как часовые, а ласкались ко кресту, но не гасли.

Мне хотелось спросить монаха: когда умер старец? Не душа ли его сейчас заглядывает нам в глаза? Но, захваченный пробирающим басом, не мог нарушить чудесную службу. И чувствовалось, что каждый из нас испытывает это неожиданное прикосновение иного, даже батюшка раз поперхнулся, но тут же выправился и с большим усердием выводил «Со святыми упокой».

Пропели «Вечную память», и ветерок стих.

Несколько секунд все стояли в замешательстве, каждый, наверное, хотел спросить и поделиться о ветерке, но не решался, как ученики не решались спросить Христа на Тивериадском море: кто Ты?<sup>[84]</sup>

— Пойдёмте дальше, — привёл нас в чувство монах.

Честно говоря, уже никуда не хотелось идти. Сумрак всё более скрывал окружающий мир. И если в начале нашего выхода за ворота монастыря прогулка наша казалась романтической, то теперь мистический трепет, охвативший всех на полянке, всё больше покалывал холодком.

— А правда, что когда стемнеет, ворота монастыря закрываются?

— Правда, — ответил монах.

— А как же мы пройдем?

— Ну, меня-то пустят.

— Вас-то пустят, а нас?

Монах даже остановился от такой постановки вопроса и внимательно посмотрел в темноту, стараясь разглядеть задавшего такой глупый вопрос. Алексей Иванович спрятался за мою спину, а я всем видом показывал, что не способен на такую бестактность.

— Вы же со мной... — то ли утешил, то ли ещё больше нагнал страху монах, одно было ясно, терять нам его и впрямь нельзя.

— А куда мы идём? — вдруг озадачился вопросом старший комсомольский работник.

Лучше бы он не спрашивал.

— На капище, — спокойно ответил монах, — где язычники приносили кровавые жертвы<sup>[85]</sup>, - а мне показалось, что, поднимаясь в гору, он прибавил в скорости и пытается оторваться от нас.

Невольный холодок прокатился по телу, я сглотнул слюну и в то же время почувствовал, что это не просто холодок, а с моря поднимается ветер. Самый настоящий холодный пронизывающий ветер, причём так резко и неожиданно. А монах забирался выше по огромным, неестественно выложенным, видимо, ранее в некое подобие пирамиды, но со временем рассыпавшимся валунам. Наконец он замер, поднявшись много выше нас. Ветер, набравший мощь, трепыхал подол его рясы, одной рукой монах придерживал скуфью, другой ткнул себе под ноги.

— Вот тут стоял идол! — возгласил он, и я слегка пригнулся, ожидая, что сейчас обязательно сверкнёт молния и грянет гром.

Однако ничего подобного не случилось. Монах слез с идольского места. И всё так же придерживая скуфью, стал рассказывать, показывая на тёмные места, хотя ветер раздирал его слова, комкал, как неудавшийся черновик, и выбрасывал в море, так что рассказ экскурсовода разобрать было трудно, но мы, в общем, поняли, что тут было капище, место идола мы видели, вот там, где несколько валунов поменьше образуют некое подобие креслица, был жертвенник, там приносились человеческие жертвы, это были молодые красивые девушки, и кровь их стекала вон по тем желобам... Здесь вся земля пропитана кровью. Но святой Афанасий разрушил капище и посадил кипарис. Вот он — огромный, даже и не похожий на привычный, похожий на часового, кипарис этот раскинул ветви, словно даёт покров всем с верою притекающим. Он пророс сквозь камни, и Афанасий построил здесь келейку. Отсюда начался монашеский Афон.

Дерево, действительно, впечатляло. Это был кипарис, огромный, высокий и раскинувшийся, казалось, над всем капищем, покрывая его. Иголки у него были удивительно мягкие.

— Обычно те, кто приезжает сюда, уносят с собой шишки, — покровительственно и немного устало подсказал монах, и мы поняли, что экскурсия закончена.

— У тебя фонарик с собой? — спросил Алексей Иванович.

Точно. Как же я забыл?! Да будет свет! Сразу стало веселее. Взбодрённые светом экскурсанты насобирали шишек и, гонимые ветром, бросились в обратный путь и быстро миновали его, оказавшись у прикрытых ворот монастыря. Заметил только, что в посёлке практически нигде не было света, стало быть, люди живут хоть и за монастырской стеной, но по монастырскому уставу.

А как тихо и спокойно было за стенами монастыря: никакого ветра, тишь, благодать, яркие ночные звёзды и где-то высоко в листве тихонько перешёптывались ангелы. А кто ещё может быть в монастыре?!

Ну да, хохлы ещё. В комнатке мы застали ожидаемую картину: смиренный батюшка лежал, отвернувшись к стене, накрыв голову подушкой, братия до рассказывала анекдоты и байки, но уже с ленцой и неохотно, видно, что легли бы спать, да нас ждали, и то не из-за того, что переживали, а из любопытства.

— Чи бачили?

— У-у-у, — то ли восторженно, то ли ещё не отойдя от кровавых картин на капище высказал эмоции молодой комсомолец и шустро, словно мышка в норку, юркнул в кроватку, укрылся простышкой и тут же засопел.

— Гаси свет, — это уже нам.

Алексей Иванович щёлкнул выключателем, мы сели на свои койки, и при этом я чуть не подавил разложенный на кровати виноград, к которому, судя по всему, никто не притрагивался.

— Угощайся, — предложил я Алексею Ивановичу.

— А ты?

— У меня диабет.

— Ну и что?

— Сахарный.

— Так это ж афонский виноград. Зря, очень вкусно.

Я попробовал. И правда, вкусно. Ладно, от пары ягодок, то есть кисточек, тем более афонского, сильно хуже не станет. Завтра утром померяю сахар и узнаем, как афонский-то действует.

— А чего ты ржал над травником-то? — спросил я.

— Да представил, как ты после приёма снадобья на берёзку лезешь.

— Берёзка, между прочим — это гимнастическое упражнение.

— Ну, что ж, тоже занятно.

— Эй, вы спать собираетесь? — шумнул на нас, кажется, старший комсомолец.

Спать не хотелось. Но это, конечно, не повод не давать спать остальным. Решили совершить вечерний моцион (прогулка на капище — это приключение, а не моцион). Да и молитвы на сон грядущий не читаны. Мы взяли молитвословы и вышли на террасу. Должна же быть тут какая-нибудь молитвенная комнатка, как в Пантелеймоне.

Всё было тихо. Ни звука, только где-то высоко по-прежнему шелестели ангелы. Мы спустились вниз, решили немного пройтись по спящему монастырю, а затем на террасе, где горел одинокий фонарь, вычитать правило. Но не прошли и нескольких шагов, как увидели впереди свет. Так ярко и хорошо горела лампада, устроенная в небольшом кивоте перед иконой Божией Матери. Господь Сам решил, где нам лучше молиться перед сном, и приготовил и этот кивот со Своей Матерью, и тёплую лампаду, и мягкую афонскую ночь, и монастырскую тишину... Всё для нас, грешных.

И опять повторилось бывшее в Пантелеймоне, когда мы читали последование в маленькой келейке: нам не хотелось лишать себя молитвенного чувства, которое охватило нас. Мы снова стали вспоминать разные молитвы. Как выяснилось, знаем мы немного, скоро запас иссяк. Мы постояли ещё немного у Божией Матери и пошли в архондарик. Прости нас, Господи!

Когда мы зашли в комнату, только старший комсомолец приподнял голову и, недовольно буркнув, снова погрузился в сон. Я сунул яблоки в рюкзак, а куль с виноградом убрал под кровать. Все сегодняшние дела были сделаны, и мы блаженно уснули.

## **День пятый**

### **1**

Первым сработал будильник у тихого украинского батюшки. А может, у него и не было никакого будильника, просто, когда запиликал мой и я открыл глаза, то сразу увидел его — подтянутого, прибранного, словно он сам сейчас идёт служить. Была в нём завидная цельность. Вся вчерашняя усталость сошла с него, и батюшка светился еле сдерживаемой радостью: скоро начнётся служба и он будет предстоять Богу. Мне тоже захотелось быть таким бодрым, свежим и радостным. «Наверное, и молитвы прочитал», — позавидовал я. У нас с утреним

правилом не получалось, всякий раз надо было торопиться на службу, утешались тем, что их читают в храме.

И сейчас — только умылся, как застучала колотушка, созывая братию на службу. Вернувшись в комнату, наткнулся на недоеденный виноград и, хотя чувствовал себя хорошо (может, тут и в самом деле особенный, диабетический, виноград), решил всё-таки сахар померить. Однако в кармашке рюкзака, где лежал приборчик, рука на него привычно не наткнулась. Пошевырявшись наощупь и ничего не обнаружив, выволок рюкзак из-под кровати.

— Что потерял? — спросил подошедший Алексей Иванович.

— Да приборчик, чтоб сахар мерить, сунул куда-то...

— Найдёшь, вчера рюкзаки перекладывали, заложил, наверное.

Я перевероршил весь рюкзак — приборчика не было. Тогда стал доставать из рюкзака вещи и выкладывать их на кровать. Не было. Мистика какая-то. Ведь был же вчера, я в Кутлумуше утром мерил, точно помню.

Вдруг почувствовал, как загорелось лицо, запершило в горле, стало казаться, что у меня должен быть ненормальный и очень высокий сахар.

А колотушка стучала всё настойчивее, быстрее и быстрее.

— Не пойду я никуда, — сказал один из братии, потягиваясь на кровати. — Ить вчера уже в церкву ходили.

А двое товарищей его даже не шелохнулись.

«Где же приборчик? Неужели посеял? Что я теперь делать-то буду? Надо успокоиться. Надо в церкву идти».

Встал и пошёл, скорее, на автопилоте. Всё существо рвалось продолжить поиски, но иное возникшее чувство подсказывало, что искать бессмысленно.

«Только никакой паники, — успокаивал я себя. — Просто слишком гладко всё шло...»

Так же, толком не соображая, куда иду, вошёл в храм и встал в стасидию. Началась служба, но я не мог сосредоточиться, перебирал чётки и чувствовал, что дрожат руки.

Подумал: это испытание. Или даже не испытание, а вот я тут всё добрейшего Алексея Ивановича изничтожил за то, что он над каждым евро трясётся (а их у него действительно мало), и вот Господь лишил меня какого-то приборчика, который лишь измеряет сахар в крови, что сразу со мной стало? Где я?! Я весь затрясся, испереживался. Ну, потерял приборчик, что с того? Переживём.

«Инсулин!» — вдруг шибануло меня. В кармашке чехла приборчика лежали капсулы с инсулином. Это — абзац.

В шприцах инсулина на пару-тройку дней... В голове закружило от бредовых мыслей: то я решил, что надо срочно бежать в Кутлумуш, там я забыл приборчик и его наверняка нашёл монах с удивлённым лицом и, конечно, передал Серафиму, а тот догадается, что мы за ним вернёмся; то стал выдумывать, где можно на Афоне достать инсулин; то вообразил, что если



резко ограничить себя в еде, то инсулина может хватить до возвращения в Уранополис, а там-то куплю; то... это был вихрь будоражащих идей, разрывающих меня.

— Ты в порядке? — спросил Алексей Иванович.

— Знобит что-то.

— Не, в Кутлумуше похолодней было.

На самом деле меня трясло, как готовый взорваться от перегрева котёл.

Господи, за что же так? Да, Ты вразумляешь, да, я понял, что я — никто, а всё лезу поучать других, а сам готов рассыпаться от какого-то глупого приборчика (и инсулина, инсулина!). Господи, спасибо... но как же быть-то?..

И вдруг я чётко увидел, где мой приборчик. Это понимание пришло так просто и ясно, что я невольно удивился, как это не пришло в голову раньше. То, что я не сам догадался, а эта мысль — дар свыше, тоже было очевидно. Все бредовые идеи, появлявшиеся до этого, только терзали, а эта сразу успокоила.

Я прислушался, судя по всему, заканчивали читать часы, сейчас должны кадить — да, вот вышел монах с камильницей-чайничком и весело зазвенел по храму. А вот дьякон возгласил начало Литургии.

Теперь внутри меня всё дрожало не той разрушающей дрожью, от которой, казалось, рассыплется тело, а что-то радостное отзывалось на голоса монахов, как отзывается чистый хрусталь на лёгкое к нему прикосновение. О, как же хрупок и тонок хрусталь! Как легко разбить и погубить его! И как сладко, когда он так тихо звучит в тебе.

Подошёл Алексей Иванович.

— Время.

— Успеем.

Не хотелось уходить. Я только-только зазвучал.

— Опоздаем, — снова напомнил через какое-то время Алексей Иванович.

— Нельзя уходить с Херувимской, — я-то уже знал, что всё будет хорошо, всё будет так, как надо, и куда надо, туда и успеем.

— Пойдём, — уже решительно потянул меня товарищ.

— Погоди, сейчас «Отче наш» пропоём.

Но на Афоне не поют «Отче наш». Эту молитву читают.

— Падре...

А я пел.

— Пойдём, — наконец согласился я.

Хохлов уже в комнате не было. Я поднял с пола рюкзак на кровать и стал укладывать в него выложенные вещи.

— Лёш, глянь, там, под кроватью, не осталось чего?

Каюсь, сам я всё-таки побаивался заглянуть под кровать. Алексей Иванович почему-то послушался.

— Виноград тут остался, — пробурчал он. — Вон и приборчик твой валяется. На, вечно ты всё теряешь. Давай быстрее, может, успеем ещё... А то что потом делать-то?

А я знал, знал, что приборчик там! А что делать? Миленький Лёшенька, да какая разница!

— Куда виноград-то девать? Осталось ещё.

— А, выкинь, — я был обворожительно безпечен.

— Жалко, нехорошо как-то...

— Ну, съешь.

— Да я уж ел, не хочу больше... И правда, что ли, выкинуть? Я уже уложился, а, ладно... — и он понёс оставшийся виноград на террасу.

Я собирался затянуть горло рюкзака.

— Яблоки хоть возьми.

— Да ну их, тащить ещё... — мне сейчас ничего не надо было.

— Нет, возьми, — чего-то вдруг заупрямился Алексей Иванович. — Пригодятся.

— Ладно, — чего не сделаешь для друга. Я и виноград могу взять, жаль уже унесли — всё могу!

— Ну, с Богом, — сказал Алексей Иванович.

На площадке перед монастырём стояла газелька, вокруг неё кучковались хохлы и глядели в нашу сторону, а один, видимо, младший комсомолец, отчаянно махал руками, словно старался взлететь. Это он нам махал. Нас ждут. Молодцы!

Нет, хохлы смотрели не на нас. Я оглянулся. Из-за моря медленно поднималось солнце.

Можно ли придумать что-либо восхитительнее? Рубиновая полоса разделяла море и небо. Она расширилась, словно просыпающееся око, становилась светлее, уже появились красные тона, золотые. Наверное, только во время восхода можно ощутить невероятную скорость, с которой Земля несётся во Вселенной.

И вершина Горы, словно маяк на Земле, откликнулась восходящему светилу.

Какое действие разворачивалось!

И всё для нас, маленьких человечков, замороженно застывших возле микроавтобуса.

Даже водитель примолк, а ему очень хотелось успеть к приезду автобуса из Дафни, а ведь ещё

надо заехать на чудотворный источник.

Раковина дня раскрывалась всё больше, и вот показалась главная жемчужина, и всё обновилось ослепительным светом.

А в храме завершилась Литургия.

## 2

Батюшка, наставлявший меня дома, говорил, что на Афоне изумительно чистой вода. Кругом. И надо носить небольшую бутылочку, наполнять её и пить во время путешествия афонскую воду. Очень живительная. Бутылочку-то я носил, но так как настоящего пешего хода у нас не получалось (путь от Андреевского скита до Кутлумуша — это всё-таки несерьёзное расстояние), то бутылочка оставалась пуста. Но вот и представился случай.

Через полчаса мы съехали с дороги и поднялись в небольшой тупичок, где живенько сбегал ручеёк. Чуть повыше стояла беседка, а ещё выше — часовенка, в ней-то как раз и выходил из скалы родничок<sup>[86]</sup>. В беседке гостеприимно встречал столик, лавочки и шкафчик, в котором находилось десятка два алюминиевых и пластмассовых кружек.

Вода была действительно хороша! Мы и напились, и умылись. А солнце уже оторвалось от моря и благодатно щекотало блаженные наши мокрые лица. Ах, какая чудесная беседка! Мы сели в ней с кружками, словно с чаем где-нибудь на даче, и наблюдали за деятельностью наших спутников. Они тем временем раскрыли огромные баулы, которые, как я предполагал, набиты вещами, и извлекли оттуда тару — огромные пластмассовые бутылки литров на двадцать. Бизнесмены деловито заливали в них воду и, нисколько не смущаясь тяжестью груза, таскали ношу в автобус. Вообще-то крепкие парни. Видно, что работать умеют, вполне возможно, что первые капиталы сколачивали, перетаскивая на своём горбу тюки с товаром.

В беседку зашёл молодой комсомолец, тоже мокрый, улыбающийся, солнечный и с кружкой. Нет, мы не на даче, а как будто на водах.

— Как водичка? — спросил он. Видно было, что ему очень хорошо и он хочет делиться этим и говорить.

— Хороша!

— Восхитительна! — воскликнула он. И, пережив минуту восторга, посмотрел на стоящую рядом со мной поллитровую бутылочку. — А вы что так мало взяли? Берите больше, — и, понизив голос, доверительно сообщил, как своим близким друзьям по радости: — Эта вода очень целебна — от пьянства помогает.

И я понял украинских бизнесменов. Как нас ни дели, мы одного замеса — у наших те же проблемы. У нас ни один договор без бутылки не подписывается, так договариваться легче. Но, видать, и у них экономика пошла вверх и пора от переговоров переходить к делу — вот живая водичка и понадобилась. Мне даже представилось, что это какое-нибудь сообщество украинских предпринимателей снарядило экспедицию, а как точно подобран состав: тут тебе и батюшки, духовный и душевный, и администраторы, старший и на подхвате, и представители заказчика. Одно слово — молодцы! Бог им в помощь.

— Тебе вода бесполезна, — сказал Алексей Иванович, — ты всё равно не пьёшь.

— А я её от духовного пьянства пить буду.

— Тогда тебе этого мало. — А потом, глядя в сторону, произнёс: — А ты знаешь, курить что-то и не хочется.

Я обалдел. Не потому, что Алексею Ивановичу не захотелось покурить, а потому, что он заговорил об этом. Но я ничего не ответил. Побоялся ляпнуть что-нибудь язвительное.

Можно считать, что вода на нас подействовала благотворно.

Всё — загрузились и поехали дальше. Ещё через сорок минут водитель снова остановил автобус и, выкрикнув: «Иверон!» — соскочил со своего места, чтобы открыть заднюю дверцу багажника.

Мы тепло попрощались с братьями-славянами, рассчитались с водителем, тот выдал нам поклажу, быстро вскочил, как джигит на коня, в шофёрское седло, и автобусик исчез. Мы остались одни на берегу мурлычащего моря, со стороны которого благодетельствовало солнце, а перед нами светло-коричневой крепостью, словно вылепленный из речного песка, возвышался Иверский монастырь. За ним виднелась верхушка Афона.

### 3

Покурим? — больше утвердил, нежели спросил Алексей Иванович.

— Может, водички? — предложил я.

— Не юродствуй.

— Да нет, я так, — испугался я, что опять обидел товарища. — Кури, пожалуйста.

Алексей Иванович покосился на меня, отошёл к груде аккуратных досок и присел на одну. Неторопливо достал беломорину и закурил. В поношенной куртке, больше похожей на спецовку, рабочего вида штанах и крепких ботинках он напоминал мужика на лесоповале. И не простого пильщика, а десятника. В общем, колоритно смотрелся. Я подошёл и сел рядом. И снова подумал: как хорошо, что с Алексеем Ивановичем можно просто сидеть и молчать. Было ощущение покоя и мира. А что тревожиться-то? Приборчик с собой. Инсулин — тоже. Домой, что ли, позвонить? Да ведь сын в садике, жена — на работе. Вечером позвоню, а сейчас так хорошо быть беспечным и беспопечительным...

— Надо же, — сказал Алексей Иванович, — вот здесь ступала Богородица... Она по жребию в Иверию плыла, а бурей вынесло корабль к Афону. Она вышла и приняла эту землю под свой Покров...

Посидели, пытаюсь осознать, представить, вместить... Наверное, было такое же солнечное утро.

Утомлённые штормом путники решили сойти на берег, а Лик Божией Матери сиял радостью. Она увидела чудесную землю и знала, что Её Сын не случайно привёл сюда. Она видела, как хороша и красива эта земля, и Она знала, что это Её земля, и знала, какой любовью к Ней и Её Сыну прославится она. Поддерживаемая не оставившим Её после Голгофы Иоанном, Она сошла на афонский берег. Сзади так же ласкалось бирюзовое море, крупная галька вместо ковра целовала Её ноги, приветствовал зелёный лес, а выше всех поклонился Афон. И Она благословила эту землю. Всё так и было. Монастыря только ещё в Её честь не было.

Стоящий у самого моря в уютной бухточке монастырь более всех из виденных нами походил на

средневековую крепость с высокими мощными стенами, смотровыми башнями и узенькими окошками-бойницами — всё это наследство сурового времени, когда монастыри постоянно подвергались набегам пиратов и турок. Первым, разумеется, доставалось монастырям, стоящим у моря — вот и Иверон принял облик военной крепости.

Было боязно входить в такую крепость, казалось, стражники скрестят пред нами алебарды: «Стой! Предъяви диамонитирион!», — а ещё хуже: «Грешникам zde не входимо!».

Но никто не остановил. Нам вообще никто не попался на пути и, поднявшись по мощёной дорожке, мы прошли арку и оказались сразу на большой площади. И мир в мгновение ока преобразился: теперь эта казавшаяся с виду суровой крепость преобразилась в прекраснейший утопающий в зелени дворец.

Вот и Алексей Иванович такой. С виду суровый, неприступный, даже мрачноватый, а внутри — редкостной доброты и души человек.

В Иверский монастырь мы влюбились сразу, может, ещё и потому, что, побывав в трёх монастырях и двух скитах, теперь легко узнавали расположение строений. Вот в центре — главная церковь, по-гречески, кафоликон. Она не такая, как в Кутлумуше, более высокая, голубоватая, ближе по архитектуре к нашим церквям (или это, скорее, наши ближе), напротив, понятное дело, трапезная, чуть вбок — часовенка и, судя по всему, непростая, сам внутренний двор монастыря просторен и оттого светел, много высоких, чуть ли не в рост храма деревьев, а под ними — лавочки. И всё это солнечно, голубовато-зелено, радостно и зело прекрасно.

И, кстати, Иверский монастырь не казался таким древним, как Кутлумуш и Лавра, видимо, всё-таки и правда нападали на него чаще, чаще приходилось и восстанавливать, и строить заново.

А вот и знакомый указатель — архондарик. Мы пошли по стрелочке и уткнулись в дверь, каких ещё не встречали... Но уж это точно не следствие пиратских набегов. Это была дверь, если уж не в министерство, то, как минимум, в районную администрацию. Дверь была с двойным тамбуром, толстое стекло вправлено в массивное дерево, а на самой двери выделялась длинная жердина в качестве ручки, обрамлённая по краям всякими медными украшениями. И отворялась дверь тяжело, солидно, словно давая понять: не всяк входящий... ну, или подчёркивая нелёгкость бытия.

Внутри архондарик напоминал холл гостиницы: он был просторен, стояло несколько скамеек и пуфиков, несколько столиков, за которыми обычно заполняют гостиничные анкеты, и стоечка была, за которой должен быть администратор, принимающий анкеты и выдающий ключи, за стоечкой поднималась широкая мраморная лестница, влекущая путника, получившего заветные ключи, в апартаменты. Но ключей не было, не было и того, кто мог бы их дать, в холле вообще никого не было. Это новое обстоятельство несколько озадачило нас: мы уже начали привыкать к тому, что нам везде радуются и угощают кофе с лукумом. Лукум, впрочем, в большой плетёнке на столе против стойки администратора был, но, опять же, без кофе его много не съешь...

И мы сели в уголке, словно ожидая, что сейчас, как в восточной сказке, невидимые слуги поднесут нам кофейку и всё остальное, что полагается.

Но сказка явью становиться не торопилась. Ждать в общем-то надоело. Сначала поднялся я и пошёл изучать стойку администратора, за которой увидел огромную книгу и шкафчик со стеклянной дверцей, за которой виднелись ключики.

Алексей Иванович пошёл в противоположную сторону и скоро радостно доложил:

— Сашулька! Да здесь кухня!

И правда, это была самая настоящая кухня: с газовой плитой, на которой стояли две турки, мойкой, столами-тумбами, навесными шкафчиками, в которых мы обнаружили кофе (и в зёрнах, и молотый, и растворимый), и чашки — там ещё много чего было кухонного, но нас взволновали только кофе и чашки.

— А можно без спроса? — засомневался Алексей Иванович.

— Можно, — разрешил я. — Вари.

— А почему — я?

— Я буду на стрёме стоять.

— Если можно, то зачем на стрёме стоять?

— Для общего спокойствия.

— Эх, Сашулька, — вздохнул Алексей Иванович, доставая с полки кофе. — Опять ты меня подставляешь.

— Я потом посуду помою, — пообещал я и пошёл изучать всякие объявления возле стойки администратора.

Объявления были, разумеется, на греческом языке, но буквы-то похожи. Выходило, что в обитатели завтрака ещё не было. Впрочем, делиться открытием с Алексеем Ивановичем не стал, так как не был уверен, что вполне освоил греческий.

Напиток, скажу я вам, получился — м-м-м...

— Сколько ж ты туда кофе вбухал? — спросил я.

— Я почувствовал себя, как дома, — несколько уклончиво ответил Алексей Иванович, но обо мне позаботился: — Тебе я положил на ложку меньше.

— А ложки у тебя были столовые или чайные?

— Нормальные. А тебе, кстати, не опасно столько кофе? — кивнул он на мою с два кулака кружку, то есть, я так понял, что это были самые большие кружки, которые он смог найти.

— Всё мне можно, — сладко произнёс я и вздохнул: — Не всё, правда, полезно<sup>[87]</sup>, - и надкусил ещё лукума.

Конечно, чего мне бояться, когда инсулин со мной?

Кофе умиротворило нас.

Всё было хорошо. Всё замечательно.

— А если что, — сказал Алексей Иванович, обведя взглядом холл архондарика, — можно и здесь заночевать.

Я согласно кивнул головой.

Когда мы закончили с кофе и я выполнил обещание насчёт мытья посуды, стали появляться люди.

Судя по всему, пришла «газелька» с Карей.

В архондарик вошли три грека, которые легко определялись восточной внешностью и южной жестикуляцией, и два высоких представителя западной цивилизации, которые определялись по немножко удивлённо-испуганному виду и диковато выглядевшим здесь, на Афоне, чемоданчикам на колёсиках. Ещё запомнилась их одежда. Ничего необычного в ней, вроде бы, не было, наоборот, эта пара старалась косить под простаков, но всё было подогнано и по фигуре, и по цвету, что выглядело, как если бы солиста Краснознамённого ансамбля песни и пляски посадили в окопы.

Третью группу возглавлял крупноватый батюшка с суровым лицом, чем-то похожий на Илью Муромца с известной картины, с ним два мирянина, эти выглядели пожиже, как послушные зайцы при медведе, точнее сказать, кролики, потому что в них чувствовалась та же западная настороженность, они всё время пытались как бы спрятаться за Илью Муромца. В общем, эту группу определить не удалось.

Греки продолжали оживлённую беседу, западники опасливо перешёптывались. Илья Муромец осмотрел зал, молча снял рюкзак и молча сел напротив нас. За ним то же самое проделали кролики.

Тут откуда-то взялся молодой грек с подносом и первым, разумеется, подошёл к батюшке и его спутникам — те молча приняли подношение и за всех поблагодарил батюшка.

— Евхаристо <sup>[88]</sup>.

Так как мы сидели рядом, то следом молодой человек подошёл к нам. Я, конечно, чувствовал, что уже лишнего с кофе, но как объяснить этому улыбчивому греку, что я только что выпил в пять раз больше? Эх... Но вот рюмочку мне сегодня ещё не предлагали. Её я и хлопнул, оставив покамест кофе, и занюхал лукумом, чем окончательно выдал своё гражданство.

— А вы откуда? — голосом бывалого моряка спросил батюшка.

Наши! Как чуял! И мы с каким-то щенячьим восторгом (уж такое у нас было настроение) стали делиться радостью, которая не оставляла нас на Афоне. Батюшка слушал снисходительно, слегка склонив голову и прихлёбывая из чашечки. По ходу наших впечатлений он ронял слова, как камни в тихую воду:

— Лучший ладан в Ватопеде, но возьмите здесь розовый...

— А в Ватопеде какой лучше брать?

— В Ватопед очень трудно попасть...

...- На Гору вам сейчас идти нельзя...

— Почему?

— День короткий.

...- Здесь, в Ивероне, обязательно сходите к часовне Божией Матери.

— А как пройти?

— Через Южные ворота... там мост через речку, перейдёте и увидите...

Всякое слово его казалось глубоким и требовало размышления: где, например, Южные ворота? И потом, это умение долго прихлёбывать из маленькой чашечки показалось, несмотря на внешность и родную речь, подозрительным, и я тоже поинтересовался:

— А вы откуда?

— Из Брюсселя, — так же спокойно объявил батюшка.

Я опешил. Брюссель для меня с детства ассоциировался со штаб-квартирой НАТО. Ну, когда я стал постарше, близостью к Голландии, что тоже дружественных чувств не добавляло. Но вид у батюшки был настолько русский, что после некоторой борьбы я пожалел его:

— Как же вы там?

— Сейчас получше... Прихожан побольше стало... Но всё равно каждый год на Афон приезжаю... Здесь укреплюсь — и обратно.

Мне хотелось расспросить батюшку: каково ему там, в Бельгии, но боялся, что это будет воспринято как праздное любопытство. Да и в самом деле, разве не видно, что не сладко. Мне показалось, что и ему хотелось спросить, как у нас в России... И мы замолчали.

В это время подошёл молодой грек, разносивший кофе, что-то сказал батюшке, он поднялся, прошёл с греком к административной конторке и вернулся оттуда, держа в руках увесистый ключ.

— Приглашают на трапезу, — сказал батюшка и обратился к своим путникам, сказав что-то на совершенно непонятном языке.

У меня в очередной раз потерялся дар речи, настолько это выглядело неестественным: Илья Муромец, говорящий по-фламандски (или на каком-то ином птичьем языке). А те подхватили рюкзаки и двинулись... по большой мраморной лестнице. Это совсем привело в растерянность — а мы...

За ними следом поднялись греки, затем потянули тележки западники, противно стуча колёсиками о ступеньки.

— А мы?!

— Тро, тро <sup>[89]</sup>, - молодой человек улыбался и торопил нас, указывая на дверь.

Вообще-то с такой улыбкой не выгоняют.

— Пойдём поедим, — согласился я, хотя есть уже что-то и не особо хотелось.

— А жить где будем?

— Ты ж сказал: здесь переночуем.

— Ну, пойдём тогда, — согласился Алексей Иванович. — Вещи-то тут оставим?



— Вон под лавочку поставь, она пошире...

Когда мы вышли на улицу, я сказал:

— Мне кажется, этот парень подумал, что мы с бельгийцами.

— И что теперь делать?

Господи, сколько можно задавать один и тот же вопрос?!

Жить! Для начала поедим, — и, желая подбодрить Алексея Ивановича, пообещал: — Как-нибудь образуется...

#### 4

Трапезная в Иверском монастыре не так роскошна, как в Лавре (вместо каменных чаш — обычные столы с лавками), но так же щедра и обильна. Впрочем, была пятница, поэтому обходились постной пищей.

Алексей Иванович, волнения которого о неопределённости ночлега по ходу трапезы улеглись, допивая чай, толкнул меня в бок:

— А ведь мы этак-то, — он показал на постный стол, — и причаститься можем.

Я одобрительно кивнул, в первую очередь радуясь вернувшемуся благодушию.

Снова нам давали в конце орехово-изюмную смесь, и это был тот самый штрих, которого не хватало для полноты картины.

Алексей Иванович настолько утешился, что когда мы вышли из трапезной, нащупывая пачку «Беломора», сказал:

— Пойду за оградку схожу (так ласково поименовал он могучие стены монастыря), а ты пока разберись там, в архондарике... у тебя лучше получается.

Что у меня лучше получается? А погодка стояла... Когда мы шли в трапезную, я сказал, что стояло роскошное бабье лето, а теперь было самое настоящее лето, тёплый августовский денёк. Ни ветерка, ни облачка — природа успокоилась, ничего уже не надо, некуда спешить, некуда торопиться, всё пришло в свою пору... Ничего не изменишь, и это так хорошо понимать, что ты ничего не изменишь, да и не хочется менять, а только быть в этом чуде. Или не быть, то есть опять суетиться, дёргаться, куда-то пытаться успеть... но при этом уже знать, что всё равно ничего не изменишь... Очень благодатно было, и я не спешил в архондарик — разбираться ни с чем и ни с кем не хотелось. Когда вошёл в министерские двери — внутри снова было пусто.

Делать было нечего, я сел и уставился на стоящую передо мной корзинку с лукумом. И тут дерзостная мысль посетила меня. Я достал из рюкзака полиэтиленовый мешочек и быстро положил туда несколько кусочков лукума. Мне так захотелось сохранить что-нибудь от благостного настроения, чтобы хоть что-то вещественное осталось из этого дня. А потом — какой сюрприз будет Алексею Ивановичу, когда я сделаю ему презент где-нибудь на Казанском вокзале... Я придирчиво посмотрел на корзинку, показалось, что лукума в ней не убавилось. И я взял ещё горсточку. Уложив дары Иверона в рюкзак, вышел в августовскую благоухающую благодать. Подошёл Алексей Иванович.

— Я, кажется, нашёл Южные ворота, — сообщил он. — Вышел вон туда, а там — речка. Ну, раз речка, должен быть и мост. Логично?

— Логично.

— А ты чего здесь стоишь?

— Балдею.

— А вещи наши где?

Я выдержал паузу, чтобы Алексей Иванович мог оценить, как я учусь сдерживаться, чтобы не ляпать первое пришедшее в голову, и как можно равнодушнее произнёс:

— Где стояли, там и стоят, чего им будет-то?

— То есть ты не устроился?

— Устроимся ещё, чего дёргаться.

— Да могли бы уже к Божией Матери сходить.

— Давай сходим.

— Сначала устроиться надо.

— Давай устроимся.

— Так пошли, чего ты здесь стоишь?

— Пошли, — сказал я и, когда вошли в «министерскую» дверь, обвёл холл рукой и предложил:

— Устраивайся.

— Шутишь всё...

Алексей Иванович подошёл к администраторской конторке и заглянул за неё, словно там обязательно должен прятаться архондаричный.

— Эх, — вздохнул он, указывая на стеклянный шкафчик, — вон ключики-то висят... Взять да пойти. Может, у них тут самообслуживание. Как с кофе.

— Стыдно, чему тебя в школе учили, а потом в Институте стали и сплавов? — сказал я и понял, что до границы не дотерплю и обязательно проболтаюсь про лукум.

— При чём тут Институт? — начал было Алексей Иванович, но в это время появился благообразный дедушка в монашеском обличьи, словно сошедший с обложки «Старцы Афона».

Увидев нас, он всплеснул руками, разулыбался и залопотал что-то ласково-утешительное, при этом помахивая на нас руками, как добрая хозяйка на глупых кур, не соображающих, где насыпаны зёрна.

— Да ели мы, — сказал Алексей Иванович.

Старик снова всплеснул руками, по-детски радостно и искренне, словно перед ним и впрямь

были куры, одна из которых заговорила.

— Нам бы ключик, — снова обмолвился Алексей Иванович и показал на заветный шкапчик.

«И правда, говорящие», — казалось, говорил восторженный взгляд старца. Он умилительно вздохнул: мол, дивны дела Твои, Господи, каких чудес ни увидишь, и побрёл к конторке, ласково на нас оглядываясь и продолжая лопотать, словно и впрямь заботливая нянька над несмышлёными детьми.

Надо же, он раскрыл книгу. У старца это получилось куда торжественнее, чем у всех прочих записывающих нас, будто это поминальник, по которому он собирается служить. Он попытался что-то спросить нас на своём ласково-умилительном языке, потом напрягся и, словно сделал не очень приятную и непростую работу, выдал:

— Ху<sup>[90]</sup>?

Алексей Иванович громко и чётко, при этом неимоверно коверкая наши имена, как это и делают чаще всего русские, разговаривая с иностранцами, назвал нас. Дедушка ничего не понял. Тогда решил вступить в беседу я и произнёс вырвавшееся ранее слово:

— Райтер<sup>[91]</sup>.

Старец явно отреагировал не на само слово, а на мой голос: ба, и этот разговаривает!

Алексей Иванович пояснил:

— Русиш ортодокс.

Дедушка был в восторге.

Осмелевший Алексей Иванович решил рассказать о нашем путешествии:

— Мы — паломники. Пантелеймон, потом Кутлумуш, вот были в Лавре... Мега Лавре, — поправился он. — Идём в Ватопед, — всё это сопровождалось изумительной мимикой и жестикующей.

Алексею Ивановичу надо было не в Институт стали и сплавов идти, а в театральный. Но в концовке он сбился и закончил весьма заурядно: — Нельзя ли у вас переночевать?

У дедушки даже слёзы на глазах выступили, судя по всему, скучновато они тут живут, такого представления у них давно не было.

— Ноу Ватопеде, ноу, — еле сдерживаясь, выдавил он и достал из шкапчика ключ.

Но расставаться с нами ему явно не хотелось, и он опять стал что-то по-доброму и мило втолковывать нам. Алексей Иванович кивал, я тянул руку к заветному ключу. Дедушка же после каждой фразы повторял:

— Ноу Ватопеде, ноу, — и умилительно качал головой. Ей-Богу, так и хотелось его обнять и поцеловать, но смущало монашеское облачение.

В какой-то момент старец чуть сильнее качнул головой, качнулся и ключ, и я подхватил его.

— Евхаристо! — выкрикнул я, что означало: «Ура! Ключ у нас, делаем ноги!»

— Евлогие! — не совсем к месту выдал весь запас греческого Алексей Иванович.

Но и впрямь расставаться с дедушкой никак не хотелось, и мы сложили ладошки лодочкой. Старец легко прикоснулся к нам, осторожно и бережно, словно череп наш был по-детски нежен и он боялся его повредить. Но это прикосновение было приятно, как приятно бывает ребёнку любое, пусть даже случайное, прикосновение родителей.

— Тэн<sup>[92]</sup>, тэн, — говорил дедушка и показывал растопыренные пальцы.

Мы кивали, мол, сами видим: на ключе-то бирка есть — «десять»... и не уходили.

Наконец старец махнул рукой, отпуская нас, видимо, утомили его. И мы сразу подхватили рюкзаки и пошли по мраморной лестнице, напоминавшей парадный вход в особняке доброго московского графа, любителя гостей и балов.

— Чего он так развеселился-то? — спросил Алексей Иванович, кивая в сторону оставшейся внизу конторки.

— Ты говорящих пакемонов видел?

— Я даже не знаю, кто это.

— Вот и он — тоже.

Пройдя лестничный пролёт, на площадке сразу уткнулись в дверь с номером «десять». Открыв её, обнаружили опрятную и светлую комнату, которую так и хотелось назвать девичьей светёлкой, но были всё-таки в мужском монастыре. Вдоль стен стояло восемь застеленных коек, в углу — камин, а перед ним столик и два плетёных креслица. Икон было немного, и все небольшие. Две картины с видами Афона, висевшие на недавно побелённых стенах, были куда больше. Но особенно украшали комнату три больших окна, какие обычно бывают в больницах, через них солнце заполняло пространство, и хотелось жить. Потолки были не так высоки, как в других комнатах, где приходилось ночевать, и оттого комната казалась более уютной. Возле каждой кровати стояли тапочки. В общем, всё по-домашнему. И состояние такое, будто нынче суббота и впереди два выходных. А тут ещё и с погодой повезло.

Мы заняли две дальние от двери койки, скинули дорожную одежду и обувь, я остался в одной майке и плюхнулся на кровать. Солнышко, приласкав, погладило по щеке. Но не лежалось. Я поднялся и пошёл на разведку.

Вообще-то у меня была конкретная цель — обнаружить удобства, отличающие цивилизованные народы от милой сердцу российской глубинки.

С площадки я прошёл в коридор первого этажа. Это было длинное светлое и широкое пространство, которое никак не ассоциируется с узким словом «коридор». По бокам шли массивные (так и хочется написать «дубовые», но не знаю, из какой породы) двери, которые тоже «дверьми» называть-то неудобно, это, скорее, были некие декоративные украшения, и ум заклинивало, если начать воображать, что там, за ними. Нет, пусть лучше так и остаются в качестве декораций.

В середине пространства оказалась арка, а за ней что-то ослепительно-белое. Мне же любопытно. Боже мой! Это оказался умывальник. Одну стену занимали зеркала. Всю. В них

отражалось солнце, и комната блистала. Под зеркалами было несколько мраморных огромных раковин, монументально напоминавших, что всё-таки в Греции, видимо, раковины эти были скопированы в каких-нибудь древнегреческих банях. Да какие это раковины — это ванны настоящие! Вдоль стены напротив стояли такие же огромные раковины, это, как я помыслил, — для ног. Я тут же и омыл ноги. Отсутствие горячей воды нисколько не испортило впечатления, разве что возникшая мысль искупаться полностью отступила. Впрочем, чистому достаточно ноги умыть. Это я не про себя, конечно, так просто, вспомнилось.

Из блистающей комнаты заглянул в смежную. Несмотря на отсутствие окон и зеркал, там тоже все мраморно блистало. Ещё было несколько таких же вызывающих уважение и трепет дверей, как в коридоре. Поначалу даже было страшновато прикоснуться к их блистающим ручкам, но наглость и любопытство перевесили.

Да что же это такое?! Неужели всё это великолепие цивилизации для того, чтобы я справил нужду?!

Вернулся в комнату я малость ошалевший и некоторое время пытался эмоциями и жестами передать Алексею Ивановичу увиденное. Потом бессильно махнул рукой:

— Иди сам посмотри, — и когда он уже дошёл до двери, бросил: — Полотенце захвати, — и блаженно растянулся на кровати, погрузившись в негу, какая только может быть у человека, не отягощённого миром и его заботами.

Я слышал, как вошёл Алексей Иванович, слышал, как он произнёс: «О! Опять спит», — слышал, как, подлаживаясь под его могучее тело, поскрипывала кровать, но никак не отзывался — зачем? — и только минут через десять, когда Алексей Иванович шёпотом произнёс: «Сашулька, уж не в раю ли мы?» — так же тихо ответил:

— Кажется, да.

Ещё минут через десять со стороны Алексея Ивановича донеслось:

— К Богородице-то пойдём?

Я сподобился на неопределённый жест рукой, что-то среднее между «отстань» и «обязательно». Не думаю, чтобы Алексей Иванович видел его.

В дверь постучали. Стало быть, мы всё-таки на земле и блаженство не может быть долгим. Но оно возможно. Теперь я это знаю.

В дверь постучали второй раз.

— Да-да, — Алексей Иванович сел на кровати.

— Паракало, — благовествовал я и не стал подниматься.

Но тут же вскочил, потому что в комнату вошёл тот самый весёлый дедушка, который благодетельствовал нас светёлкой.

Старичок снова залопотал что-то приветливое и доброе. Мы кивали и, как могли, благодарили.

В какой-то момент мне показалось, что мы уже вполне нормально общаемся — так понимают друг друга старики и младенцы.

И Алексей Иванович от слов благодарности дерзнул спросить:

— А как у вас тут нам причаститься?

Вот этого старичок не понял. Алексею Ивановичу снова пришлось прибегнуть к искусству пантомимы: он задрал голову вверх (видимо, это выражало благоговение) и стал воображаемой ложкой черпать невидимые Святые Дары и класть себе в рот. Это было похоже на голодного человека, добравшегося до каши. Старичок обрадовался догадке и стал показывать на окно:

— Кэт, кэт.

Алексей Иванович посмотрел, куда указывал монах, потом на меня.

— Нет там никакого кота.

— Он тебе на кухню показывает, мол, иди покушай, если такой голодный.

— Ноу, ноу кэт, — снова обратился Алексей Иванович к старичку. — Я говорю: причаститься можно? Господи, ну, как ему объяснить?

— Евхаристия, — подсказал я.

Старичок закивал головой и стал, как мне показалось, объяснять, когда будет Литургия.

— Будем считать, что благословил, — подвёл я итог беседы, когда милый дедушка ушёл. — Ну что, пойдём к Богородице?

Возник вопрос с ключом: сдавать его или нет? С одной стороны, сдавать было некому, так как за конторкой опять никого не было, с другой стороны — а вдруг кто-нибудь ещё будет заселяться к нам, комната на восемь человек и жить тут вдвоём, казалось нам, непозволительная роскошь. Да мы и не претендовали. Решили просто: ключ не сдавать, дверь не запирать — перекрестились и пошли.

## 5

Мы вышли в Южные ворота, хотя, по большому счёту, нам было всё равно, мы просто шли без особого соображения, куда и как. Точнее, не так: нам хотелось дойти до того места, где, по преданиям, Богородица ступила на афонскую землю и где теперь стояла часовенка, а как мы туда дойдём — нас не заботило.

Впрочем, цель на какое-то время забылась — такое великолепие окружало нас. Теплынь. Ни ветерка. Я вышел в рубашке, Алексей Иванович — в пиджаке, но скоро он повесил его на руку, чем стал похож на московского парнишку шестидесятых, гуляющего где-нибудь в ЦПКиО<sup>[93]</sup>. Вокруг было зелено, и где-то слышался шелест моря.

Недалеко и в самом деле протекала речка, мы пошли вдоль неё и высокой стены монастыря и вышли к домикам, чем-то напоминавшим дом Верещагина из «Белого солнца пустыни». Один был увенчан куполом и крестом.

Здесь тропинка, по которой мы шли, раздваивалась, одна, накатанная, уходила, следуя за монастырскими стенами, влево, другая, более неприметная, продолжала тянуться вдоль реки и должна, по идее, выйти к морю. Все реки текут к морю. К морю решили идти и мы.

— А вот и мостик!

Если брать масштабы речушки — мостище, который услужливо лёг на нашем пути, как в сказках брошенное полотенце оборачивается мостом и указывает дорогу.

С середины моста, когда, оставшись на берегах, расступилась зелень деревьев, открылся изумительный вид: речушка втекала в море. И так мала была речушка, и так велико море, но всё это составляло одно безграничное целое.

За мостом тропинка свернула к морю и оборвалась, уткнувшись в гальку, но мы уже видели под горой пещерку, над которой поднималась сводчатая, выложенная из крупных камней невысокая часовенка. По преданиям, здесь пристал корабль, на котором плыла Богородица. Апостол Иоанн помог сойти Ей на берег, и когда она ступила на землю, забил источник <sup>[94]</sup>.

Спустились по лесенке вниз, потом ещё под один каменный свод, и тут среди тёмных камней и плит нас встретил лик Богородицы и под ним углубление в камне, где скапливалась проступавшая из камня вода.

Да, вода высачивалась именно из камня, каких-то видимых струй и ручейков не наблюдалось. Камень был мокр и тёмен.

В те минуты ни одна из подлых материально-исторических мыслей <sup>[95]</sup> не посмела испортить моё состояние: ни то, что Богородица после вознесения Господа ни разу не покидала Иерусалим, ни то, почему, мол, источник забил под горой, а не на самом берегу, где и полагалось первый раз ступить на землю, и прочая, прочая... Мне было так невыразимо хорошо от того, что Господь привёл меня сюда, что Божия Мать встретила и даёт пить студёную прозрачную водицу, что ангелы в округе навели такой благоговейный порядок, и жалелось только о том, что не во всём мире так. Зачем мы там, у себя, мешаем ангелам наводить порядок? Почему нам обязательно нужно какое-нибудь подобие гаишника с палочкой? Ну да, конечно, с гаишником можно договориться. А с ангелами?

Всё это я думал, когда мы вышли к морю и сели на огромное отшкуренное и отполированное морем и солнцем дерево.

В какой-то момент поймал себя на мысли, что не чувствую тела, оно ничего не значит... А кто же тогда мыслит во мне?

И тогда я сказал:

— Завтра нас ждёт трудный день, — прозвучало это легко и ни к чему не обязывающе, как будто я объявил, что завтра день филателиста.

— Почему? — так же спокойно поинтересовался Алексей Иванович.

— Господь нынче даёт отдохнуть. Так что дыши глубже.

— И что же нас ждёт?

— А Бог его знает.

От монастырской пристани отошла моторная лодка, длинная и узкая, как на сибирских реках. На корме стоял монах. Лодка, не нарушая гармонии дня, прошла перед нами и скрылась за

мысом.

Мы побрели вдоль моря к монастырю, время от времени нагибаясь за понравившимися камушками.

— О! Смотри, что я нашёл! — Алексей Иванович поднял гладко выбеленную до костяного цвета, почти идеально прямую палку с аккуратной шишечкой от сучка наверху. — Идеальный посох! — восхищался товарищ. — И надо же, и по росту как раз подходит, и по толщине, как раз в руку взять. А лёгкий какой! Нет, ты попробуй, попробуй!

Я попробовал, действительно очень лёгкий и удобный посох, и я немножко позавидовал Алексею Ивановичу. А тот радовался обрётённому посоху, как ребёнок, нашедший божию коровку.

Ну да, теперь, конечно, и покурить нужно. Опять я начинаю осуждать...

Мне вдруг показалось, что осуждаю я Алексея Ивановича не за само курение, а за то, что он курит и ловит в этом недоступный мне кайф. А я этого кайфа лишён, оттого завидую и всякий раз попрекаю.

— И ведь надо же — мы как раз завтра собрались пешком идти! Дивны дела Твои, Господи! А как же ты? — вдруг испугался за меня Алексей Иванович. — Давай и тебе поищем.

— Не, у меня дома есть...

— Как скажешь, пойдём тогда мой испытаем...

Мы обогнули монастырь и пошли вверх по дороге в Карею. Идти было легко и хорошо. Собака за нами ещё увязалась. Ласковая такая дворняжка, то забегала вперёд, то возвращалась, снова вилась у ног.

За двадцать минут мы оказались весьма высоко, и монастырь уже казался маленьким и далёким. Надо было возвращаться. Собака с грустью посмотрела на нас, мол, слабаки, и потрусил следом. Мы её успокоили, что пойдём завтра. На том и расстались у ворот монастыря.

Проходя по пустынной площади мимо кафоликона, услышали:

— Простите, а вы не подскажете, как пройти к источнику Богородицы?

Надо же! Везде найдут! Перед нами стоял высокий большеголовый смущённый человек в гражданке и рыжеватый лет тридцати батюшка, похожий, видимо, из-за отсутствия бороды, на падре из мелодраматических сериалов. Он тут же сообщил, что они только что прибыли, что они в восторге, что разместились в тридцать пятом номере, что...

— К источнику выходите через Южные ворота, сказал Алексей Иванович, — а там по дорожке...

— Спасибо. А вы с нами не сходите?

— Мы только оттуда. Хотим немножко отдохнуть.

— Хорошо-хорошо, а вы в каком номере остановились?



— Э-э... Будет развилка, вы свернёте направо и перейдёте через мостик...

— Простите, я прослушал: вы в каком номере?

— В десятом...

— Спасибо огромное, меня отец Борис зовут, может, всё-таки с нами?

— Очень приятно, батюшка, в другой раз.

— А это — Сергей. — Сергей молча протянул сухую крепкую руку. — Ну, тогда мы к вам вечером зайдём.

— Заходите, чего уж там...

И они пошли: впереди батюшка, а длинный Серёга за ним.

— Н-да, — подвёл я итоги встречи.

— Что-то уже неохота в келью возвращаться, — согласился Алексей Иванович.

— А пойдём в лавку.

Пойдём, — опять согласился он. — Денег-то всё равно нету.

## 6

Мы уже знали, что все церковные лавки размещаются сразу за главными воротами монастыря. В Иверском лавка большая и светлая, по ней можно бродить, как в выставочном зале.

Алексею Ивановичу глянулась икона Иверской Божией Матери, он снял её с полки, подошёл к небольшой конторке и тут же к ней вышел ещё один дедушка. Этот тоже добродушно улыбался, но был крупнее утреннего старичка, борода и нос у него были, как у Толстого, а глаза добрые и живые. Он тоже что-то весело заговорил, Алексей Иванович отвечал ему в своём духе: «Русия. Ортодокс»; я этот концерт уже видел и пошёл бродить по залам — лавка и впрямь была искусно перегорожена полками и стеллажами, так что создавалось впечатление нескольких комнат. После небольших икон шёл зал с иконами средних размеров, затем — больших. Тогда я просто восхищался ими, я и не думал, что каждую можно купить. Заслужить только.

Хорошо, всё-таки, когда нет лишних денег.

А вот и полка с ладаном. Я вспомнил слова брюссельского батюшки о ладане и тут же увидел надпись «Rose»<sup>[96]</sup>. Ладан был в больших длинных коробках, в каких у нас продают рулеты. Я приподнял крышку, и пахло удивительным ароматом, словно приоткрыл шкатулочку, в которой хранились лепестки цветов. Затем я приподнял крышечку со словом «Cypress»<sup>[97]</sup> и погрузился в запах хвои и чего-то ещё солёного и твёрдого. Я стал открывать другие коробочки, и разные ароматы волновали меня. Это не было наслаждением парфюмера, я представлял, как положу кусочек ладана в кадильницу перед молитвой и как аромат с Афона будет помогать мне.

На ладан деньги были, я направился к старому и малому, которые, казалось, нашли общий язык, по крайней мере, Алексей Иванович обходился без обычной жестикующей.

— Евлогите! — обратился я к батюшке.

Тот заулыбался и закачал головой: нет, простые монахи не благословляют.

Ну ладно, тогда я по подобию Алексея Ивановича начал объяснять, что мне надо:

— Ладан... Роуз... смал <sup>[98]</sup>... - жестов у меня получилось раз в пять больше, чем слов, сейчас даже невозможно помыслить, что я мог изображать и как. Розу, например.

— А! Роуз! Смал! — Монах, кажется, меня понял. — Есть! — произнёс он совершенно по-русски и переваливающейся походкой заковылял в глубь лавки.

Я недоумённо посмотрел на Алексея Ивановича.

— Дедушка-то непростой, — пояснил он. — В войну к нашим в плен попал, десять лет в России жил, потом сюда приехал. Очень русских любит. «Катюшу» поёт. Только, говорит, слова стал забывать, сам стареет, и русских мало приезжает, вот только последнее время появляться стали...

— А чего же он, немец, что ли? — с некоторой осторожностью поглядывая на перегородку, за которую ушёл бывший военнопленный, спросил я.

— Румын.

Появился дедушка, огорчённо развёл руками, но при этом излучая добродушие и участие.

— Нету смал роуз, есть биг <sup>[99]</sup>.

— Нужно смал.

Дедушка развёл руками, видать, бельгиец всё выбрал. А так не хотелось уходить от лучистого дедушки, ничего не купив.

— Возьми большую, — сказал Алексей Иванович. — Батюшкам подарить.

И то!

— Давайте, — и я попросил три большие коробки разного ладана.

Как обрадовался дедушка! И конечно, обрадовался он не потому, что монастырю пошёл доход (какой, в самом деле, доход от моих копеек?), а обрадовался тому, что может послужить. Быть полезным.

И мне тоже захотелось послужить. И я вспомнил! Вспомнил, как однажды в храме батюшка раздавал небольшие пластмассовые иконки, которые кто-то из прихожан привёз из Иерусалима. Сколько было трепета и благодарности у людей, принимавших эти маленькие святыни.

На конторке как раз и лежали такие же небольшие пластмассовые иконки Иверской Божией Матери.

— Сколько тут?

— Фифтен, пят...сят.

Я кивнул. Подумал и взял такую же стопку, где Божия Матерь изображена покрывающей омофором Святую Гору.

И как опять радовался монах! Теперь он радовался моему поступку. Он знал, что эти простенькие иконки поедут в Россию и ещё сотни душ соприкоснутся с Афоном, с Божией Матерью, с Богом.

А как я радовался! Словно великое дело совершил! А ведь и впрямь великое — о других подумал. В порыве чувств хотел было купить ещё пачку Алексею Ивановичу, но что-то остановило меня.

А монах, видимо, тоже почувствовал, что Алексей Иванович от меня может и не взять подарка, и тогда он сам дал ему иконки, не пачку, конечно, но штук десять, которые россыпью лежали у него на конторке. Потом из той же россыпи дал три иконки и мне, чтобы мы не подумали, что Алексея Ивановича как-то выделяют особо. Вообще какое замечательное чувство: радоваться за других!

Мы тепло благодарили румына, похожего на Льва Толстого, побывавшего в десятилетнем русском плену и ставшего афонским монахом, а он всё кивал нам:

— До свиданя, до свиданя. Храни Божия Матерь...

Вернулись в комнату, чтобы уложить в рюкзак ладан. Никто пока не вселялся. Ну и слава Богу.

— Для полного счастья не хватает кофе, — констатировал Алексей Иванович.

Я принёс воды, оставил Алексея Ивановича заниматься кофе, а сам отправился на дальнейшее изучение окрестностей, теперь меня привлекала другая часть коридора, та, где за лёгкими шторами скрывалось светлое пространство. Скорее всего, там было окно, но то, что открылось, когда раздвинул шторы, превзошло ожидания — небольшая лоджия, где стояли два столика и вокруг них по паре плетёных кресел. Лоджию оплетали зелёные виноградные нити, вдалеке виднелся Афон.

— Ну, каких ещё открытий чудных сподобился? — поинтересовался Алексей Иванович.

— Там... там... — я снова не мог подобрать слов, наконец выдал: — Там даже пепельница есть.

— Ну, что ж, сейчас кофе попьём и посмотрим, — Алексей Иванович сидел в креслице у камина и, конечно, ему казалось, что лучшего места быть не может.

— Мы там попьём.

Я подхватил обжигающую руки чашку и через минуту был уже на лоджии. За одним из столиков сидел молодой человек и покуривал тонкую сигаретку. И меня нисколько не расстроило, что кто-то ещё оказался на чудесной лоджии — счастья, когда оно полное, хватит всем. К тому же, когда появился Алексей Иванович со своей чашкой, застыл на некоторое время от открывшейся картины, потом сел и бросил на стол «беломор», молодой человек исчез.

Мир и покой пребывали на маленькой лоджии, виноградная лоза укрывала наши лица, рядом с нами на белом столе лежал луч солнца, перед нами раскрылась красота и величие мира. Мы

блаженствовали. Ничего не хотелось, и я точно знал, что в Его воле было дать мне это умиротворение, и как бы я ни старался и ни желал подобного в земной жизни, мне никогда своими силами не добиться такого же состояния.

Я вдруг понял, что счастье — это отсутствие желаний. Кроме одного — быть с Богом. Быть в Его воле.

— Надо запомнить это на всю жизнь, — произнёс Алексей Иванович, и далее прозвучало почти как клятва: — Где бы я ни был, чтобы со мной ни случилось, я всегда буду помнить эту минуту. Это то, ради чего стоит терпеть на земле. Послушай, неужели мы в самом деле в раю? Или нет, это лишь краешек, преддверие его...

Минута прошла... Сколько она длилась?

— Скоро на службу, — сказал я.

— Кофе остыл, — ответил Алексей Иванович.

Мы блаженствовали ещё некоторое время, но уже по-земному: отхлёбывали кофе, Алексей Иванович курил, я что-то рассказывал...

Но земное время имеет счёт — пора собираться на службу.

7

В Иверском служба началась, как обычно, перед завесой в храм. Но когда завеса открылась, мы не прошли внутрь, а вышли из притвора и за монахами направились к небольшому храму, стоящему чуть поодаль, который мы сначала приняли за часовенку. Бог весть каким чувством, но мы то ли догадывались, то ли надеялись, что именно здесь хранится Иверская икона Божией Матери, по преданию, приплывшая сюда по волнам<sup>[100]</sup>.

Но что наши ожидания и надежды! Они мизерны по сравнению с тем, как одаривает Господь!

Я долго подбирал, какое слово написать первым, чтобы точнее передать чувства, когда мы вошли в храм. Но что все эти «ослепительные», «блистающие», «поражающие» и прочие восторги — они только подчёркивают скудость моего языка. Было так. Мы вошли, и сразу — это даже была не мысль, не чувство, а то, что входит в тебя не через органы восприятия и осознания, а иным способом — сущность: вот Она!

И уже потом, когда, поднявшись с колен, я смог смотреть на Неё обычными человеческими глазами (это, как на солнце, даже сквозь тёмные очки на него невозможно поначалу смотреть, а после прищуриваешься, привыкаешь), когда вслед за всеми приложился к Образу, тогда зароились в голове все эти «ослепительные» и «поражающие».

Началась, вернее, продолжилась служба. Читался акафист Богородице.

Храм небольшой, но и народу не так уж и много, человек пятнадцать монахов да и мирян с десяток. И Богородица! Дело в том, что так искусно установлен поднимающийся чуть выше человеческого роста киот, в котором находился Образ, так слегка повернут в округлом храме, что не покидало ощущение: Богородица стоит вместе с нами, молится, полуобернувшись к алтарю и к нам, молящимся<sup>[101]</sup>.

Один из самых чудесных акафистов в моей жизни. Каково молиться, когда Божия Матерь зримо стоит рядом. И сама служба шла, как одно дыхание. Чудесный и сильный голос чтеца, со всеми византийскими переливами, то просил, то вдруг спохватывался: как такое ничтожество — человек, может дерзать просить? Благодарить надо, благодарить — и вот уже радость благодарения взбирается на высокую ноту, и тут снова прорывается просьба — всё-таки мы — люди и редко кому удаётся удержаться на той высоте, куда забирался голос чтеца.

Я с благодарностью взгляделся в монахов, стоящих за правым клиросом, как раз напротив Богородицы — ба! — читал-то как раз тот самый старичок, который выдавал ключи от гостиничного номера. Вот тебе и дедушка! Да он тут у них, видать, чуть ли не главный! Я слышал, что чтение самых значимых мест службы на Афоне доверяется самым уважаемым старцам или особо уважаемым гостям. А что может быть почётнее в Иверском монастыре, чем чтение акафиста Иверской Божией Матери?! Вот и рассудите, что за дедушка определил нас нынче на жительство.

Конечно, правильнее сказать: Господь определил через ангела Своего.

Но пусть будет дедушка.

Когда в конце службы подходили ещё раз прикладываться к Образу, я обратил внимание, как много украшена Царица приношениями и дарами от благодарных людей, получивших от Неё помощь. Сотни золотых нитей (а нити по окладу почти в размах рук), колец, крестиков, кулонов. Пресвятая Богородица, помилуй нас! Нет у нас ни колец, ни кулонов, чтобы принести Тебе! Только сердце. Но Ты скажешь: не Мне, а Ему. Но разве чисто моё сердце? Разве не исходят из него злые помыслы, прелюбодеяния, кражи, обиды, хуления <sup>[102]</sup> — да мало ли...

Пресвятая Богородица, очисти моё сердце! Сделай его даром непостыдным!

Выходили мы из храма притихшие и благоодушевлённые.

## 8

Затем трапеза. Строго постная, то есть без рыбы, разносолов и вина, с обилием морской зелени, очень понравившейся Алексею Ивановичу, и земных фруктов, на которые налегал я. В общем, всё устроено так, чтобы мы молились, не обременённые тяжестью в желудке и мыслями, где бы чего перекусить. В меру.

Начало темнеть. В Иверском монастыре много времени остаётся на ночную службу, поэтому начинается она раньше, чем в других монастырях, но у нас всё равно было часов шесть, как раз успевали вычитать каноны, последование и поспать. О чём мы и сообщили подошедшим после трапезы отцу Борису и Сергею.

— А вы что, причащаться собираетесь? — искренне удивился отец Борис.

— Если Господь допустит...

— А у кого исповедовались?

Мы рассказали о греческих правилах на этот счёт, а так как в данный момент находимся на их территории, то и руководствуемся местным уставом.

— Лихо! — то ли одобрил, то ли возмутился батюшка.

В общем, вечерняя прогулка по монастырю сорвалась. Мы даже на чудо-балкончик не пошли. В комнату к нам никого не подселили, и мы принялись за правило.

Можно было бы переходить к следующему дню, как обнаружилось неожиданное обстоятельство, несколько подпортившее концовку.

Мы уже читали третий канон, когда я вдруг почувствовал, что Алексей Иванович как-то несвойственно ему занервничал. Зажав пальцем место, где читал, я оторвался от молитвослова и укоризненно-вопросительно посмотрел на товарища. Тот глазами указал на угол, в котором стоял обретенный ныне посох.

— Смотри, — зловещим шёпотом произнёс Алексей Иванович.

У меня аж мурашки пробежали, настолько у него естественно получилось передать состояние страха, но, ей-Богу, ничего, кроме палки, стоящей в углу, я не увидел.

— Встань на моё место.

Встал. И когда немного сместился угол, увидел тень, которую отбрасывал сучковатый верх палки — это была змея, раздувшая щёки и готовая прыгнуть на нас. Мурашки снова пробежали по телу. Я попробовал взять себя в руки — всё-таки перед нами всего лишь палка, но кто его знает, как оно бывает тут, на Афоне. Возомнили — то Богородица с нами молится, то причащаться лезем чуть ли не каждый день...

— Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, грешных!

Алексей Иванович опустился на кровать и обхватил голову руками, казалось, он вот-вот заплачет.

— Ну, что я за идиот! — стонал он. — Ведь говорил же мне батюшка, говорил: ничего без благословения не делай на Афоне, даже палки не поднимай. Я же всё видел. Всё знал. Ведь предупредил же специально, а я что? Идиот! — И подскочил: — Её надо вернуть на место. Срочно. Пойдём со мной! — Даже мурашки перестали бегать по телу и в ужасе замерли. — Ладно, сам схожу, — пожалел Алексей Иванович. — Где у тебя фонарик?

— Да куда ты пойдёшь? Ворота уже закрыли.

Алексей Иванович снова сел на кровать и растерянно развёл руками:

— Так что же делать? — и я на этот раз не оскорбился вопросом.

— Дальше последование читать.

— А с этой как быть?

— Не обращай внимания.

Мы взяли молитвословы, но прежнего лада не было.

— Не могу я так, — сказал через некоторое время Алексей Иванович. — У меня такое чувство, что она на меня вот-вот кинется.

Мне самому было тревожно.

— Ну, положи её на пол.

— А ты не положишь? А то я что-то того... нехорошо мне от неё.

Я покосился на палку.

— Сам приволок — сам и разбирайся.

— Вот всегда так, — заворчал Алексей Иванович, — нет, чтобы помочь товарищу.

Он бочком подошёл к палке, словно к оголённому проводу, быстро перекрестился и схватил вытянутыми руками, словно это и впрямь была змея, под горло и ближе к хвосту.

— Дверь открой, — приказал он.

Я поспешно подбежал и открыл дверь.

Алексей Иванович вышел, неся на вытянутых руках палку. Скоро вернулся, повеселевший, и доложил:

— Я её под лестницей положил, завтра вынесу. Давай читать.

Пошло и в самом деле легче, а вскоре я и забыл про палку. И только когда Алексей Иванович, укладываясь в кровать, похвалил себя: «Хорошо, что я её вынес, а то бы не уснуть», — неприятно поёжился. Но, в общем-то, я его толком и не слышал, потому что первым разделся, первым лёг и уже засыпал.

## День шестой

### 1

Служба начиналась в два часа по гражданскому времени. В общем-то, раньше так и служили — всю ночь. А здесь ещё обязательное афонское правило: причащаться Святых Тайн до восхода солнца. Это была, наверное, самая продолжительная служба на Афоне, но никакой тяготы, тем более, снова и снова открываешь что-то новое. Сначала внешнее, потом — в себе.

Пока я вижу внешнее — большой просторный храм, который от того, что не много монахов и поклонников, кажется пустоватым. Все прошли в храмовую часть, которая просторнее, чем в других монастырях, и оттого чётко видны округлые стены, вдоль которых помещается около двадцати стасидий, ещё несколько стоит вдоль западной стены. Получается так, что полукружия стасидий стоят за клиросами и ты оказываешься в непосредственной близости от ведущих службу монахов и сам становишься непосредственным участником. К тому же, было на удивление светло, никаких теней, полутонов, и меня нет-нет да и подмывало сделать шаг и заглянуть в книги, по которым читали монахи. Впрочем, у меня есть свои записочки.

Я уже говорил о впечатлении, которое произвело на меня греческое пение. Добавлю, что это, кажется, и не пении вовсе, а разговор с Богом.

«Наш дедушка», как мы прозвали полюбившегося нам монаха, пел за правым клиросом с двумя другими монахами. Но как такового клироса в нашем понимании (отгороженного от храмовой части) не было — никаких стен и перегородок. А зачем? Ведь это общая служба, а на клиросах — запевалы, А как подпеть хотелось! Жаль, слов не знаю. Душа пела. И когда уже всё устремилось к горнему, когда чувствовалось, что вот-вот начнётся самое главное, служба вдруг

прервалась и все куда-то пошли.

Я недоумённо переглянулся с Алексеем Ивановичем, но куда все, туда и мы. И только вышли из кафоликона в тающий утренний сумрак монастырского двора, как я понял, куда идём — саму Литургию переходили служить в Богородичный храм.

Храм оказался почти полон. И Богородица снова молилась с нами. Если для меня вчера это явилось откровением, то теперь, как только я понял, что переходим в Богородичный храм, я готовился служить вместе с Нею.

И снова небывалый внутренний подъём, всё в тебе устремляется ввысь, до дрожи... как ракета перед стартом.

И было причастие.

Мы вышли из храма. Я видел, как солнце касается верхушки Афона, но каким-то иным зрением; на самом деле чёрная туча обволакивала Малый Афон в монашескую мантию и ветер трепал её края, как грозное предупреждение супротивной стихии.

— Буря! — воскликнул я. — Скоро грянет буря!

Алексей Иванович вспомнил другое:

— Илеос! — и метнулся в храм.

Я последовал за ним. А там словно ждал нас «наш дедушка», который заулыбался нам, как старым знакомым.

— Илеос! Илеос! — заклинал на разные голоса Алексей Иванович.

Я пояснил подошедшим на необычное представление отцу Борису и Сергею:

— Это он маслица просит, — и наставительно дал поучение как опытный паломник (а что — я уже на Святой Горе пять дней): — Тут, на Афоне, всё просить надо.

— Нам бы тоже маслица, — попросил отец Борис.

— Вставайте рядом, — разрешил я.

Монах тем временем вынес нам из алтаря такие же, как и в других монастырях, флакончики с маслицем, только цвет масла опять отличался. Я, приняв флакончик и сказав «Евхаристо», указал на соотечественников:

— Это с нами.

Дедушка покачал головой: мол, вот, дети малые, ничего сразу сказать и сделать не могут, пошёл снова в алтарь. А когда он одарил маслом и наших новых знакомых, Алексей Иванович сообразил первым:

— Евлогите!

И я вновь почувствовал лёгкое прикосновение руки.

— Как вас зовут? — спросил Алексей Иванович.



Монах улыбался.

— Нейм! Ю нейм?<sup>[103]</sup> — требовал мой товарищ.

«Имя! Имя, сестра!» — вспомнил я эпизод из популярного фильма<sup>[104]</sup>.

— Как ваше имя? — продолжал напирать Алексей Иванович и в конце концов привёл самый веский аргумент: — Мы за вас молиться будем!

Старец всё понимал и, улыбаясь, покачал головой:

— Павлос, — произнёс он и ещё раз благословил.

С тем и вышли. Отец Борис с Серёгой от нас не отставали, видимо, то, как мы добывали маслице и обещали молиться за старца, произвело на них впечатление.

— А вы куда дальше пойдёте? — почти робко спросил отец Борис.

Алексей Иванович хмыкнул и прибавил шагу, а я, приостановившись, попытался не показаться невежливым:

— Вообще-то нам очень хотелось попасть в Ватопед.

— Эх, нам бы тоже в Ватопед!

Я понял, что оставшиеся дни на Афоне под угрозой.

— Вряд ли нас там примут — у нас диамонитирионы сегодня закончились, мы теперь вне закона. Могут арестовать по дороге и выслать, вы ещё, чего доброго, пострадаете.

— А как же вы?

— Ну, по дороге, даст Бог, зайдём в скит, но толком сами не знаем, где он расположен, так что придётся долго искать по лесам, а там звери всякие, змеи...

— А нам сказали, змеи спят...

Так, люди ни шуток, ни намёков не понимают.

— Вы сходите лучше в Лавру, там интересно, — и я рассказал про капище, — и Гора совсем рядом. А ещё там есть травник Николай — он, если что, поможет.

Последний довод, видимо, оказался самым убедительным, и отец Борис заколебался.

— В Лавре надо обязательно побывать, — продолжал давить я, — всё-таки от неё пошли монастыри на Афоне.

— Отец Борис, пойдёмте в Лавру, — тихо и уверенно произнёс Сергей, и я с благодарностью посмотрел на него.

— А как туда добраться? — спросил отец Борис.

Я рассказал про маршрутки и заверил, что они обязательно поедут, как только придёт автобус из Дафни в Карею.

— Здесь и пешком недалеко, часа два, — наставил я напоследок и, заметив, как Алексей Иванович семафорит мне от «министерской» двери архондарика, пожелал соотечественникам доброго пути.

Может, ещё встретимся, — не стал совсем уж прощаться отец Борис, а Серёга просто пожал руку — крепкая у него рука.

## 2

В комнате Алексей Иванович встретил меня весело, словно на демонстрацию сходил.

— Отнёс, Сашулька, я палку. Прямо на то же место положил. Пусть лежит себе, гадюка. — И тут же поинтересовался о главном: — Ну, что?

— Отправил в Лавру.

— Молодец!

— Всё равно нехорошо как-то. Сам не знаю, почему люди к нам привязываются. А потом за них же переживать начинаешь. Где вот сейчас Саньки?

— Да, — согласился Алексей Иванович, — я бы Саньков тоже сейчас повидал. Но минут на пять. Мы вдвоём собирались идти, вот и пойдём вдвоём. Если хочешь, конечно, можно и этих взять, только развлекать дорогой ты их будешь. Можешь им про капище, например, рассказать.

— Рассказал уже. Слушай, а может, это Господь их посылает, а мы отталкиваем?

— Нет, Сашок, это подобное тянется к подобному. Они видят, что ты любитель потрепаться, вот и им поболтать охота. Хотя, второй-то, длинный, кажется, не такой.

— А ты чего со мной пошёл? — обиделся я.

— А я все твои сказки знаю. Ты мне много не соврёшь.

— Это, выходит, ты меня, вроде, воспитываешь?

— Угу.

— А я почему тебя воспитывать не могу?

— Почему же, можешь — воспитывай.

— Курение — это каждение бесам.

— Тьфу ты, опять за своё. Я и так мало курю. Сегодня вообще только одну папиросу.

— То есть я на тебя положительно влияю?

— Особенно когда молчишь.

— И то слава Богу, — заключил я. — На трапезу пора.

Возле трапезной, когда стояли под сенью могучих кипарисов, к нам подошёл отец Павлос, как всегда, улыбающийся, светлый и что-то всё пытался растолковать нам. И, наверное, именно в

эту минуту я более всего пожалел, что не знаю греческого. Отец Павлос дал нам каждому по небольшому плетёному чёрному комочку, откуда торчал малюсенький нитяной кончик. Мы так и не поняли, что это, но искренне и с чувством благодарили, да уже только то, что греческий монах обратил на нас внимание и решил, что мы достойны подарка, было не просто приятно, а неожиданно и оттого во много крат радостнее.

Когда вернулись после трапезы в комнату и стали разглядывать маленькие подушечки, немного напоминающие крест <sup>[105]</sup>, подаренные отцом Павлосом, Алексей Иванович произнёс:

— Отец Павлос, кажется, нас полюбил.

— Ну так ты ж за него молиться обещал.

— Всё-таки тебе лучше молчать, — решил Алексей Иванович.

— Согласен, — вздохнул я.

— А мне не курить, — продолжил Алексей Иванович и покосился на меня. Я молчал. — По крайней мере, часа два. — Он снова посмотрел на меня. — Ладно, можешь разговаривать.

В комнату зашёл молодой послушник с ведром и шваброй. Всё понятно — нам пора. Подхватив рюкзаки, спустились по мраморной лестнице, прикрыли «министерскую» дверь, прошли мимо стройных кипарисов, поклонились кафоликону и Богородичному храму и вышли из ворот монастыря.

Минут пятнадцать посидели в большой беседке у монастырских ворот, привыкая к состоянию незащитности, за мощными стенами монастыря было покойнее. А на небе тучи (вот, не дай Бог, ещё привяжется дурацкая песенка — молитвы надо читать), Малый Афон закрыло полностью. Ветер не находил себе покоя, метался — то тучи терзал, то вспенивал море.

— Дождевики надо приготовить, — предложил Алексей Иванович. — Хоть какая-то защита.

Я посмотрел на море, на тучи — дождевики не спасут.

— Это даже хорошо, что под дождиком пойдём, — решил приободрить я Алексея Ивановича, да и себя тоже. — В жару идти тяжело, потеешь, натирает всё в непотребных местах... А тут по холодочку бодренько пойдём, — и всё-таки не удержался и пропел: — А тучи, а тучи — они как лю-юди!

Алексей Иванович посмотрел на меня как на слегка тронувшегося умом и вздохнул:

— Нет, нельзя нас на свободу выпускать. У нас крыша ехать начинает. Покурим?

Я кивнул. Не то, чтобы идти не хотелось или было страшно из-за надвигающейся непогоды, но неизвестность тревожила: куда идём? Как пойдём? Конечно, у нас есть опыт многодневных крестных ходов, но тут — Афон, тут всё не как у людей.

Потом нашли ещё дело: переложили рюкзаки так, чтобы дождевики находились под рукой.

Затем снова стали разглядывать подарки отца Павлоса.

— Может, надо за ниточку потянуть? — предположил я.

— Не надо, — остановил Алексей Иванович, — разшебуршишь всё. — И, определив: — Это нам вместо оберега, — убрал крестообразные подушечки за пазуху, к сердцу.

Я сделал то же самое.

### 3

Сколько можно сидеть в беседке и ждать у моря погоды? В конце концов, с нами Бог и благословение отца Павлоса.

Перекрестились и пошли, и ни разу, пока поднимались в гору, не обернулись на монастырь. Только когда дошли до поворота, который скроет от нас так чудесно принявшую обитель, остановились и, повернувшись к монастырю, помолились Богородице. И все тревоги улеглись, вернулось чувство, что всё будет хорошо. И ветер притих. Впрочем, мы как раз обогнули гору.

И сразу открылся монастырь Ставроникита <sup>[106]</sup>, будто Иверон передал ему дальнейшее наше водительство. Если Иверон стоит в бухточке, то Ставроникита — на скалистом мыске, и пока спускались с горы, любовались картиной: кругом бьются волны, а монастырь, словно поднявшийся из морских пучин витязь, противостоял стихии.

Но тут случилась заминка: дорога, по которой мы шли, раздвоилась. Накатанная поднималась вверх, а больше похожая на просёлочную уходила вправо, в сторону Ставроникиты. Ясно было, что к нему она и ведёт, но при всей манящей красоте Ставроникита в наши планы не входил. Хотя, что такое наши планы, может, это Господь нам дорожку указывает, чтобы в грозовой день по горам не гуляли.

— Ну? — спросил Алексей Иванович, словно я отвечал за маршрут.

Не дав продолжить надоевшим интеллигентским вопросом, я быстро предложил:

— Пойдём направо.

— Аргументируй.

— Дорога вверх — это дорога в Карею, а нам надо идти вдоль моря, вот она и есть. Судя по всему, ходят по ней мало, но ходят же. И потом — сказано: ходите правыми путями.

— Логично, — согласился Алексей Иванович.

Мы свернули на просёлочную, уйдя тем самым в небольшой лесок, в котором сразу возникло ощущение осеннего подмосковного леса. Даже грибами запахло.

Тут и дождь пошёл. Тихий такой, родной. Мы надели дождевики, но больше, конечно, укрывал лесок. Дорога снова раздвоилась.

— Ну? — снова спросил Алексей Иванович.

— Теперь пойдём прямо, ибо сказано: сделайте прямыми пути Господу <sup>[107]</sup>.

Алексей Иванович покачал головой. Я пояснил:

— Вон указатель стоит, по-русски же написано: «Ставроникита». Так мы же не туда идём.

— Во-первых, не по-русски, а по-гречески, а во-вторых, та дорога — ближе к морю.

— Пойдём прямо, — я сказал так решительно, что Алексею Ивановичу ничего не оставалось, как скорбно вздохнуть и следовать за мной.

Между тем прямая дорога скоро пошла влево и подниматься вверх стало тяжелее, зато, когда поднялись и оказались на небольшой полянке, я нашёл повод приободрить Алексея Ивановича, а заодно и себя:

— Видишь, Ставроникита остался позади, значит, мы правильно идём.

Алексей Иванович снова покачал головой, и тут дорога опять раздвоилась.

— Молиться надо начинать, — изрёк Алексей Иванович правильную мысль, только немного мрачновато у него получилось.

Дождик, кстати, почти прекратился, впрочем, мы, поднимаясь, и без него основательно взмокли.

Я взглянул на дорожку (тропинкой не назовёшь, дорогой — тоже, в общем, что-то среднее), уходящую влево, потом сделал несколько шагов по тропинке, загибавшейся вправо, и воскликнул:

— О! Конь!

— Где?

— Да вон!

Метрах в двадцати по дорожке стоял хвостом к нам молодой гнедой жеребчик и, повернув голову, смотрел на нас.

— Настоящий, что ли? — после долгой паузы спросил Алексей Иванович.

Конь, словно услышав, обидчиво фыркнул и замотал головой. А потом сделал три неспешных шага вперёд и снова, обернувшись, посмотрел на нас.

— По-моему, он нас за собой зовёт, — предположил я.

И конь снова словно понял, о чём говорим, мотнул головой (а мне показалось, кивнул) и сделал три шажка.

— Пошли, — сказал я, и чтобы придать рациональную основу своему решению, пояснил: — Куда-нибудь да он нас выведет.

И мы пошли за жеребчиком. Это были замечательные минут двадцать пути. Мы шли по неширокой извилистой дорожке, жеребчик шёл впереди, доходил до поворота и поджидал нас, заходил за поворот и снова ждал, заметив, что мы идём за ним, шёл дальше.

За жеребчиком шёл я и пытался с ним разговаривать, типа: «Тебе хорошо без рюкзака, вон как скачешь... Подожди нас. Куда нам теперь?.. Налево? Ты не бойся, чего поскакал-то? Может, понесёшь рюкзакишко... Тебя как звать-то?» В общем, вполне мирная беседа. Но жеребчик ближе чем на двадцать метров меня не подпускал, а я уже перестал обращать внимание на то и дело ответвляющиеся тропки и шёл строго за поводырём. Алексей Иванович замыкал колонну

и, судя по пыхтению, молился.

И вдруг жеребчик пропал. Я невольно растерялся — так хорошо было идти за ним и разговаривать. А тут перед нами оказался шлагбаум и вдоль дорожки появилась отгораживающая металлическая сетка. Но меня не занимало ни то, ни другое, я оглядывался по сторонам, пытаюсь сообразить, куда мог подеваться провожатый. Алексей Иванович тем временем смело полез между сеткой и шлагбаумом, и я услышал торжествующий голос:

— А вот и Карея!

Я поспешил за ним. Мы оказались на укатанной широкой дороге, по которой позавчера ехали в Лавру, а перед нами километрах в трёх виднелась в дождевых облаках Карея.

Но куда делся жеребчик?!

Выходило, что мы, прогулявшись по лесу, срезали часть пути, по которому ходят маршрутки. Теперь между нами и Кареей лежала пропасть. Ну, не пропасть, просто Карея находилась на одном горном гребне, а мы — на другом, поменьше. И другой дороги, кроме той, на которую вышли, не было. И слава Богу!

И тут я почувствовал, что мне поплохело. Всё-таки часа полтора мотались по горам с рюкзаками, и сахар, который всё это время не давал о себе знать, резко скакнул вниз, я почувствовал лёгкую дрожь словно вот-вот готового рассыпаться организма. Закололо кончики пальцев, кровь стала отходить с лица: всё-таки тело наше — вещь хрупкая и ненадёжная.

Я опустил на обочину — надо срочно чего-нибудь съесть, а у нас никакой еды... Сколько раз говорили врачи: носи с собой всегда кусочек сахара или конфетку. Лукум! Я же набрал лукума. Так и придётся раскрывать подарок.

— Тебе плохо? — спросил Алексей Иванович.

— Передохнуть надо.

— Водички попей.

— Мне бы съесть чего-нибудь.

— Яблоко съешь.

— Откуда у нас яблоко?

— От трапезария. Да не одно, а четыре.

О, мудрейший из мудрейших трапезариев! Нет, ничего на Афоне просто так не бывает. Во всём Промысел. Только не отказывайся. А мы и не отказались — вот они, яблочки-то! О, трапезарий! Дай Бог тебе здоровья и всем твоим болящим, становящимся на «берёзку». Я грыз сладкое яблоко и не знал, как благодарить: столько уже чудесного случилось!

Конечно, мне могут возразить: какое же это чудо, если оно у тебя в рюкзаке лежало? Но для меня и яблоко было чудом! Как и весь Афон.

— Пошли! — бодро призвал я Алексея Ивановича.

— Куда?

Вперёд! День только начинается.

#### 4

Нас догнала полупустая газелька и слегка притормозила. Я махнул рукой: мол, спаси, Господи, мы уже сами идти можем. Машина дала газу и скрылась за поворотом. А мы на повороте как раз увидели очередной указатель. Надо сказать, что указатели носят на Афоне весьма условный характер, это не привычные дорожные знаки, а стрелочки, которые надо ещё и приметить. Обычно это небольшая палочка высотой полметра, к ней чаще всего прикручена, а реже прибита, дощечка, на которой посыпавшимися буквами поди разбери ещё, что написано. Но тут на повороте стоял настоящий, можно сказать, евросоюзовский, новенький указатель, словно его только что специально установили для нас. Металлический столбик с прикрученной на нём железной табличкой чётко объяснял, что ежели мы направо пойдём, то попадём в Ильинский скит, а недалеко от него должен быть и Ксилургу. Дорога, правда, пошла не столь симпатичная. Это была широко расчищенная бульдозером трасса, которую заасфальтировать ещё не успели, и передвигаться по размякшей глине было неудобно. Мы пошли по тропочке, тянувшейся вдоль бульдозерного пути. Видимо, раньше тропочкой монахи и пользовались.

Ветер разбушевался, и пока мы недолго шли на открытом участке в виду Карей, он изрядно истрепал наши дождевики, раздувая их то в одну, то в другую сторону. Хорошо хоть дождик прекратился, и только порыв ветра нет-нет да и сыпал в лица, словно батюшка кропилом, небесную влагу.

Широкая дорога, впрочем, скоро кончилась, упёршись в каливу, с которой открывался великолепный вид на волнующееся внизу море. Сама калива никаких признаков жизни не подавала. Мы пошли по тропиночке дальше, и через двадцать минут перед нами открылась великолепная картина: в небольшом межгорье красовался величественный собор, чем-то напоминающий новый храм в Дивееве.

— Может, это не скит? — усомнился Алексей Иванович.

— Скит, другого тут не должно быть. И тоже, скорее всего, раньше нашим был: во-первых, здоровый, во-вторых, красивый, а в-третьих, в честь Ильи, а Илья на Руси весьма почитаем <sup>[108]</sup>.

Через десять минут мы проходили через невысокие скитские ворота. Сам скит по территории оказался весьма небольшим, вернее, небольшой была площадь между зданиями, которые образовывали стену, и собором. Я всё называю скитский храм собором, потому что другого слова к этой прекрасной пятиглавой церкви подобрать невозможно. А какое великолепие ожидало нас, когда мы, грязные и промокшие, вошли внутрь! Такого просторного и высокого храма мы ещё на Афоне не встречали. По широте и свету это был типичный русский храм. Без деления зала, с огромным, во стену над царскими вратами, типичным русским иконостасом — всё своё, родное. Разве что стасидии смотрелись в нашей обстановке несколько непривычно. Впрочем, стасидии были новенькие, появились, чувствуется, тут недавно и больше походили на бедных родственников.

Мы, очарованные храмовым великолепием и очевидной рускостью, стояли у входа. Пройти дальше ещё не позволяло собственное недостоинство этой красоты и величия. К тому же, сейчас оно выражалось совершенно явственно — вид у нас был промокший и потрёпанный, с одежды капало, а ботинки, как пред входом мы ни счищали старательно налипшую грязь, всё равно оставляли следы. А в храме шла уборка.

К нам подошёл монах средних лет и, улыбаясь, спросил:

— Русия?

Ну как они нас узнают?!

Пришлось признаваться. Хотя что в этом плохого?

Монах заулыбался ещё приветливее и заговорил на слабо понятном, но русском языке. Наверное, когда-то ему приходилось общаться с русскими, может, жили в одной каливе, Бог весть, но церковные слова «икона», «алтарь» он произносил без акцента, а вот светские — хуже. Но поняли: храм и в самом деле построили русские. Русские же его и благоукурасили, какой-то адмирал вывез в восемнадцатом году из Одессы иконы, церковную утварь и всё передал именно в этот скит. Монах показал нам памятную доску об этом событии. С ним мы обошли храм и приложились к иконам, в том числе и на царских вратах — и почти все иконы русские! Это видно и по светлому письму, и по знакомым ликам. Но сейчас скит повторил судьбу Андреевского скита: русских там не осталось и он перешёл к грекам.

Ещё выяснилось, что монахов тут мало, а к ним должна вот-вот приехать какая-то, ну, очень большая делегация и принять они нас в связи с этим, к глубокому сожалению, не могут.

— Звонить надо, звонить <sup>[109]</sup>, - сокрушался монах. — Мы очень любим Русию, а так никак не можно.

Ну, мы, собственно говоря, и не собирались у них оставаться, мы в Ксилургу шли.

Услышав про Ксилургу, монах искренне обрадовался и уважительно закивал головой.

— О, падре Николас!

А как, кстати, пройти до Ксилургу?

— Кареес, на Кареес, там садись машин.

Мы опешили.

— Да мы только мимо Карей проходили. Нам сказали, тут рядом.

Монах почесал в затылке. Ситуация выглядела неоднозначной: топать обратно в Карею не входило в наши планы, а оставлять нас не входило в планы скита.

Монах предложил дожидаться, когда придёт автобус с делегацией и потом на нём вернуться в Карею, там заночевать в гостинице, а утром ехать в Ксилургу. Вариант с гостиницей тоже не радовал, впрочем, заночевать можно было, бы, наверное, в Кутлумуше или Александровском скиту, но злоупотреблять гостеприимством казалось неприличным. И потом — нам очень хотелось в Ксилургу. Вот интересно: когда мы только прибыли на Афон, ни о каком Ксилургу мы даже не знали, а теперь нам казалось, что это и есть главное, ради чего Господь привёл нас сюда. Монах, видимо, тоже чувствовал, как нам надо было в Ксилургу, и переживал ситуацию не меньше нашего.

— Не заслужили мы по Афону пешком ходить, — вздохнул Алексей Иванович.

— Пешком трудно, — ответно вздохнул монах.



— Ничего, от Иверона дошли нормально.

— Ивера? — переспросил монах.

— Ну да.

А он думал, мы на машине приехали.

— Тут пешком трудно, — покачал монах головой и пошёл из храма, а мы за ним, не догадываясь, что уготовил нам насельник Ильинского скита.

Он повёл нас узкой дорожкой вдоль монастырских построек, и мы скоро оказались на хоздворе, там уже монастырских стен не было, так, заборчик по грудь, правда, каменный. Монах показал в сторону горы напротив.

— Ксилургу.

Кроме леса, укатанного серой облачной пеленой, мы ничего не видели.

Монаху пришлось вытянуть руку и указующе держать её, пока я не крикнул:

— Вижу!

Это было, как синяя бусинка, мелькнувшая в стоге сена. Я стал объяснять Алексею Ивановичу, где я вижу, а монах опустил руку и поддакивал мне.

— Ну и как туда идти? — спросил Алексей Иванович, и радость обретения потускнела.

Монах сделал паузу и прокашлялся.

— Спускаетесь, там овраг, река, мост, — при этом слове я заметил, как он немного замялся. — Через мост, там дорога, — тут он опять сделал паузу. — Там сразу с другой стороны дороги — пометка. Выйдете, чуть вправо — пометка. Там вверх, — и он негромко вздохнул. — Бог в помощь.

— А как мы найдём, где начать спускаться?

— Там столбик.

— Спасибо. Благословите нас.

— Нет-нет, я — монах.

— Тогда помолитесь о нас.

— Да-да, — монах улыбнулся и остановил проходившего мимо здоровяка, скорее всего, послушника. Тот поставил корзину, которую нёс, выслушал монаха и кивнул нам. Мы ещё раз поклонились монаху, обещавшему за нас молиться, и пошли за большим послушником. Тот вывел нас за каменный заборчик, прошёл с нами несколько шагов, указал в сторону Ксилургу, развернулся и ушёл. Объяснять нам что-то, видимо, в его послушание не входило.

Мы остались одни. Снова посетило чувство сиротства в этом огромном мире, такое же, как охватило нас, когда мы вышли за стены Иверской обители. Перед нами зиял провал, примерно такой же, какой мы увидели, когда конь вывел нас на широкую дорогу и мы увидели Карею. И

никаких столбиков.

Алексей Иванович снял рюкзак, поставил его на землю, порушив пирамидку из нескольких камней, и полез за папиросами.

— А ведь это тот самый столбик и был, — указал я на рассыпавшиеся камни.

Алексей Иванович нагнулся, поправил разрушенное, разогнулся и удовлетворённо произнёс:

— Вот, столбик мы нашли. Уже неплохо. Теперь всё-таки покурим.

— Знаешь... — робко начал я.

— Ну?

— Давай, пока идём через эту... это... — я замялся, подбирая слова, наконец показалось, что нашёл нечто соответствующе-страшное: — ...урочище, ты курить не будешь, — и быстро добавил: — А я буду молчать.

— Отчего же молчать? Иди да молись.

Ладно, договорились и, перекрестившись на купола Ильинского скита, стали спускаться в... урочище.

Тропа была узкая, пользовались ею, видимо, редко, она здорово заросла, и нам то и дело приходилось продирается сквозь колючки, я быстро порвал штаны и дождевик, который по наивности не убрал в рюкзак, а скатал и прицепил сверху. То и дело приходилось нагибаться, проходя под сучьями деревьев, а то и вставать на четвереньки. К тому же, было скользко, ноги разъезжались и подворачивались и почти сразу, как только мы стали спускаться, в голове мелькнуло, что со своими покорёженными футболом менисками и голеностопами мне тут делать нечего, и если мы сейчас спустимся ниже и, не дай Бог, что-нибудь случится, мне уже не выбраться.

Ладно хоть в лесном провале, в который мы уходили всё глубже, было тихо: ни ветерка, ни дождика. Так утешал я себя.

— Тут змеи, наверное, есть, — сказал, обернувшись, Алексей Иванович и тоже с тоской посмотрел в сторону Ильинского скита.

Каждый думал о своём: я — о ногах, он — о змеях. Хотел сказать ему, что всякий оглядывающий назад ненадёжен <sup>[110]</sup>, но вспомнил, что обещал молчать.

Но когда Алексей Иванович, снова обернувшись, посмотрел на меня, я испугался по-настоящему — это было бледное лицо совершенно растерявшегося человека.

— Куда мы идём, Сашулька?

И у меня вид был не лучше. Вместо того, чтобы приободрить шуткой или отгородиться пренебрежительной иронией, я молчал. Потом всё же сказал, потому что нечего было больше сказать:

— Давай петь Богородицу.

И мы запели. И пошли.

Что вело нас, так это тропа. Мы её сразу окрестили Дорогой Жизни. Для нас она таковой и была. Тропа была выложена, а точнее сказать, обозначена, камнями, примерно каждый чуть меньше школьного портфеля с более-менее ровной поверхностью. И ведь какой-то монах таскал их и выкладывал эту тропу. День за днём. Может, у него такое послушание было: укладывать в тропу по одному камню в день. А может, и не одно поколение монахов трудилось над этой дорогой? И вот почему она — Дорога Жизни, потому что всё живо. Они ведь для себя эту дорогу возводили. Эти безвестные монахи живы, благодаря им, пребывавшим на этой земле пять, десять веков назад, мы продираемся через заросли и говорим: помяни, Господи, сих тружеников во Царствии Твоем.

Пока мы не почувствовали тропу и не привыкли к ней, несколько раз чуть не сбились. Слой земли на горе не так уж велик, весенние ручьи смыли его, и теперь на месте потоков образовались тоже как бы каменные тропы, а нам так хотелось побыстрее начать восхождение наверх. Один раз Алексей Иванович, другой раз я поднимались по этим обманчивым дорожкам, но, слава Богу, скоро понимали, что ошиблись и возвращались на путь, проложенный монахами. Ещё проблема возникала, когда правильная тропа в самом деле сливалась с руслами весенних ручьёв. Мы начинали нервничать, но, глядишь, метров через пять снова появлялась каменная кладка.

А вот, наверное, и то, что монах назвал рекой. Хотя, на мой волжский взгляд, это скорее маленькая ручейка, по весне он, конечно, бурлит и разливается, судя по каменному руслу, метров до десяти в ширину, а так — перепрыгнуть можно и вид тихий: теку, мол, себе потихонечку и теку... А вдаль, между прочим, слышался шум воды, и не такой уж мирный.

Выход к реке весьма порадовал и приободрил — получалось, что идём правильно. Мы зашагали вдоль реки увереннее, а то из-за постоянных остановок в поисках истинной тропы наш ход был черепашьям.

Вот и мостик. Мостиком тоже пользовались нечасто, и сколько веков он не ремонтировался, Бог весть, но основание его — три могучих ствола — выглядело внушительно и надёжно, дерево даже, показалось, закаменело, приобретя цвет камня, и сливалось с пустующим руслом, а вот досточки, наложенные поверху, частью прогнили, частью провалились, перильца шатались и касаться их было боязно, но, с Божьей помощью, перебрались.

Теперь можно отметить живописный вид: с другой стороны мостка речка образовывала небольшую заводь, куда стекала вода с большого отвесного камня, получался красивый водопад, который и шумел. Тропа, судя по всему, далее круто поднималась вверх к вершине водопада. Здесь мы и сделали привал.

— Ну, ты как? — спросил Алексей Иванович.

— Нормально.

— Яблоко-то тебе ещё одно не пора съесть?

— Нет.

— Ладно, береги, нам ещё, чувствуется, топать и топать. Сейчас в гору пойдём.

— Давай съедим яблоко напополам. Для поддержания духа.

— Нет-нет, тебе надо, вдруг у тебя опять сахар съедет.

Я помолчал, потом сказал:

— Да есть у меня чем его поддержать... Так что яблоко есть можно.

Алексей Иванович удивлённо посмотрел на меня.

— А ну, колись, что утаил от товарища?

— Я в Иверском лукум спёр... — покаялся я. — Горсточку.

— Ну ты и хитёр!

— В своём роде... — и тут же начал оправдываться: — Я хотел половину тебе где-нибудь в России отдать: представляешь, приедем домой, кофе заварим, а тут тебе — афонский лукум, у нас-то где достанешь?

— Эх, Сашулька... — вздохнул Алексей Иванович, судя по всему, прощая мне грех сокрытия поступков от товарища, и попросил: — Дай попробовать, что ли...

— Ну, зачем сейчас... Давай хоть до аэропорта дотерпим. Да и убрал я его в рюкзак далеко, в самую глубь... чтобы дождиком не замочило...

— А я думал, чтоб не дознался кто... Ладно, давай яблоко.

Хорошо было, конечно, у старенького мостика в афонском лесу. Благодатно, тихо, только вода шумит да яблоко похрустывает. Однако надо идти.

И откуда силы взялись! Мы, можно сказать, взлетали на гору и оказались на большой широкой дороге, змеей блуждающей по горам. Запыхались, правда, изрядно. Не более десяти минут поднимались, но круто вверх, порой приходилось цепляться за кустики, деревца, в конце, когда лес остался позади, пришлось и вовсе выбираться на четвереньках. Но, слава Богу, вышли. Радости-то было! А Ильинский скит наградил нас изумительным видом — он стоял перед нами как на ладони, величественный, строгий и... далёкий — не верилось, что час назад мы были там.

По другую сторону дороги, на которую мы вышли, поднималась не менее отвесная гора, Ксилургу вовсе не было видно — но это нисколько не смущало, сейчас найдём метку, обозначающую продолжение тропы, и двинемся дальше. Я снял рюкзак, привалился к горе и блаженно прикрыл глаза: как хорошо на Твоей земле, Господи!

— Нет тут никакой метки, — услышал я Алексея Ивановича, он, запрещённый в курении, маялся и ходил по дороге, разглядывая гору, на которую нам предстояло взбираться.

Ах, Господи, всё хорошо на Твоей земле!

— Ну, чего разлёгся, ты ж у нас самый глазастый!

Господи, дай только понимать волю Твою.

— ...я — слеп, я — нищ, я — наг... Я вот думаю, а славно, видать, монах в Ильинском за нас помолился: как хорошо дошли и ни разу не сбились.

— Пусть он сейчас помолится, чтобы мы метку нашли.

— Пусть! — согласился я и оторвался от горы.

На первый взгляд, противоположная обочина ничего приметного не представляла, а учитывая, что все эти столбики и меты надо ещё отыскать, как в какой-нибудь детской игре в разведчиков, нам предлагалась занимательная задача.

Я сделал шагов пятнадцать вдоль горы — никакого намёка на какие-либо опознавательные знаки.

— Смотри! — Алексей Иванович указал вверх, тогда как я разглядывал то, что было под ногами.

На большом дереве висела потрёпанная скуфейка.

— Ну, вот, — не совсем уверенно произнёс я, мне почему-то казалось, что мета должна быть совсем обычная и простая, лоскуток какой-нибудь или сложенный из камешков столбик, и обязательно древняя, а скуфья, судя по всему, повисла тут недавно. Тем не менее, надо признать, знак был явный. К тому же, за скуфьёй обозначалась тропка, правда, не такая, выложенная камнем, по которой мы шли, а обычная лесная, еле приметная. И ещё один плюс в пользу скуфьи: она указывала как раз направление, где должен был находиться невидимый пока для нас Ксилургу. Впрочем, это одновременно и смущало: ни одна тропа на Афоне не идёт туда, куда, тебе кажется, надо идти.

Но мы пошли и сразу стали расти сомнения, потому что тропа оказалась просто небольшим прогальчиком, заманивающим в лес, а главное — появившаяся уверенность сменилась нарастающей тревогой. Мы спустились на дорогу.

— Монах-то сказал, что вправо, как выберемся, будет мета, а мы влево пошли, — напомнил Алексей Иванович.

Я помнил об этом, но выбирались мы последние метры вообще без тропы, и между нами получилось расстояние метров в десять, дорога вправо шла под уклон и в сторону от Ксилургу, но я сделал несколько шагов и тут же увидел маленький прутик и на нём излинявшую до жёлто-розового цвета тряпочку.

— Вот она! — никаких сомнений не было. Такое чувство, что эта тряпочка тут спокон веков висела, дожди и ветры нисколько не вредили ей, а только укрепляли. Ну, полиняла малость — так ведь порученное дело исправляет — путь указывает.

Кстати, о дожде и ветре. Дождь прекратился совсем, а ветер ещё был, но уже какой-то уставший, да и в горах особо не разгонишься. Я уверенно шагнул за тряпочку, и тут же обнаружили заботливо уложенные камни — снова мы на Дороге Жизни, и мы уверенно зашагали вверх. Однако, когда мы поднялись на гору, нас ждал неприятный сюрприз — каменная кладка кончилась. Это оказалось настолько неожиданно, словно мы шли-шли и вдруг упёрлись в стену.

Хотя вокруг с верхотуры открывался такой простор! Ильинский скит казался не более чем очаровательным макетом, а главное — была видна маковка храма Ксилургу, казалось, до него рукой подать.

Видать, помер монах, укладывавший дорогу. Или так устроено свыше: дальше до Ксилургу надо

добираться самим, и если уж кто дойдёт, то только с Божией помощью, никакие дорогоукладчики не помогут. Мы сбросили рюкзаки, сели по обе стороны оборвавшейся тропы, и я достал последнее яблоко.

Вообще было занятно смотреть на эту обрывающуюся дорогу: вот она идёт, а вот — прекращается, словно граница какая-то. И никаких следов вокруг. Может, дошедший до конца каменной тропы просто переносится на воздухе в Ксилургу? Или в иные горные места...

— Ну и как теперь? — несколько видоизменил обычный вопрос Алексей Иванович, доев половинку яблока.

Я пожал плечами.

— Пойдём, как шли.

— Может, напрямки рванём? — и он кивнул в сторону синей маковки скита.

И надо же — как только спустились с голой макушки горы и вступили в растительный мир, обнаружилась тропинка. Еле приметная, такое ощущение, что по ней уже с десятков лет никто не хаживал, но она была! Тропинка, правда, всё больше уводила в сторону, но это нисколько не смущало. Мы запели Богородицу, теперь она звучала как песнь благодарных победителей. Мы вышли к большому провалу, в который непременно бы угодили, если б пошли своим путём — напрямки, а так получился маленький крестный ход вокруг Ксилургу. Мы шли и продолжали петь. Уже ясно видны были небольшой чисто русский храм и постройки, окружающие его. Вдруг тропа резко пошла вниз, и мы оказались на пяточке перед скитскими воротами.

#### 4

О! Какая знакомая и до боли родная картина от крылась нам!

Мы оказались дома. Это не вызвало ни особого чувства радости, ни удивления, было ощущение, что встал с дивана и привычно сунул ноги в тапочки.

Надо было благодарить Господа и Богородицу, что довели нас до знаменитого места <sup>[111]</sup>, о котором восторженно отзывались все, кого мы ни спрашивали, но, видимо, домашние тапочки мешали. И ещё недоумение оттого, что скит находится в таком, на первый взгляд, полуобморочном состоянии. Да ещё этот амбарный замок на церковных дверях.

Господи, неужели для того, чтобы место, почитаемое всеми как благодатное и духовное, должно выглядеть русским захолустьем? И не важно, кстати, какого века: нынешнего ли, прошлого..., надца-того ли — бо все времена оно одинаково.

И неужели именно поэтому (чтобы ликвидировать захолустье, а вместе с ним и благодать) Евросоюз вваливает деньги на строительство дорог, гостиниц, туалетов (дались они мне!).

Они ведь скоро и впрямь тут всё под асфальт закатают.

До Ксилургу не доберутся! Через лужу не проедут.

Это и к моей Родине относится.

Оставьте нас в покое со своей цивилизацией! Не, не люблю я вашу колу, я квас люблю. Я лес люблю, речку. Монастыри люблю. Бог... хочу научиться любить. Ну, почему это вам спокойно

жить не даёт?

Ладно, ну их, пришли в благодатное место, а всё на политическую дрянь тянет.

Мы долго стояли перед небольшим беленьким храмом <sup>[112]</sup>, озираясь и переживая разнообразные чувства, и в итоге перед нами нарисовался бригадир. Ну да, невысокий с брюшком человек южной наружности, про которого уже не скажешь «мужичок», тоже, правда, в заляпанной спецовке, но зато с какой уверенностью в движениях и взгляде: что это ещё тут за крендели на его территории? Впрочем, Афон не мог не наложить отпечатка на подходящего бригадира — он пытался улыбаться.

Мы вежливо поклонились начальнику участка и поинтересовались: как найти отца Николая?

— Там, там — ответил бригадир и показал рукой на пристроенную к двухэтажному зданию, начинавшемуся сразу за воротами, деревянную лестницу, окинул нас ещё раз оценивающим взглядом и, убедившись, что в работники мы не годимся, потерял к нам всякий интерес.

Мы же, подойдя к ведущей наверх лестнице, попытались счистить налипшую грязь. Вот именно — попытались, вообще же мечталось побыстрее снять эту сырую обувь, переодеться в сухое. И сладкое предвкушение заслуженной награды за перенесённые испытания, хотя бы в виде чашечки кофе и раки, посетило нас. Можно сказать, мы гордились собой.

На втором этаже вошли в небольшую прихожую, по бокам которой высились две деревянные двери. Обе были закрыты. Прямо находилась ещё одна дверь, которую освящал простенький деревянный крест. Мимо этой двери тянулся тёмный коридор, проходивший, видимо, через всё здание. Дверь с крестом оказалась незапертой, и мы оказались в храме <sup>[113]</sup>.

Это был небольшой, но светлый и высокий храм, а лучше сказать, большая комната, преобразованная в храм. В девяностые годы у нас в стране так многие храмы начинались: отдавали разваливающийся клуб или ненужный в то время магазин — и они наполнялись жизнью.

Передняя часть комнаты заставлена прислонёнными к стене иконами. Икон много, скорее всего, они вынесены из главного закрытого амбарным замком храма, который, судя по всему, сейчас восстанавливается. Между иконами — пачки со свечами. Несколько икон подняты на стены. Пол застелен дешёвеньким линолеумом. Всё простенько и скромно, как в сельском храме. С другой стороны, понятно, что для большинства икон, составленных у стен, здесь временное пристанище. Да они вряд ли и поместились бы на стенах, даже если поднимать до потолка, к тому же, всю северную стену занимали окна.

Во второй части комнаты служили. Она отделялась крепкими деревянными перегородками, какими обычно у нас отделяется клирос. На них находились большие иконы Спасителя и Николая Угодника, а с обратной стороны, там, где должен, по идее, быть левый клирос, находился киот с удивительной красоты иконой Божией Матери. И богатый оклад Её, и множество благодарных приношений, подвешенных на нитях, говорили, что икона сия чудотворная и прославлена многими исцелениями <sup>[114]</sup>.

Иконостас опять же прост, но приятен сельской чистотой и отсутствием излишеств. Даже несколько стасидий здесь, в русском храме, смотрелись уместно, словно это и есть древнее славянское изобретение. Впрочем, они и правда выглядели весьма древне и походили больше на трон, который ставится на горнем месте. Я бы даже несколько не удивился, если б дощечка

для сидения не откидывалась, а была прибиты дюймовыми гвоздями. Нет, откидывается, только скрипит страшно, словно живая, а ты её взял и потревожил. У каждого клироса стояло по две стасидии, ещё по одной приставлено к перегородкам, лишний раз подчёркивая разделение комнаты.

Обойдя храм и приложившись к иконам, мы вернулись к входной двери.

Алексей Иванович поднял на меня глаза. Я пожал плечами. А что делать? Ждать. Это тебе, брат, не греки: кофе, рюмочку, лукумчик — это Россия, тут для начала потерпеть надо. Ладно. Кто-нибудь когда-нибудь сюда всё равно придёт. Кому это я — Алексею Ивановичу или себе? Стоим. Алексей Иванович на мужской половине, я — на женской, хотя откуда на Афоне женская половина?

— Темнеет уже, — через сколько-то времени напомнил о себе Алексей Иванович.

— Вот и стой...

Я хотел сказать, что скоро уже служба, но подумал, что дело и не в службе вовсе, а такое задание для нас от Господа — ждать, пока определяется наше положение. В конце концов, не знаешь брода — не лезь в воду. Вот и не лезем.

И в самом деле — свете стало меньше. Неужели и правда темнеет? Нет, это снова зарядил дождь. Вовремя мы успели. Слава Богу. И тут в храм вошла... стоп. «Вошла» — не может быть, это ж Афон, стало быть, «вошёл»... Но дальше так и завертелось на языке: «коня на скаку остановит, в горящую избу войдёт», накормит, напоит, умоет, а коли за дело — прийдёт. Этакая хранительница (то есть хранитель) очага, заматеревшая годами. Одним словом, тёща. Пока я, правда, наблюдал только широкую спину и не совсем прибранные волосы — со сна. Ещё можно было определить коротковатое платьице монашеского покроя, которое со временем приобрело цвет изъезженного асфальта, с кое-где пятнами масла и въевшейся грязи. На локтях зияли огромные прорехи, и сквозь них просматривались ручищи, отбивавшие всякую охоту насмешничать. Поверх платьица был фартук, перекроенный из старого, отслужившего своё подрясника, впрочем, возможно, это подрясник и был. Ещё из одежды имелась вполне приличная душегрейка. На ногах — шерстяные носки и резиновые боты. Ноги, видневшиеся промеж короткого платьица и шерстяных носок, соответствовали мощи рук, но казались слоновьими распухшими, как бывает у большинства натрудившихся на тяжёлых работах русских женщин.

Не обращая на нас никакого внимания, человек, как и положено хозяйке в доме, начал наводить порядок: зажгёт лампадки, поставил свечи, что-то перекладывал и переставлял в алтаре. Мельком удалось увидеть лицо: круглое и грозное, как у купчихи, пережившей не одного мужа. Негустые волосинки на том месте, где у человека обычно бывает борода, вызвали ещё больший трепет. Мы стояли по стойке «смирно», не решаясь выдать себя ни единым звуком, попробуй спроси — как даст своими ручищами, да одной даже. И правильно: не лезь, не мешай, когда люди делом заняты. Так что наведение порядка в храме продолжалось в полнейшей тишине, если не считать отдышливых вздохов трудящегося человека. А мы стояли по обе стороны двери то ли как почётный караул, то ли просто как две вешалки, непонятно кем и зачем принесённые сюда.

Товарищ всё-таки не выдержал, и когда человек, подойдя к нам вплотную, вытащил скатанный среди упаковок со свечами ковёр (ну, или то, что им называлось в пятнадцатом веке) и, вздыхая и охая, натуженно потянул его к царским вратам, Алексей Иванович бросился помогать. Но не сделал он и пары шагов, руки не успел протянуть, как на него так рыкнули,



что он, словно наткнувшись на горячий утюг, отскочил на место.

Говорили тебе: стой себе, нужен будешь — позовут.

Человек же, влачивший ковёр, скорее всего, был дьяконом, прошедшим в своём служении все чины и степени; он вполне, может статься, и патриарху сослужил, и теперь всё ему позволительно, потому что опытно знает, что полезно. Вот кого в духовники бы!

Дьякон дотащил-таки скатанный ковёр до места и, опершись на него, отдышался, потом посмотрел на нас. У меня аж мурашки пробежали — чего это он задумал? Казнить. По грехам. А тот издал очередной рык, только помягче, и посмотрел на меня.

Я? — удивился я — и показал на себя.

Думаю, если бы ему понадобилась помощь и вместо меня тут летала муха, ну, или, скажем, стоял слон, то те сразу бросились бы помогать. До меня же доходило не сразу.

Монах снова рыкнул, но более досадливо, на мою непонятливость.

«Глухонемой, наверное», — решил я, вспомнив кроткого Серафима, вздохнул, проговорил «Господи, помилуй» и осторожно двинулся к монаху.

Тот указал на рулон, и мы стали его раскатывать. Ковёр (так всё-таки будем называть эту тяжесть основы и пыль веков) не особо нас слушался, и Алексей Иванович опять дёрнулся. И снова был поставлен на место.

Когда уложили ковёр, монах пророкотал почти милостиво, я поклонился и вернулся к двери. А тот, оглядев ещё раз храм, прошёлся вдоль стен, кое-что подправил и, не глядя на нас, вышел.

Ещё какое-то время мы боялись пошевелиться. Первым отмер я.

— Пойдём выйдем, — после призвания на расстилку ковра я, в отличие от Алексея Ивановича, чувствовал себя избранным.

Мы вышли и встали возле рюкзаков, оставленных в коридоре. Алексей Иванович восторженно произнёс:

— Вот это мощца!

Я и сам чувствовал эту «мощцу», но как объяснить, откуда и почему она чувствуется? Не в драных же локтях и застиранном подряснике дело. Но вот явился человек, превосходство которого ощущалось сразу и признавалось безоговорочно. Более того, его хотелось слушаться и следовать за ним, потому что понималось, что сам я пред ним постыдно мелочен со своими желаниями и проблемами.

Мне доводилось общаться со многими церковнослужителями, ну, может, не так уж и со многими, но столько ярких и замечательных людей встречалось среди них! О каждом у меня есть что сказать хорошее и что-то такое, что открыл мне этот человек, но ни один из них не производил столь сильного впечатления, как этот монах.

Алексей Иванович настолько точно выразил мои чувства, сказав «мощца», что ни возразить, ни дополнить было нечего.

Но не могу же я молчать. И, как всегда, брякнул, низводя нас на грешную землю.

— Интересно, а где здесь у них туалет?

— Что, нагнали страху-то? — Алексей Иванович старался удерживаться и не низводиться.

— Да нет... пора, я ж больной человек, — пожаловался я.

— Ну-ну, а я тогда покурить, — снизошёл-таки товарищ и пошёл на улицу.

Я же направился по коридору, который, чем дальше от храма, всё более и более напоминал дворовые постройки и в конце-таки упёрся куда следует. Ну, тут всё было знакомо: обычный деревянный нужник, какие обычно стоят в конце хлева. Всё по-нашему — дёшево и сердито. Чтоб не засиживались. Ещё был классический рукомойник с пипочкой и целый склад невероятно розовой на общем фоне туалетной бумаги. Одарили, видать, по случаю. В общем, не такое уж получалось и захолустье.

Оправившись, вернулся к рюкзакам, скоро подошёл и Алексей Иванович.

— Тишина, — доложил он внешнюю обстановку и поинтересовался моими успехами. Я указал направление.

Когда он появился и предложил походить поискать кого-нибудь, я отказался:

— Будем ждать возле храма.

Но ждать было тяжело. Хотелось хотя бы присесть, хотя бы согреться кипятком. И тут в дверном проёме возникла фигура батюшки. Не монаха, как это можно было предположить, а типично русского батюшки, перенесённого сюда откуда-то со среднерусской возвышенности. Тихий такой, невысокий, с настоящей бородой и в приличной рясе.

— А вы откуда? — не то удивился он, не то загрустил.

И нас, услышавших человеческое слово, прорвало: мы стали наперебой рассказывать, как мы шли аж от самого Иверона, как нас хотели развернуть в Илье в Карию, но пошли лесом...

— Да что тут от Иверона-то идти, — махнул рукой батюшка, — два шага.

Мы пристыженно замолчали.

— Вы что же, ночевать собрались? — поинтересовался, словно для поддержания разговора, после некоторой паузы батюшка.

Мы даже растерялись: а куда ж нам деваться-то?

— Как благословите.

Батюшка вздохнул.

— Даже не знаю, как быть, у нас удобств никаких, холодно...

— Да мы и на полу можем поспать...

— А вы ещё не разместились?

— Нет.

— А этот, большой такой, был здесь?

— Был.

— И что сказал?

— Ничего.

— Понятно, — произнёс батюшка с некоторой печалью: мол, ничего нового в мире.

Пока шёл этот неспешный разговор, я всё больше начинал испытывать чувство неловкости: вот, вторглись в мирный быт афонского скита, нужны мы тут? Люди спокойно Богу молились, а тут ищи, где размещать, корми их тут...

Батюшка посмотрел на меня.

— Не ели поди ничего?

Мы виновато покачали головами, словно весь день пробегали на улице, забыв про приготовленную мамой еду.

— Ну, сходите в трапезную, найдёте там чего-нибудь... Идёмте покажу. — Мы вышли на лестницу, по которой поднимались. — Вон внизу в соседнем доме видите дверь? Там чайник поставите и попейте, — а закончил батюшка не совсем обнадеживающе: — Мы тут решим пока...

— Скажите, а вы отец Николай? — спросил я. — Да.

— Батюшка, я... вы знаете, лет семь назад вы мне икону передали... Тут у вас священник наш был, он вам книжку мою показывал, а вы мне, то есть через него, икону передали — Избавительница от бед. Ну, он так рассказывал. Я с этой иконой у нас в крестный ход хожу. Вот и сюда Она привела. Можно сказать... Я так хотел вас увидеть...

Я что-то ещё лепетал, а батюшка стоял ко мне спиной и смотрел на трапезную.

— Идите, попейте чаю... — остановил он мой поток и прошёл мимо нас в храм.

Я ликовал! Я не ожидал, что так запросто получится встретиться с одним из известных афонских старцев. Я взахлёб стал делиться радостью с Алексеем Ивановичем, а тот огорошил:

— А ты слышал, что он сказал, когда ты стал ему плести про книгу и икону?

— Нет. Да и не говорил он ничего.

— Э-э... Ты, как глухарь, только себя слушаешь. Его так качнуло слегка, он головой о косяк опёрся и простонал: «О, ужас...».

— Да ладно, не было такого.

— Было. Ты просто, как на комсомольском собрании, как почесал о своих достижениях рассказывать, так батюшка сразу и погрустнел.

— А он и до этого не сказать, чтобы весёлый был.

— А чего ему веселиться? Это ж наш, русский батюшка... Он сейчас твои песни послушал и сразу представил, насколько надо молитвенный подвиг о России усиливать... Ладно, не переживай, — Алексей Иванович явно обрадовался возможности поставить меня на место, — пойдём чай пить.

Мы прихватили рюкзаки и спустились в трапезную.

Вообще-то это была большая кухня, посередине которой стоял длинный стол, за которым вполне могли уместиться человек двадцать. Одну стену занимали кухонный гарнитур с холодильником и раковиной, здесь уже не было дедовского раковомойника, а блестели краны, правда, только с холодной водой. И холодильник был не «Саратов» глухих времён, а большой двухкамерный, импортный. Гарнитур тоже был современный. Напротив входной двери у стены под окошком стояла газовая плита, а вдоль другой стены — вешалки. Дух на кухне, что нетрудно предположить, обитал холостяцкий. Честно говоря, пока не женился, я так и считал, что кухня существует для того, чтобы приготовить еду и тут же съесть её, ну, раз в неделю помыть скопившуюся посуду. У жены получилось неуволимо легко преобразовать «хрущёвскую» кухню в комнату, в которой приятно находиться и в не обеденное время. Причём первое время её лёгкие движения тряпкой мне напоминали манипуляции фокусника. Потом привык.

Но здесь я вернулся в беспечную молодость, когда нет смысла убирать со стола после завтрака сушки с мёдом, если всё равно будешь их есть на ужин. И чайник — тоже пусть будет под рукой. Ну вот разве что чашку ополоснуть. В общем, всё что нужно — хлеб, сушки, мёд, джем — находилось на столе. Электрический чайник — на кухонном столе на расстоянии вытянутой руки, рядом — коробочка с чайными пакетиками, чашки — над раковиной.

Алексей Иванович тоже почувствовал себя как дома.

— Может, кофейку? У нас свой есть.

— Давай.

Алексей Иванович полез в рюкзак.

— О! У нас и халва осталась.

— Доставай всё, что осталось. Всё равно больше никому не понесём.

У Алексея Ивановича нашлись ещё рыбные консервы, галеты, а у меня — пара плиток горького шоколада. Заварили кофе в больших чайных чашках. Я достал по кусочку припасённого из Иверского монастыря лукума. Благодать.

Зашёл отец Николай. Мы вскочили, как солдаты при виде генерала.

— Как вы тут, разобрались?

— Да всё отлично, батюшка.

— Садитесь. А что, вы кофе пьёте?

— Да вот, есть такой грех... У нас тут, батюшка, галеты, халва, можно мы вам оставим?

— Да чего оставлять? Открывайте халву и ешьте.

— Вот ещё! — спохватился я и достал из рюкзака оставшуюся самую красивую бутылку водки.

— А-а, — батюшка равнодушно покрутил бутылку. — Сам оттуда, что ль, будешь?

Бутылка была подарочной, так сказать, лицо города. Я кивнул.

— А ты откуда? — спросил Алексея Ивановича, по халве и галетам родина человека не определяется.

Алексей Иванович с достоинством, словно его обязательно должны были похвалить, назвал город.

— А чем занимаешься?

Тут Алексей Иванович смутился и посмотрел на меня. Ну да, мне тоже всегда стыдно себя писателем именовать, словно в тунеядстве признаёшься. Хотя вот на Афоне в греческих монастырях ничтоже сумняшеся записывались *writer*, а перед своими стыдновато.

— Да вот тоже, как Саша (опять меня вперёд вытолкнул), пишу... маленько, пытаюсь, то есть...

— Сочинители, стало быть?

— Ну да.

Мы даже обрадовались, как ловко он нас определил. Точно: это Толстой, Достоевский, Чехов — писатели, а мы — сочинители.

Отец Николай всё ещё держал в руках бутылку.

— Приберу, пожалуй, — и зашёл в боковую дверь, на которую мы поначалу внимания не обратили. Вернувшись, сказал: — Ладно, вы пока перекусывайте, а ужинать мы уж после службы будем. Служба у нас, правда, вечером долгая, народу мало, так что мы сразу и повечерие с акафистом читаем, и потом — вечерню.

— Батюшка, а большой этот, кто? — спросил осмелевший Алексей Иванович, а с батюшкой в самом деле было легко, надо только перестать стыдиться чувствовать себя малыми детьми с этим тихим и кротким человеком.

— А-а, этот... Отец Мартиниан. И ещё у нас есть Володя, послушник. Так что нас трое всего.

— Батюшка, — Алексей Иванович смелел всё больше. — А причаститься можно будет завтра?

— Эх, какие шустрые, — батюшка, показалось, улыбнулся и покачал головой.

— Мы сегодня ничего такого не ели, — начал Алексей Иванович и споткнулся: — Кофе только...

— К тому же, завтра воскресенье, — напомнил о себе я.

— Посмотрим, — не стал ничего обещать отец Николай. — Часов в шесть начнём.

— Греческого или византийского? — решил блеснуть Алексей Иванович.

— Нормального. — И добавил: — Вы потом наверх поднимайтесь, я там комнату открою. Вы халву-то открывайте, ешьте, — и вышел.

Вот как можно передать наше состояние? Или — какой надо иметь талант, чтобы прочитавший предыдущую страницу так же сразу полюбил отца Николая, как это произошло с нами. Нету такого таланта. Одним словом — сочинители.

Мы открыли вроде как подаренную халву и тут же половину умяли. Кофе как раз подостыл, так что — в самый раз, а на душе установилось умирительное настроение. И в самом деле: за что нас Господь так любит?

Опять поднялись с рюкзаками наверх и там, возле одной из боковых дверей, нас ждал отец Николай. Немного повозившись и по-домашнему мило приборматывая («Заржавела, что ли, или ключ опять не тот дал») он-таки отомкнул комнату.

Комната оказалась небольшой и уютной: вдоль стен стояло три панцирных кровати, ещё одна — посередине комнаты. Справа от двери пристроился небольшой столик с книгами, а слева — печка типа «буржуйки» и к ней приспособление, похожее на маленького танкового ежа, от которого шёл жар.

— А я думал, для кого я печку сегодня растапливал? — улыбнулся батюшка и поднёс к «ежу» руку. — Ничего, скоро согреется. — Потом добавил: — Может, ещё кто объявится... Простыни там, — он показал на стопку белья и вышел.

До службы оставалось полчаса. Первым делом поставили сушиться на «ежа» обувь, развесили рядышком мокрое бельё, надели сухое, потом застелили кровати и повалились на них. Благодать!

— У меня ощущение нереальности, — произнёс Алексей Иванович, — как будто это не с нами происходит.

Я молчал и тихо улыбался: нет, это не с нами. Но что происходит? Что дальше, Господи?

— А что он сказал насчёт того, что ещё кто-то придёт?

— Алексей Иванович, неужели ты не понял? Сюда никто сам не может прийти. Сюда только Господь приводит.

Вишь ты, запел как, — проворчал Алексей Иванович. — Давай поднимайся, на службу пора.

## 5

У Поселянина есть очень хорошие слова о том, что если кто хочет прочувствовать дух настоящей молитвы, то должен сходить на вечернюю службу в сельский храм посреди недели. На такую службу и привёл нас Господь. Полумрак, свечи, два священника: отец Николай за левым клиросом и отец Мартиниан — за правым (он вовсе не дьякон, а иеромонах). С ним рядом послушник лет тридцати с бойким голосом. Монахи же читали не так. У меня создавалось впечатление, что они порой вообще забывают, что находятся в храме и что помимо них тут кто-то есть. Помимо них и Бога. Их чтение не было уверенной скороговоркой, на которую способны в наших церквах, так что иногда задумываешься, а не идёт ли соревнование, кто прочтёт без запинки и быстрее; не было это похоже и на чтение, переходящее в пение, как мы слышали у греков, когда кажется порой, что греки сами собой любят, как хорошо у них получается; тут был просто разговор с Богом. Мне так и слышалось, что это не привычные молитвы и песни акафиста, а люди говорят Богу, как тут нам, на земле. Благодарят, радуются, печалются о грехах и немощах. Как взрослые дети мудрому отцу.

Мне вдруг подумалось, что сила места, где мы сейчас находимся, в полном равнодушии к земному. Не отвержении, не пренебрежении, даже не ненависти, а равнодушии. Богу-то какая разница, драные у тебя локти или нет. Это мы на это внимание обращаем. В Санаксарском монастыре летом полно комаров, и я не видел, чтобы кто-нибудь из монахов на них отвлекался, а я вот то отмахнусь, то по лбу себе хлопну, а толку-то? И только когда вник, вошёл в службу, приблизилось мирное состояние, и я перестал обращать на кровососов внимание.

Большому отцу Мартиниану, оказавшемуся вовсе не глухонемым, было абсолютно всё равно: понимает кто-нибудь издаваемые им звуки, из которых он вдруг выделял две-три фразы и произносил их по-дикторски чётко, а потом снова погружался в сумятицу звуков — по-моему, словесная оболочка только мешала ему. Как деревья в густом лесу гасят ветер, так и слова сдерживали отца Мартиниана. Но именно две-три фразы, чётко произносимые им, оказывались настолько близкими и нужными мне, что я всякий раз принимал их за откровение.

Несколько раз отец Николай, пожалуй, единственный, кто понимал, что читает отец Мартиниан, пытался того поправить. «Куда ты... Да погоди... Не то...», — но разводил руками, покачивал головой, мол, тут ничего не поделаешь — стихия, и выправлял службу дальше. У отца Николая проявлялась странная особенность речи: отец Николай читал с акцентом, словно русский язык был для него не родной. Это было тем более удивительно, что когда мы общались с ним до службы, говорил он гладко, правда, мало, а тут... Может, и ему словесная оболочка мешала?

Прочитали акафист, отслужили вечерню, окна прикрылись сумерками. И надо признаться, что вместе с радостью примешивалось и чувство гордости, что не кого-нибудь, а именно нас, преодолевших всё и вся, Господь сподобил побывать на такой дивной службе. Я попытался отогнать этого гордого червячка, но нет-нет да и щекотало внутри: «Ай-да мы, какие молодцы!..» Я смущался, опускал, пряча, глаза, но ничего поделать не мог, щенячий восторг не оставлял меня.

Перед чтением Евангелия зазвучала Великая ектеня и тут я почувствовал, что в храме есть кто-то ещё. Не могу объяснить, как я это почувствовал, потому что ни явственного открывания дверей, ни шагов, ни постороннего шума я не слышал, и в то же время всю ектеню меня не покидало ощущение, что кто-то находится сзади меня. Мне очень хотелось обернуться, больше даже для того, чтобы убедиться, что никого там нет, потому что и быть не могло.

В самом начале службы в храм заходили строители во главе с бригадиром. Они чинно прошли и приложились к иконам, поставили свечи, доставая их прямо из больших пачек у стены, поклонились отцам и ушли. Но то было явно. А тут... Я не утерпел, и когда отец Мартиниан с кадиллом дочитал ектеню, а отец Николай отправился в алтарь, я быстренько бросил взгляд за спину и не поверил, подумалось, что мерещится от переизбытка впечатлений, вернее, я не мог позволить себе даже думать о том, что кто-то ещё добрался до Ксилургу. В то же время, взволнованный, уже не мог толком слушать чтение. Мои глаза сами как-то сквозь подмышку так и выворачивались назад — да, на стене колыхались две тени.

Когда отец Николай закрыл Евангелие, я обернулся открыто — сзади стояли отец Борис и Серёга.

Я был сражён, ошарашен, растоптан. Как?! Откуда они взялись?! Это было всё равно, что долго-долго забираться на гору и обнаружить там пикник весёлых туристов.

А надо было идти под помазание. Что-то совсем невероятное. Пошли. Пропустили отца Бориса вперёд. Серёгу — тоже. Вот они — живые. Я пожал Серёге горячую руку — плоть, кровь, всё

нормально. Но как? И какие у них счастливые лица! Мы-то хоть знали, куда идём, а эти что?..

Тебе-то какое дело. Если Я хочу, пусть пребывают, ты по Мне гряди... [115]

А как легко раздавился червячок гордости, готовый превратиться в змия.

Алексей Иванович тоже недоумённо смотрел на радостных путников: правильно, в эдакую темень через лес, не зная толком, куда — как?

И только отцы как служили, так и продолжали служить.

Когда служба закончилась, мы подошли к отцу Николаю под благословение.

— У нас прям нашествие сегодня какое-то, — вздохнул он. — А вы как добрались?

— Да мы и сами не знаем, — ответил сияющий отец Борис.

— Понятно, — уяснил себе отец Николай и уже к нам: — Вы там разместите их, а потом помогите Володе на кухне.

Одной фразой отец Николай восстановил нас. Из поруганных гордецов мы превратились в опытных старожилов, которым можно доверить размещение новичков, а потом — хлопоты по кухне. А как же хорошо быть послушными! Всё ясно, что делать, и ничего иного. Вот вам, братия, ключ, вот кровати, вот бельё, там-то и там-то туалет с умывальником, кухня вон там, а нам, извините, пора, надо картошку чистить, а вы располагайтесь, с печкой поаккуратнее... В общем, господин назначил нас главными паломниками.

На кухне мы поступили в распоряжение Володи. Тот выделил картошку, ножи, а сам утёк куда-то.

— Ты куда их направил? — спросил Алексей Иванович.

— В Лавру.

— А про Ксилургу говорил что-нибудь?

— Нет.

— Дивны дела Твои, Господи, — вздохнул Алексей Иванович и приступил к делу.

А вздохнул он правильно: мы были счастливы, дойдя до Ксилургу, но их счастливые лица затмевали наши, как Солнце Луну. Мы благодарили Господа, понимая, что не мы, а Он нас привёл, так ещё больше это довелось понять им. На них Господь показал Свою силу, а на нас — нашу слабость. Картошку мы чистили молча.

— Хватит, куда столько? — остановил нас зашедший Володя, побросал картошку в кастрюлю с водой, зажёл газ, сказал: — Когда закипит, убавите, — и снова ушёл.

Тут пришли два товарища, с которыми предстояло делить кров и стол в ближайшее время. Мы на правах главных паломников угостили их горячим чаем с халвой, с завистью заглядывая в их просветлённые лица. Впрочем, Бог знает, кого коснуться.

Отец Борис излагал происшедшее с ними восторженно и бестолково — одни чувства и эмоции.



Впрочем, скупые замечания Серёги, который то, как контуженный, тряс головой, то затихал с безмятежной улыбкой на устах, картину более-менее проясняли.

Не дождавшись автобуса в Лавру, они решили идти в русский скит, то бишь за нами. Оказывается, они наблюдали, в какую сторону мы пойдём, и надеялись нас догнать. Но афонские тропы и дороги... Они, как тропочки в лабиринте, пересекаются, расходятся, идут параллельно и снова приводят на распутье, в общем, мы могли долго блуждать, ходить по одним и тем же улицам, как Мастер и Маргарита, и не встретиться. Не будь на то Господней воли. Они дошли до Андреевского скита, но там им растолковали, что теперь это греческий скит, и даже поднесли рюмочку. Но наши отправились в Илью. Там им дали кофе и, так как вечерело, предложили заночевать. Но наши, узнав, что двое русских недавно отправились в Ксилургу, потребовали показать им тропку. И пошли ничтоже сумняшеся. Их вела мысль, что если мы прошли, то и они как-нибудь. А вёл-то, ясное дело, Господь, потому что, как можно было разглядеть, шли мы там или не шли?

— Вы яблоко у мостика ели, — сказал Серёга. — Я огрызок видел.

— Ты что — следопыт?

— Он у нас таёжник, — поведал отец Борис. — Лет двадцать по тайге ходит.

Это многое объясняло. Но как они уже в опустившихся сумерках нашли палочку с выцветшей тряпочкой?

Серёга пожал плечами. Он и сам не знал, как вышли — и сразу тряпочка.

— Эх, газ-то! — воскликнул вошедший Володя. — А, ладно, готова уже.

У меня остался ещё один вопрос, и я обратился к Серёге:

— А коня видели?

— Видели, — обрадовался Серёга, как будто мы с ним оказались однополчанами.

— Где?

— А на какой-то тропе, мы за ним пошли, а потом он пропал.

— Дежурит он там, что ли? — пробормотал я.

Послушание у него такое, — рассмеялся Володя. — Чайник поставьте, я пойду отцов позову.

## 6

Появление монахов прервало очередной восторженный рассказ отца Бориса — человека и в самом деле переполняли эмоции, и можно было только радоваться за него (да и нужно было), если б не некоторое утомление от того, что радоваться требовалось слишком часто, практически всегда.

Отец Николай снял сукфью и положил её на верхнюю полку вешалки. Мы почтительно отступили от стола.

— Помолимся? — предложил батюшка.

После «Отче наш» и благословения сказал:

— Садитесь, чего встали-то?

Так получилось, что на большую лавку я сел посередине. Справа от меня оказался Алексей Иванович, а слева — отец Николай, и я невольно заробел от соседства.

— Картошку-то берите, — сказал он.

Но никто не тянулся к большой чашке, где был выложен сваренный картофель. Отец Николай подцепил картофелину, ну, тогда уж и мы. Он полил картошку маслом — и мы. Отец сидел прямо и некоторое время разглядывал свою картофелину, словно сомневаясь: а надо ли оно ему? Однако, заметив, что никто из нас не решается приступить к пище, отломил кусочек и так же, сидя прямо, положил его в рот, пожевал и проглотил, особо ни к кому не обращаясь:

— Вот, отец, причащаться хотят, ты как думаешь-то?

Через пару минут отец Мартинаан, сидевший напротив, доел картошку и, отклонившись от тарелки, сказал:

— А что же, пусть причащаются. Скромное только б не ели...

Отец Николай вздохнул, я так и ожидал, что он сейчас скажет: «Понятно», — но тот только отломил ещё картошки и спросил другую двоицу:

— А вы будете причащаться?

— Так мы не готовились...

— Понятно.

— А вот, если можно, отче, очень хотелось бы послужить завтра с вами, — отец Мартинаан искоса посмотрел на державшего отца Бориса. — Если благословите, конечно...

Повисла пауза. Мы доедали картошку.

— Это будет непросто...

Отец Борис оживился:

— У меня всё, что надо, с собой.

— Посмотрим, — остановил его отец Николай. — Чаю наливайте.

Чай пили с сушками, мёдом и вареньем. Я сидел рядом с отцом Николаем, между нами было расстояние в локоть, и я всё думал: о чём спросить? Когда ещё так близко буду находиться со старцем? И не знал, что спросить. Ведь если спрашивать, то самое важное. А что — важное? Тут все мои мирские тяготящие заботы кажутся такими далёкими, мелочными, о них и спрашивать-то стыдно. Да и не хотелось нарушать тихое очарование чаепития из огромных кружек в Ксилургу. И потом — я ведь, если рот открою, обязательно глупость ляпну.

После того как попили, поднялись из-за стола, прочитали молитвы, отец Николай надел сукфейку и повернулся к нам:

— Вы Володе помогите и готовьтесь, — благословил нас, потом — отца Бориса с Серёгой.

Когда мы убрали со стола, отец Борис спросил:

— Вы же, кажется, в Иверском причащались?

— Причащались, — согласились мы.

— А не слишком ли часто?

— Господь ведёт, так чего же отказываться? — ответил Алексей Иванович, а я подумал, что теперь, наверное, у нас счастливые лица и пусть теперь им будет немного завидно, а то тоже мне, герои: подумаешь, ночью сквозь лес прошли, тут идти-то... два шага... и добавил:

— Мы и в Пантелеймоне причащались. И в Кутлумуше.

Алексей Иванович неодобрительно посмотрел на меня.

— Ну-ну, — сказал отец Борис, Серёгу-то он, видимо, держал в строгости.

— Здесь, на Афоне, всё по-другому, — неожиданно помог мне Володя. — Тут, как в армии — день за три, — и я с благодарностью улыбнулся ему: свой человек, служивый.

А Володя, пресекая дальнейшие разговоры, подвёл черту:

— Ну что, по кельям, мне ещё правило читать...

Мы пошли в отведённую комнатку, а Алексей Иванович задержался.

— А он куда? — любопытствовал отец Борис. Его детской непосредственности и любознательности стоило позавидовать.

— Да так... Любит перед сном один побыть...

— А-а, — протянул отец Борис и мне показалось, это прозвучало понимающе и уважительно. — А я подумал, уж не курить ли бегают?

— Да что вы...

Но когда Алексей Иванович пришёл, пахло от него не елеем. Впрочем, оба наших собрата уже лежали в постельках, сдавшись сну без сопротивления и сожаления, словно остатки бойцов, отведённых на переформирование в тыл. Серёга блаженно улыбался во сне, отец Борис недовольно поднял голову в сторону вошедшего Алексея Ивановича, но глаз так и не открыл, что-то глухо гукнул и так же слепо повалился обратно. Я стоял возле столика, перебирая с десяток книг самого разного калибра — тут был и Иоанн Златоустый, и Игнатий Брянчанинов, и современные отцы. В основном — о покаянии, исповеди и причащении, видимо, специально для паломников.

— Что, твоей-то нету? — ехидно поинтересовался Алексей Иванович.

Я аж краской залился, вдруг поняв, что, именно в тайне надеясь увидеть свою книжечку среди Брянчанинова и Златоустого, перебираю стопку. И как я полез сегодня: вам передали мою книгу, вы меня за это иконой наградили... Тьфу.

— Нету, — согласился я. — Нас же как определили? Сочинители. Наши книжки поди ждут нас в одном местечке для поддержания огня.

— У тебя — больше.

И тут я тоже вынужден был согласиться и вздохнуть.

— Ладно, давай читать.

— Может, в церковь пойдём?

Но церковь, к удивлению нашему, оказалась закрыта. Вернулись в комнату.

— Здесь будем читать, — указал я на столик с книгами как на алтарь.

— А не разбудим? — Алексей Иванович кивнул в сторону тех, чей дух был покоен и мирен, и сам подивился вопросу.

Мы стали читать. Сначала сдерживали себя, старались говорить потише и глуше, но как-то само собой разошлись, стало всё равно, тише или громче, медленнее или быстрее, главное — шло и сердце отзывалось.

Когда после канонов заканчивали вечернее правило и переходили к последованию, открылась дверь и вошёл отец Николай. Потрогал руками воздух.

— Согрелось. Вот я вам принёс, прочитаете после, — и ушёл, оставив на столике сложенный вдвое лист.

Это был ксерокс исповеди. И, судя по всему, составлена она была самим отцом Николаем. Мы — от, любопытные, — сразу читать начали, но остановились: всё должно идти по чину — сначала последование.

Чтение исповеди отца Николая — это отдельная песня. Я, конечно, читал и раньше общие исповеди, составленные разными отцами, но такого живого чтения ещё не случалось. Впрочем, здесь всё-таки можно списать на то, что рядом был Алексей Иванович, который то вздыхал, то погружался в такое молчание, что невольно хотелось, чтобы он начал вздыхать, то вдруг начинал хохотать, а то решительно пресекал чтение: «Ну, это не про нас, пропускай абзац». Но я читал всё. Мне казалось, что именно текст отца Николая делает нас такими отзывчивыми, он и в самом деле не воспринимался как обычный текст, а казалось, что я слышу спокойный мерный голос отца Николая, словно он разговаривает с нами. Он ещё без епитрахили, и мы просто беседуем о мире. И я сейчас не себя увидел, вернее сказать, не только себя — я мир увидел. Может, это неправильно: за собой надо следить, но эта исповедь говорила о мире, из которого мы явились. Её надо читать на большой площади. Всем миром. Только соберётся ли площадь батюшку слушать? Так только, где-нибудь между Шевчуком и Земфирой... Вот, если б без них, как ниневитяне <sup>[116]</sup>... А ведь и правда, времени на покаяние совсем мало. Какая-то ниточка удерживающая. Господи, укрепи тех незнаемых праведников, ради которых держится мир <sup>[117]</sup>. Долго ли? Разве мы не слышим стук в дверь <sup>[118]</sup>? Все эти землетрясения, наводнения, ураганы, СПИД, наркотики, нефть — это ли не стук в дверь?

И я читал всё. Даже то, что, казалось бы, и в самом деле отношения лично ко мне не имело. Вдруг представил, что вот сзади большая площадь — и я читаю. Даже то, чего не знаю, читаю. А отец Николай знает. И видит, и ужасается от этого проходящего образа <sup>[119]</sup>. И скорбит, и

молится.

А мир безопасно висит себе на тоненькой ниточке, как ёлочный шарик...

Вот такая получилась подготовка к исповеди.

Мне приходилось задумываться, особенно по молодости, в чём, собственно, талант писателя? Ведь вот обычные слова: «Мороз и солнце — день чудесный!»<sup>[120]</sup> Ну никаких замысловатостей, чего-то необычного или поражающего глубинной мыслью. Но это так пробирает и такой сразу восторг в душе! Сразу всё видишь: и мороз, и солнце, да и всю искрящуюся округу. А сколько любви здесь к родине, вообще ко всему Богом устроенному миру! Так в чём талант? Что слова какие-то незнакомые или трудно расставить их в правильном порядке? Нетрудно. Вот и пишут сейчас все, кому не лень. А любви к миру не имеют. К себе, разве что. Но вот пусть талантище и пусть любовь. Как эта любовь оживает во мне через бумагу и краску? Я же чувствую её. Или — «нет, ребята, я не гордый, не загадывая вдаль, так скажу: зачем мне орден, я согласен на медаль»<sup>[121]</sup>. И здесь — любовь. А вот — «жизнь надо прожить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы»<sup>[122]</sup>, «но надо было продолжать жить и исполнять свои обязанности»<sup>[123]</sup>. И ведь и здесь — тоже. Свет русской литературы всем светит. О, русская литература, можно бесконечно множить примеры, но в чём секрет? Как передаётся эта живая любовь через мёртвое дерево и высохшую краску? Как надо любить, если даже через века я чувствую эту любовь: «Не пора ли нам, братия, начать словесы...»<sup>[124]</sup> — и не могу не откликнуться на неё?!

Талант не в искусном обращении со словом, не в препарировании и ломании строчек, не в придумывании форм, наворачивании сюжета и так далее, и тому подобное, чем чаще всего гордятся пииты. Это, конечно, бывает даже и любопытно, но главное — Любовь. Будет Любовь — даст Господь и Слово.

С этим я и благодарно уснул.

## День седьмой

### 1

Спал я весьма чутко, возбуждения прошедшего дня, видимо, сказывались, а может, не хотелось проспать? И мне всё время слышался за окнами шум: то казалось, что это дождь, то слышались подъехавшая машина и какие-то голоса, то казалось, что всё это мне снится. Когда же показалось, что скрипят половицы в коридоре, я вытянул руку из тёплой спальной норки и посмотрел на часы: через десять минут должен запиликать будильник. Я подивился и обрадовался: это ангел предупреждает меня — вставай, вставай, скоро Литургия в Ксилургу. И мне хотелось торопить день, хотелось быстрее войти в него и жить им. Я поднялся и стал одеваться. В это время раздался стук в дверь, негромкий и уверенный, как условный сигнал.

— Да-да, уже встали! — отозвался я.

И всё, что слышалось вне стен комнаты, исчезло. Зато ожило у нас. Взялся за свои часы и сел на кровати Серёга, заворочался отец Борис, до хруста потянулся Алексей Иванович.

— Что, Сашулька, на исповедь уже?

— Умываться.

Когда я вернулся, окончательно проснувшийся и открытый наступающему дню, спросил:

— А слышали, как ночью машина приезжала?

Алексей Иванович ещё не поднимался и печальным кошачьим взглядом наблюдал за мышиною вознёй в комнате.

— Ты, Сашулька, окончательно съехал, — отозвался он. — Забыл вчерашний лес-то? Какая тут машина?

И правда, какая мне разница, и я пошёл в церковь. Было темно. Грузно передвигаясь от подсвечника к подсвечнику, свет возжигал отец Мартиниан. Я следом за ним обошёл иконы и встал на своё (уже «своё»!) место. Я ждал отца Николая. Вот он выйдет, начнёт исповедовать и можно будет пересказать всё-всё, чтобы... чтобы что?.. Где-то глубоко-глубоко я почувствовал что-то нехорошее в желании исповедоваться именно отцу Николаю. Почему? Неужели потому, что хочу рассказать ему о себе, а не исповедоваться? Да, мне хочется, чтобы он, узнав меня, наставил, подсказал, объяснил, но разве это исповедь? Да, это исповедь, убеждал я себя, глуша нехорошее чувство, я для этого добирался до Ксилургу, для разговора с отцом Николаем. И опять кольнуло — «для разговора», а сейчас — исповедь.

Вышел из алтаря отец Николай, несколько секунд смотрел в пробитую жёлтенькими огоньками темноту.

— Поисповедуешь, что ль... — обратился он к отцу Мартиниану без всякого знака вопроса.

— А где?

— Да где хочешь. Вон у окошка можно. А ты, — это уже отцу Борису, — давай, что там у тебя, облачайся.

Отец Борис, показалось, подскочил от радости и бросился в комнату.

А я и не заметил, как собралась братия. День поскучнел. Я с завистью смотрел на пробежавшего в алтарь отца Бориса и думал о своём недостоинстве — отец Николай исповедовать не будет, он будет служить с отцом Борисом. А вот он достоин. И что я взъелся на него? Хороший же. Молодой только. Оттого и суетливый. А так, очень даже хороший. Не каждого Господь приведёт на Афон да ещё сослужить старцу в самом древнем русском ските. А я... А кто такой я?..

Разве отец Николай не видел, как я хотел с ним поговорить? Значит, не достоин. Я нищ, я наг, я слеп... Я вот других упрекаю, Алексея Ивановича извёл, над отцом Борисом потешаюсь... Я стал припоминать своё, и чем дольше припоминалось, тем явственнее становилось, что не требовать и обижаться должен, а благодарить, что вообще жив и Господь на Свою Святую Гору допустил.

Священники вышли к царским вратам и помолились перед службой. Отец Николай и отец Борис прошли в алтарь, а отец Мартиниан посмотрел на нас, и у меня в голове — хотите верьте, хотите нет — чётко высветилось: «Страшно впасть в руки Бога живаго» [\[125\]](#).

— Пошли, — выдохнул отец Мартиниан, и я понял, что никакого причастия сегодня не будет.

И поделом.

Отец Мартиниан, отодвинув вязанки свечей, встал у окна, положил на подоконник Евангелие, раскрыл канонник и, помолчав немного, предупредил:

— Помолимся для начала.

Читал он так же, как и вчера, словно сам каялся. И снова отдельные слова падали точно и только углубляли то, что вспомнилось мне. Я только пыль стёр — и ожила картинная галерея, а он пробивал стену, на которой висели картины, и невольно виделось глубже и дальше. Я, конечно, догадывался, но видеть так явно и осознавать, что это в тебе...

— Ну?

Я и не заметил, что отец Мартиниан закончил молитвы, теперь был слышен голос Володи, читающего часы.

Алексей Иванович подтолкнул меня, я шагнул, и тяжёлая рука пригнула меня к Евангелию. Отец Мартиниан склонился ко мне.

Он вздыхал и сокрушался вместе со мной, когда меня начинало заносить, останавливал, когда я запинаясь, подбадривал, где я не находил слова, говорил за меня...

Когда он разрешил меня и снял с головы епитрахиль, рубашка на мне была мокрой, озноб несколько раз пробирал меня и несколько раз жаром покрывалось тело. Но всё это было внешне и не волновало меня. Внутри я был выметен и прибран.

Я сложил руки под благословение. Отец Мартиниан разогнулся и благословил. Я всё не отходил.

— Гм, — то ли спросил, то ли приободрил отец Мартиниан.

— Батюшка, а причаститься можно?

— Причащайся.

Именно в этот момент я решил и продолжаю утверждать по сей час, что не встречал на земле человека добрее отца Мартиниана.

Я поднял глаза — тьмы за окном не было, свет проник в неё, и она таяла, как тает обогретая ладонью льдинка.

Из алтаря донеслось:

— Благословенно Царство Отца и Сына и Святаго Духа...

Тяжело переваливаясь, прошёл на правый клирос отец Мартиниан. Я мельком глянул в сторону Алексея Ивановича — он стоял тихий, умиротворённый и благодарный.

Уже после я долго думал, в чём лично для меня было чудо Литургии в Ксилургу? Ведь не только в том, что было полное ощущение, что я тоже реально участвую в богослужении вместе с отцом Борисом, отцом Мартинианом и архимандритом Николаем. Мне доводилось быть во время Литургии в алтаре, но никогда у меня не возникало чувства простоты и равности моего участия в службе. Пусть моё стояние возле стасидии и слабая молитва были каплей общей службы, но она была значима, как значима каждая капля, без которой не может быть полна чаша.

Впрочем, во время службы я ни о чём таком не думал. А недавно пришёл с вечерней службы — тут болит, спина изнылась, а когда батюшка загнул проповедь на полчаса, так я вообще занервничал, а сам думаю: как же на Афоне-то служилось легко и просто. Службы нисколько не тяготили, наоборот, была радость предстояния. Куда это ушло? Конечно, я виноват сам. Дом был выметен. Но чем я начал заставлять его по возвращении? Да тем же, что оставил, уезжая на Афон! Впрочем, не будем о грустном. Лучше — о службе.

Удивительное дело, сейчас, вспоминая, я никак не могу объяснить следующее: когда подходил к Чаше, я был уверен, что наступило утро, настолько было светло в храме, что я хорошо и ясно видел окружающее. И в то же время, когда служба закончилась и мы отправились с Алексеем Ивановичем на очередное картофельное послушание, то, выйдя на минуту за стены монастыря, увидели яркую полосу, разделяющую небо и землю. И это изумительной красоты сочетание красок густого синего и пламенно-жёлтого заставляло замереть и некоторое время завороченно следить за расширяющейся полоской света. Солнце только собиралось явить себя миру. Но я же точно помню, что читал в храме благодарственные молитвы, ясно видя текст, и это не мог быть свет только свечей.

Не могу объяснить.

С чтением благодарственных, кстати, накладочка вышла. Отец Николай вышел из алтаря — светлый, лёгкий, словно чудовищной силы напряжение сошло с него.

— Читать-то можете? Читайте благодарственные, — и кивнул на большую крутящуюся подставку, на которой были разложены книги, по которым велась служба. Я шагнул к ней (точно помню, что всё было ярко освещено), сразу увидел молитвы по Святом причащении. Но шрифт показался мелковат, к тому же, я был без очков.

Я самочинно бросился в комнату и тут же вернулся в очках и со своим молитвословом с крупным шрифтом. И, не отдышавшись, стал читать. Читал я вдохновенно. Бывает такое: сделаешь что-нибудь и чувствуешь — хорошо сделал. И тут было такое же чувство. Впрочем, я вообще тогда после причастия был само ликование.

Единственное, помню, запнулся, когда соображал, какую Литургию служили, Иоанна или Василия. Решил, что, несмотря на всю праздничность, Иоанна, никто меня не поправил, так что, выходит, угадал.

В общем закончил я и поднял радостные глаза на отца Николая.

— Что читал-то? — спросил он.

— Благодарственные молитвы, — несколько опешил я.

— Всё на ходу сочиняют, всё на ходу...

Я растерялся: что я не так читал? И произнёс:

— Зато от чистого сердца.

— Эх, одно слово: сочинители, — и пошёл себе, оставив меня в ещё большей растерянности.

2

Теперь мы отправились на кухню, по дороге ещё полюбовавшись восходом.



На кухне было светло, но там, понятное дело, был электрический свет. Но в храме-то электричества не было! Ладно, это я опять о свете. Пусть для меня это останется загадкой, а пока про кухню, на которой нам довелось узнать много чего любопытного.

Руководил нами Володя. Все пребывали в приподнятом, весёлом расположении духа, хотелось делиться этим состоянием, весь мир хотелось обрадовать. Но мир ещё спал. Так что мы были предоставлены друг другу. Но как делиться бывшей в нас радостью, мы опыта не имели, нужных слов не находили, всё, что подсовывал ум, выходило плоско, ущербно и ничтожно по отношению к тому, что было в нас, умения же молчать мы не имели тем более, и потому пустословили.

Ну, поначалу мы только изливали восторги от Афона вообще и от Ксилургу, в частности. Слегка польщённый нашими словесами, Володя кивал головой и, когда мы заговорили о мечте, что-де хотелось бы и на саму Гору взойти, он отмахнулся:

— Да ладно, тут везде святость. Для этого необязательно на Гору забираться. Только разве что любопытства ради. Я вон третий год на Афоне и не стремлюсь. Мне рядом со старцами хорошо.

Вроде, говорил он искренне, но я не мог представить, как это быть на Афоне и не желать попасть на саму Гору. Я понимаю, что недостойн, но мне хочется заслужить это достоинство. И потому такой отзыв о Горе, как показалось, несколько пренебрежительный, задел. Вспомнились лиса и виноград. Но я постарался мирскую мерку отбросить и подумал: а если бы у меня был выбор — провести день с отцом Николаем или сходить на Гору? Конечно, я бы остался с отцом Николаем. Собственно, я и выбрал. Вернее, не «я» и не «выбрал», а милостью Божией вышло для меня полезное: я попал не на саму Гору, о которой мечтал, а к отцу Николаю в скит Ксилургу, о существовании которого ещё пять дней назад не имел ни малейшего представления.

Не знаю, о чём задумался Алексей Иванович, но мы примолкли. Наше затишье вдохновило Володю, а может, наши позы, склонённые над картофельными очистками, напомнили почтительно внимающих всякому слову новобранцев, и он, взмахнув ножом, которым резал рыбу, словно дирижёр, требующий внимания, изрёк:

— Отец Николай — это раб Божий. Таких тут единицы.

Мы и не пытались спорить, а ещё усерднее заскоблили картошку. Володя вдохновился ещё больше.

— Он же провидец. Вот вас, например, никто не ждал, и я ещё удивился, чего это отец пошёл печку растапливать в комнате. А он уже днём знал, что вы придёте. И про мир он всё знает, и ни на какие лица не смотрит. Когда Путин привозил вашего будущего президента, ну, этого... как его...

— Вообще-то у нас выборы зимой, а пока пять кандидатов, — робко заметил я.

— Да нет, — Володя отмахнулся от пятёрки, как от мухи. — Того, который будет... Он привозил его старцам нашим показать и благословиться... Простая же фамилия...

Я, конечно, слышал, что Путин недавно был на Афоне, но писали об этом мало, я ещё подумал, что не освещают его поездку на Афон потому, что тогда нашим СМИ пришлось бы и Христа, и Крест поминать, причём в истинных смыслах, а от этого их так, поди, закорёжило, что решили умолчать. Впрочем, для обывателя давно стало привычным: о чём пишут много и с помпой (съезды там, выборы, заседания, новые программы, награды) — дело бесполезное и его, народа,

не касающееся, а вот о чём говорят вскользь — это главное и есть. Но в тот раз даже вскользь-то не упоминали, поэтому я никак не мог припомнить, с кем же Путин был на Афоне? А тут, выходит, он сюда под благословение нового президента привозил, которого нам ещё, между прочим, как бы выбирать.

Честно говоря, именно в эту минут я и полюбил Путина. И многое, чего я никогда не понял бы из его поступков и не принял бы, и понял, и принял.

— Иванова или Медведева? — спросил я.

— Вот, точно — Медведева! Он маленький такой, приехал сюда, стоит, как школьник, а отец Николай ему: «До каких пор будете американцев слушаться?!» А тот так, извиняясь: «Да мы уже не слушаемся, меняется всё...».

Мы с Алексеем Ивановичем уже как с минуту перестали чистить картошку и следили за взмахами Володиного ножа.

— Ух и задал тут ему отец Николай! — Володя заметил наконец наши лица и перестал махать ножом.

Пауза затягивалась.

— Ну, и как? — спросил Алексей Иванович. — Благословил?

— Нормально, — отозвался Володя, вновь занявшийся рыбой, и утешил: — Хороший президент у вас будет [\[126\]](#).

Во всём этом меня задела две вещи. Во-первых, обращение «у вас», которым подчёркивалась отделённость России от Афона, а мне-то до этого казалось всё здесь настолько русским, что Ксилургу я ощущал самой что ни на есть российской глубиной, откуда тянутся корни [\[127\]](#). Не сам корень, а откуда тянется. А второе — показалось, будто Володя считает, что нас и в самом деле волнует, кто будет президентом. Я вообще стараюсь не переживать из-за тех вопросов, на которые никак не могу повлиять. Хотя, бывает, всё равно переживаю. За Сербию, например. А что толку от переживаний? Надо было брать ружьё, бросать семью и ехать за тридевять земель? Но это ничего не решало, только добавилось бы испытаний и трудностей для семьи. Если бы я мог увлечь за собой... на доброе дело... А откуда я знаю, доброе оно или нет? Я уже сколько раз убеждался здесь, на Афоне, что ничего не знаю, каждый мой шаг — шаг слепого котёнка.

Молиться надо. Учиться молиться.

— А старцы... Много сейчас на Афоне старцев? — спросил я.

Володя, по-моему, даже обиделся.

— Вот отец Николай — старец, самый настоящий.

— Это — да. А ещё?

— В Пантелеймоне — отец Макарий. Тоже — раб Божий.

— Мы у него исповедовались, — вставил я.

— А ещё там есть раб Божий Олимпий — чудеснейший человек.

— Олимпий? — переспросил я. — Это не тот ли, который нас встречал и по монастырю водил?

— Да-да, а вы знаете, кто он? Он — академик, известный реактивщик.

— Как это — «реактивщик»?

— Он реактивные двигатели разрабатывал. Всё, что сейчас летает, через него проходило, а вот здесь теперь следит за поминовениями, паломников принимает [\[128\]](#).

Я был поражён. Не знаю уж, насколько «всё, что летает», проходило через отца Олимпия и действительно ли он академик, но то, что это весьма образованный человек, угадывалось сразу — и какая степень смирения! Человек, поди, для космоса двигатели конструировал, а тут ходи с толпой неслухных паломников, рассказывай им, чем византийское время отличается от европейского. А может, это и поважнее космоса? Да и не только про время он нам рассказывал. Я с благодарностью вспомнил всю нашу экскурсию по Пантелеимонову монастырю и быстрого отца Олимпия, с доброй улыбкой рассказывающего нам об Афоне и сокрушающегося, что мы то и дело задерживались и не поспевали за ним. И мне стало понятно, откуда эти быстрота и сокрушение: он так много хотел рассказать нам...

— А недавно у нас ещё один старец объявился, — тем временем продолжал Володя. — Хватит картошки-то.

Он, явно выдерживая паузу, занялся супом. Побросал в кастрюлю крупные куски рыбы, стал резать картошку.

Наконец Алексей Иванович спросил:

— Как так — объявился?

— А сам себя объявил, — живо откликнулся Володя и, насладившись нашими лицами, воткнул нож в разделочную доску и стал рассказывать про бизнесмена, который, оставив мирское, пешком пришёл на Афон аж из Владивостока и поселился в самом труднодоступном месте — на Каруле [\[129\]](#), а недавно был пострижен в Великой лавре с именем Афанасий.

— А-а, я читал о нём, — вспомнил я. — У игумена N [\[130\]](#).

— Вот-вот, — остановил меня Володя, недовольный, что я перебил его, а более — тем, что не удалось удивить нас. Володя вытащил нож из разделочной доски. — У него нож — вот такой, — тут Володя чем-то напомнил рыбака, — и по лезвию надпись: «Живый в помощи».

Мы опять открыли рты — и пошёл Володя рассказывать... Я еле сдерживался, чтобы не улыбаться, настолько умилителен и непосредственен был Володя. Сам-то он, конечно, ничего этого не видел, но на Афоне — свои легенды. Да и при разговоре отца Николая с Медведевым, если и был такой, вряд ли Володя присутствовал, а попробуй выскажи сомнение, так он тут же начнёт показывать, где стоял отец Николай, а где — Медведев, ещё, поди, припомнит, что тот держал в руках какую-нибудь папку с гербом. Я и сам такой, люблю, грешным делом, сочинительство!

— Здорово! — не удержался я от оценки Володиных рассказов, хотя, конечно, наибольшее впечатление производил сам Володя.

— Выйду я, — стараясь не рассмеяться, выдавал Алексей Иванович и попятился к выходу.

Я было напрягся от того, что остаюсь с Володей один на один, но в дверях Алексей Иванович столкнулся с отцом Борисом и Серёгой.

— О! — обрадовался отец Борис. — А мы думаем, где вы? А что вы тут делаете?

— Картошку чистим, — весело ответил Алексей Иванович и вышел.

— А чего нас не позвали? — огорчился Серёга.

Я махнул рукой: ладно, мол, нам не в тягость, даже в радость хоть чем-то послужить скиту. И тут же подумал, что Серёга как раз и огорчился оттого, что не позвали послужить. Он и так нынче более всех пострадавший: мы с Алексеем Ивановичем причастились, отец Борис сослужил отцу Николаю, а Серёге только кусочек просфорки достался.

Володя тоже почувствовал желание Серёги и не стал гасить порыв:

— Мы ещё посуду не мыли.

Я уступил Серёге самое почётное — огромную чугунную сковородку, а сам взялся за чашки.

Отец Борис подсел к Володе и ласково попросил:

— Расскажите что-нибудь об Афоне.

Я чуть чашку не грохнул. Мельком взглянув на набирающего в грудь воздуха Володю, я подмигнул Серёге, кивнул на недомытые чашки и бочком потёк к выходу.

— Афон — это Святая Гора, — услышал я за спиной, и вдруг лукавый сразу подбросил картину, как отец Борис достаёт блокнотик и начинает записывать. Тут я не удержался и рассмеялся. Слава Богу, что уже был на улице.

### 3

Чего ржёшь? — из фиолетовой гущи возникли тень и голос Алексея Ивановича. — Пойдём я лучше тебе чудо покажу.

Он повёл меня сквозь завалы, россыпи строительного мусора, провалы в стене, и вдруг мы оказались на площадке, за которой ничего не было — только ночь и алый порез вдоль её тулова, откуда медленно вытекал свет. В какой-то момент тёмные тона отступили и ничто уже не сдерживало рождение дня. Стали различимы лес, горы, даже показалось, что вдали белеется Каряя.

— Здесь, что ли, куришь?

Алексей Иванович глубоко и разочарованно вздохнул.

— Ладно, ладно... Спасибо, что позвал. Это было... — я искал слово.

— Это уже было... — досказал Алексей Иванович и снова вздохнул, только теперь не разочарованно, а словно хотел вобрать в себя всё это окружающее благолепие, тишину и мир.

— Пойдём, — позвал я. — А то Володя никогда не докончит уху.

Всегда готовое воображение представляло сидящими на кухне с открытыми ртами отца Бориса и Серёгу и размахивающего перед ними ножом Володю, то ли отражающего набег янычар, то ли поборников ЕС. Однако реальность в очередной раз подтвердила, что особо доверять воображению не следует: никакие страсти кухню не будоражили. Володя руками не махал и был без ножа. Отец Борис писал в блокнот, а Серёга стоял рядом и внимательно следил за надписью. Вкусно пахло жареной картошкой и разваренной рыбой.

— ...если что, его и найдёте, это — раб Божий, — заключил Володя. — Ну, всё готово, пойду отцов позову.

Когда он ушёл, отец Борис сообщил:

— Записал, к кому нам в Ватопеде обратиться.

Мы с Алексеем Ивановичем переглянулись: так, мы уже и в Ватопед идём, впрочем, этого следовало ожидать, из Ксилургу нам уходить вместе и не в разные же стороны... Мы присели за накрытый стол, а отец Борис стал делиться полученной информацией.

— Представляете, отец Мартиниан уже сорок лет монахом! Сначала был в Псково-Печерской лавре и хорошо помнит самого Иоанна Крестьянкина <sup>[131]</sup>! А здесь, на Афоне, уже более тридцати лет!

Я механически отнял в уме тридцать с лишним лет и обмер. Так это что же получается, он был одним из тех монахов, которые первыми при советской власти поехали из России на Афон? Пантелеймон вымирал тогда, а греки всячески препятствовали пополнению его. Оставалось совсем немного старых монахов, которые с трудом могли выполнять лишь самые простые хозяйственные работы. И вот с великим трудом в конце шестидесятых годов удалось испросить разрешение на переселение на Афон трёх русских молодых монахов. Пока тянулась волокита с документами, один заболел, другой заболел уже на Афоне и вернулся на родину, остался один... и это Мартиниан? Его образ вырос у меня сразу до Пересвета, как того благословил преподобный Сергей спасать Русь, так и этого — Иоанн Крестьянкин спасать Русик.

— ...А отец Николай здесь с начала семидесятых...

Правильно, следующая отправка на Афон была в семьдесят четвёртом году <sup>[132]</sup>.

Это же как раз те, кто сохранил русский Афон!

А вот и они. Просто вошли, словно гости... Ну, не совсем, конечно, как гости, а как будто мы тут им праздник устроили: картошку почистили, стол накрыли... Трудно объяснить, но как-то не по-царски они вошли. А для меня после того, что поведал о скитниках отец Борис, достоинство их было не ниже царского.

Мы встали из-за стола, уступая место. Отец Николай положил камилавку на полку, повесил накидку.

— Помолимся.

Володя снял с плиты кастрюлю и водрузил на стол. Все ждали, пока положит себе ухи отец Николай. Тот налил половник, положил кусочек рыбки. И все остальные налили по половнику и положили по кусочку рыбки.

Уха получилась изумительная. И это при той простоте, когда Володя побросал в кастрюлю рыбу, картошку, сказал им «варись», ну, перекрестил ещё. Но не уха занимала. Я снова сидел одесную отца Николая и теперь ещё острее переживал, что вот совсем скоро мы съедем эту чудную эху, съедем картошку, попьём чаю... и надо будет уходить...

Все молчали, только ложки брякали о тарелки.

— Накладывайте ещё, — сказал отец Николай.

Но никто не потянулся к кастрюле. Отец Николай вздохнул и зачерпнул ещё подполовника, тут уж и мы взялись — уха действительно была великолепна. Так же ели и картошку — ждали, чтобы положил себе отец Николай (тот скребнул ложку), потом отец Мартиниан, и никто не смел брать добавки, пока отец Николай чуть не приказал:

— Берите-берите, я лучше чайку, — и взял из плетёной корзиночки сушку.

Отхлебнув, он обратился к отцу Мартиниану:

— Ты смотри, отец, как к нам последнее время писатели зачастили, к чему бы это?

Отец Мартиниан что-то гукнул, не отрываясь от тарелки.

— Ну да, — согласился отец Николай и пояснил нам: — Тут недавно ваш главный заходил.

Мы напряглись: кто это у нас главный писатель?

— Кто у вас главный... — повторил отец Николай. — В Москве-то...

— Ганичев, что ли? — неуверенно, как студент, не верящий, что ответ может быть таким простым, предположил я.

— Да-да, Валерой зовут. Был тут недавно. Обещал помочь проповеди напечатать. Добирайте картошку-то.

Я дерзостно подумал: а не на одной ли койке ночевал я с Председателем Союза писателей России?

— Отец Мартиниан, а вы отца Иоанна Крестьянина застали в Псково-Печерской лавре? — встрял в завязывающуюся было беседу о судьбах русской литературы отец Борис.

Отец Мартиниан нимало не озаботился вопросом и продолжал есть.

— Я ведь тоже в лавре жил... — пытался поддержать тему отец Борис. — Только уже не застал его... Впрочем, я и недолго был в лавре... Потом я переехал в N, потом... а вы не знали такого-то?..

— Отец Иоанн его сюда и благословил, — произнёс отец Николай и продолжил: — К нам так-то редко приходят, это в последнее время засуетились что-то, когда наш скит едва грекам не отдали.

— Да вы что? — изумился отец Борис. — Разве такое можно?

— Всё возможно. Видели, как тут сейчас строится всё? Такие деньги Европа вбухивает. Физически уничтожить не могут, так они цивилизацией своей выдавливают.

— Ничего, — вдруг подал голос Алексей Иванович, — пока отец Мартиниан, — чувствуется, Алексей Иванович Мартиниана тоже полюбил, — и вы, батюшка, в строю, никто вас отсюда не сдвинет.

— Ну да, вон он какой могучий. Сто с лишком килограммов. Только вот ноги последнее время болят.

Отец Мартиниан, доев, отодвинул тарелку и взял соответствующую кулаку огромную кружку, отхлебнул и улыбнулся:

— Пока ходят...

И это прозвучало как «не дождётесь».

— Вот-вот, — улыбнулся и отец Николай. — У нас почти договорились о передаче Ксилургу грекам, но пока удержали...

— Неужели совсем нет помощи? — снова удивился отец Борис.

— А вы посмотрите, что в мире творится.

И вот, удивительное дело: отсюда, с Афона, весь мир виделся, как, ну, я не знаю, муравейник, что ли, какой-то — всё перед глазами. Вон бревно тащат, вон дерутся, а вон жрут кого-то, и всё мельтешение, суета, непонятно чему подчинённая. И ведь создаётся ощущение некой разумности кажущихся разрозненными и бессмысленными действий — вон ведь какая пирамида получается...

На Афоне вообще зрение особенное. Вот Афона вот весь мир. Не Россия, не Америка, не Европа или Китай, а — весь. И тут понимаешь, что, по большому счёту, никакой разницы, если смотреть с Афона, между Россией и Америкой нет. Это ведь страшно понять. А признать — ещё страшнее. Мы привыкли считать, что отличаемся от Америки и обязательно — в лучшую сторону. Мы, мол, духовнее. Мы, русские, — душа мира. Ан нет — мы такая же часть единого мира. И нам ведь тоже хочется, чтобы на Афоне были хорошие дороги, хорошие гостиницы, чтобы можно было заплатить, приехать, отдохнуть, ну, помолиться заодно уж.

И я — часть мира. Втянутая, вовлечённая — неважно. Но — часть, которая и не стремится отречься от него, поругиваю порой, но исполняю всё, что мир требует, и продолжаю жить по его законам, а не по благодати...

Мы не верим в благодать. Она для нас эфемерна, нереальна. А закон — реален, это вам любой юрист скажет.

А на Афоне живут по благодати. Вот и вся разница.

Но неужели в мире совсем нет благодати?

— Всё возможно, — повторил отец Николай. — Ну, допивайте да будем вас провожать: гостям-то два раза рады. Мы отдыхать по кельям, а вы — дальше. Вы куда, в Ватопед?

— Хотелось бы, только, говорят, туда просто так не принимают.

— Примут, куда денутся...

— Здесь же недалеко? Мы по карте смотрели, часа два идти?

— Тут всё рядом... Вон, приезжали к нам в прошлом месяце гости, звонят: мы уже на пристани, часа через два будем. Я им говорю: дай Бог, чтобы через семь добрались. Так и вышло: ходили, плутали, и дорога, вроде, знакомая, а так через семь часов только и пришли.

— А у вас сотовый есть? — спросил отец Борис.

— А как же, — и отец Николай, словно фокусник, извлёк из недр подрясника чёрную коробочку.

Чёрный прямоугольник (чуть не сказал «квадрат») так дико смотрелся в руках старца. Не то чтобы эта вещь вдруг разрушила всё очарование Ксилургу, но она казалась неуместной, лишней, как рояль на деревенской свадьбе.

— Только я им не пользуюсь, так, эсэмески шлют мне...

И слово «эсэмески» не ожидал я услышать от старца. А с другой стороны, что такого? Владеет терминологией.

— Помолимся.

Мы встали из-за стола. Помолились. Вышли на улицу. День был чист и прозрачен.

— Идите костницу посмотрите — очень полезно, — предложил отец Николай и объяснил, как выйти за монастырь и как спуститься в небольшой подвальчик. — Там открыто, — добавил он.

Это оказалось как раз недалеко от площадки, с которой мы наблюдали рождение дня.

— Пойдём, — потянул я товарища, заметив, что тот мешкает.

— Я был там уже... — немного виновато признался Алексей Иванович.

— Когда?! — Я и в самом деле возмутился: как он мог скрыть от меня и сам, втихаря!

— Возвращался утром, и отец Николай тут стоит. Думаю, он догадался, куда я ходил. Только ничего не сказал, а отвёл в костницу. Ты иди, а мне поговорить с ним надо...

Последнее меня возмутило ещё больше: он уже и «поговорить» договорился — и опять втихаря! Он, значит, будет беседовать (я покосился — отец Николай присел на лавочку, стоявшую у дверей трапезной, и гармонично вписался в благодатную картину чистого и прозрачного дня), а я, значит, — в костницу. Я тоже хочу поговорить со старцем!

— Иди, иди, — так, чтобы слышно было только мне, говорил Алексей Иванович.

— Ну, вы идёте?! — прикрикнул из разлома в стене отец Борис.

Если мы сейчас пойдём к старцу вместе, то Алексей Иванович никогда не скажет ему то, что скажет без меня. И тот не скажет ему того, что надо знать только ему.

— Идём! — крикнул я и поспешил за отцом Борисом.

#### 4

Костница <sup>[133]</sup> не произвела на меня впечатления.



Может, оттого, что не удалось поговорить со старцем, а Алексею Ивановичу удалось. Какая-то чуть ли не юношеская ревность терзала меня. И потому, что я понимал, насколько глупы и мелочны юношеские обиды, а теперь вот эта глупость и мелочность всплыли во мне, было ещё досаднее.

В общем, костницу такой я и представлял. Сложенные в кучу черепа, над ними надпись: «Мы были такими, как вы, вы будете такими, как мы». Ну, и ещё достаточно свободного места, ещё на пару таких пирамид хватит. В уголке стоял аналой, висели иконы, горела лампада, стояла подставка под книги. Видно было, что здесь часто молились. Мне даже представилось, что, может, в храме братия служит только по воскресным и праздничным дням, а так молится здесь. Замусоренный умишко сразу извлёк «бедного Йорика», хотя, впрочем, почему «замусоренный»: «Где твои губы, где твои улыбки, где твои шутки?» — между прочим, весьма христианский текст. Я сфотографировал отца Бориса и Серёгу на фоне черепов и стал выбираться наверх.

В костнице удивило, пожалуй, лишь то, что черепа, сложенные в пирамиде, показались маленькими, как бы детскими, младенческими... И потом — их была целая пирамида, а живых в Ксилургу — три человека, тоже не вязалось, словно эти детские черепа были нездешние, специально явленные тут для пущей молитвы скитникам. «Это вифлеемские младенцы, — отчего-то подумалось мне, — и число примерно то же».

Мне, конечно, хотелось пойти побыстрее к сидящему на скамеечке у трапезной отцу Николаю, но я понимал, что это лукавый меня торопит, чтобы явился в самый неподходящий для Алексея Ивановича момент. И я пошёл на открытую площадку. Солнце уже поднялось высоко и старалось всю — день обещал быть жарким. Вот ведь какая тенденция: как в греческий монастырь идём — солнце, как в русский — так дождь.

И ещё я подумал, что Алексею Ивановичу беседа со старцем нужнее. У меня-то что: дома — слава Богу, сын не болеет, в храм ходит, вот теперь девочку ждём, жена как раз ушла в декретный... Работа... а что работа... Хотелось, чтобы работа стала служением. Но от кого это зависит? От меня. В конце концов, служить можно на любом месте, куда бы ни поставил Господь.

Мне бы исполнить. А вот — что исполнить? В чём моё задание на Земле? В том, что оно есть, я не сомневаюсь, иначе зачем бы мне и появляться на свет. Но вот в чём промышление обо мне? Ведь чтобы исполнить, надо знать. Или не обязательно?

С другой стороны — чего мудровать-то: не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать и люби ближнего своего, как самого себя<sup>[134]</sup>. Всё просто. Но всегда хочется узнать: чего ещё недостает мне?

А ведь страшно услышать конкретный ответ, потому что придётся исполнять.

И так ли уж я не убиваю, не прелюбодействую, не краду, не лжесвидетельствую, почитаю отца и мать, про ближних вообще говорить нечего...

— Красота-то какая!

Я обернулся и увидел счастливое лицо отца Бориса. И такой он был светлый и радостный, что мне стало стыдно за все насмешки над ним, захотелось прощения попросить.

— Сделать бы здесь три кущи, да? — произнёс он, не зная, что сказать.

— Да, — и не стал ничего просить.

— А придётся уходить-то...

— Придётся.

— Ничего, Пётр, Иаков и Иоанн, как ни хотелось остаться, а тоже с Фавора сошли, а свет в них остался.

Я не знал, как реагировать на такое сравнение, и промолчал.

— Когда пойдём-то?

— Да вот Алексей Иванович с отцом Николаем поговорит, да и можно идти.

Зря я, наверное, так с ближним, надо было помягче, можно было ещё потянуть время, но, видимо, ревностный червячок никуда не делся, продолжал точить и завистливо обращаться в сторону лавочки у трапезной, иначе зачем направлять туда другого? То есть, если и мешать, то пусть это буду не я. Но получилось языком — главным врагом моим.

— Вот ведь — везде успевает, — то ли восхитился, то ли возмутился отец Борис.

— Значит, именно ему надо, — попытался я защитить не столько Алексея Ивановича, сколько себя.

— Я бы тоже хотел с отцом Николаем поговорить, — вздохнул Серёга.

Солнце начинало припекать.

— Пойдём, — сказал отец Борис. — Он уже долго разговаривает.

И мы пошли: отец Борис, Серёга и, прячась за их спинами, я.

Старца мы застали одного под сенью балкончика второго этажа в самом мирном расположении духа.

— Сходили? — обратил внимание на нас отец Николай и поднялся с лавочки.

Отец Борис как духовный представитель нашей троицы, стал делиться впечатлениями, получалось у него восторженно и оттого сумбурно, но главное — искренне.

Отец Николай минут пять слушал, потом снял с головы скуфейку и протянул отцу Борису.

— Примерь.

Отец Борис снял свою, передал её Серёге и водрузил на голову скуфью отца Николая. Покрутил головой туда-сюда и констатировал:

— Как раз!

— Вот и носи.

Я думал, отца Бориса разорвёт от переполнивших чувств. Там, на площадке, он хоть про три кущи вспомнил, а тут разводил руками, хватал по-рыбьи ртом воздух, но нужных слов не

находилось, наконец, спросил:

— А как же вы?

— Да мне ещё принесут.

— Благословите! — и отец Борис пал на колени.

— Ну-ну, — тот благословил и спросил: — А к чудодейственной иконе прикладывались?

— А у вас есть чудодейственная икона?! — воскликнул отец Борис, и его лицо осветил трепетный страх, видимо, представил, что ему сейчас за скуфейкой и икону пожелают.

— Пойдёмте.

И мы пошли за отцом Николаем в храм.

Икона находилась на левом клиросе, как раз рядом с ней я стоял службы. Это была большая икона Богородицы в светлом окладе, унизанная ниточками с дарами. Конечно, мы обратили на неё внимание, когда ещё обходили храм в первый раз. Она выделялась даже не множеством ниточек с дарами, а, если так можно сказать, рускостью. Она была печальна и светла одновременно. Самое лучшее в православии никогда не вызывает одного определённого чувства. Их всегда много и они разом касаются тебя — ты только отзывайся. Но вот эта печаль и этот свет вместе — это русское.

— От этой иконы много исцелений, — сказал отец Николай. — Особенно помогает она больным раком.

И он рассказал, что недели не прошло, как звонил ему паломник, бывший у него полгода назад, и тогда, по совету отца Николая, приложивший небольшую иконку к иконе Богородицы. Так вот, жена постоянно прикладывала маленькую иконку к больному месту и — исцелилась! Врачи так и не могут понять, куда уполз рак? Рассказал отец Николай ещё несколько последних случаев исцелений и говорил так светло, и по-детски так непосредственно переживал истории, что его неподдельная радость о каждом выздоровевшем передавалась и нам. Мы тоже радовались и даже перестали удивляться, что смертельный рак в очередной раз «отполз», — так и должно быть, если притекаешь к Богородице с верой и любовью.

— И вы иконочки приложите, у вас ведь они есть...

Конечно, у нас были маленькие пластиковые иконки — отец Николай всё знал.

Мы с Серёгой сбегали в комнату и принесли купленные в Ивероне иконки. Отец Борис тем временем завладел старцем.

Прикладывая иконки к чудотворному Образу, я старался не отвлекаться на беседующих отцов и всё же нет-нет да и взглядывал в их сторону, и то отец Борис мне казался красным, то чуть ли не зелёным, то казалось, что пот стекает по его лицу, и становилось боязно мечтать о разговоре с отцом Николаем.

Я старался думать о людях, которым попадут освещаемые иконки, и всё же не мог не заметить, как отец Борис едва не бегом бросился из храма. Это повергло меня в ещё большее замешательство, и я невольно стал дольше задерживать иконки на Образе. Между тем к отцу Николаю подошёл Серёга. Я пока продолжал прикладывать, но вот и у меня иконки

закончились, я поблагодарил Богородицу, отошёл от чудотворного Образа и услышал окончание фразы отца Николая:

— ...не всё же тебе деньги считать...

И тут Серёга вытянулся (хотя он и так под два метра), побледнел, потом согнулся и быстро зашептал что-то старцу. Я остановился и вернулся к Богородице.

Вот так, Божия Мать, не поговорить мне со старцем. А что бы я хотел спросить у него? Что?

А вдруг он мне скажет такое, что и меня в пот бросит. Вон как отец Борис-то убежал. И Серёгу пробрал, видать, бизнесмен, отца Бориса спонсирует... Ну ладно, а мне что такого может сказать отец Николай?

Об этом бесполезно размышлять. Когда я только воцерковлялся, то, готовясь к исповеди, рассуждал: вот я скажу то-то и так-то, а батюшка мне вот так, а я ему следующее и придумывал красивые фразы для ответов на предполагаемые вопросы. Но у меня был замечательный духовник — ни разу я не угадал ни одного вопроса, ни ответа, ни совета. И в конце концов отучился загадывать.

Потом так вышло, что я отошёл от своего духовника. Получилось похоже на взрослеющего ребёнка, который начинает мнить себя познавшим жизнь и жаждет собственных решений, зачем ему советы стариков? Даже оправдание придумали: пусть я совершу ошибки, но это будут мои ошибки, и только так, совершая ошибки, можно научиться их избегать... А там новые ошибки...

А зачем их совершать?

Я продолжал любить своего духовника, но стал всё реже и реже встречаться с ним. Потом построили храм возле моего дома и я совсем перестал ездить к нему. Иногда мы пересекались, радостно троекратно целовались, случались и беседы, но они были непродолжительны. Я чего-то боялся, он, видимо, чувствовал это моё желание дистанции и не давил на меня. Стал обращаться ко мне на «вы». После таких встреч у меня всегда оставался осадок неправильности моего поведения. Будто я проскочил мимо соседей по подъезду и не поздоровался.

Почему я решил, что вырос из его наставлений и больше в них не нуждаюсь?

Между прочим, духовник-то, пока я продолжал совершать ошибки, постригся в иноки, а скоро стал скитоначальником.

Вдруг кто-то толкнул меня, я очнулся и увидел, что отец Николай смотрит прямо на меня, а Серёга стоит чуть в стороне, и взгляд его необычный: вроде смотрит в потолок, а такое чувство, что — на звёзды.

Я шагнул к отцу Николаю.

И в это время в храм влетел отец Борис.

— Нашёл! — радостно сообщил он и потряс фотоаппаратом, как Моисей змеёй в пустыне <sup>[135]</sup>. — Сфотографируй нас с отцом Николаем. — Это он уже конкретно ко мне.

— Тогда идёмте к иконе, — предложил я и спохватился: — А можно возле иконы-то?

— Отчего же нельзя? Щёлкни. У иконы очень даже хорошо будет. Хоть что-то хорошее сохранится.

Нет, что ни говори, а чудесный всё же батюшка! И как он терпел нас! Мы совсем обнаглели: то так сфотографироваться, то эдак, я попросил отца Бориса тоже фотографом поработать. Тут и Серёга перестал потолок разглядывать — присоединился. А отец Николай улыбался, как старый добрый дедушка, которому оставили на попечение младенцев, те по нему ползают, тискают, разве что за бороду не таскают, а ему всё в радость — что с детей взять-то?

Наконец фотографироваться надоело.

— Всё, что ли? — спросил отец Николай и снова посмотрел на меня.

Не знаю, как там насчёт измызанной фразы, что-де «у меня пересохло горло», но я вдруг явно осознал: вот последний шанс поговорить со старцем, и я, сглотнув слюну, пробормотал:

— Нам бы маслица от иконки.

Отец Николай заулыбался ещё светлее, словно я ему что-то приятное сделал.

— Конечно, пойдём, и вы идёте.

Мы пошли к тому окошку, где исповедовал отец Мартиниан. Я пропустил вперёд отца Бориса и Серёгу, а когда дошла моя очередь, старец весело посмотрел на меня.

— Ещё, что ль?

— Для Алексея Ивановича.

Я взял ещё один пузырёк. Вот как раз здесь я стоял, когда исповедовался.

— Вот что, — сказал я и взял старца за рукав.

Не схватил, а так как-то непроизвольно получилось, что взял именно за край рукава. И старец не отдернул руку, а продолжал весело смотреть на меня. Я должен был заговорить первым. Я должен был сделать усилие и переступить что-то, а я не мог понять, что. Тут я заметил, что держу рукав старца, испугался и отпустил его.

— Не знаю, с чего начать...

— Так-так, — подтолкнул меня старец, и я камнем покатился с горы.

Не было в этом движении никакого чёткого пути, я стучался о другие камни, чаще всего больно, сбивался, улетал в сторону, я говорил сумбурно, бессвязно, перескакивая с одного на другое. Это не было исповедью. Это утром я каялся, открывая всё больше и больше в себе. Здесь я хотел открыть мир и как там быть такому, каким я вышел после исповеди и причастия. Я понимал всю глупость моего положения. После открывшегося, после того, как, не скажу, прикоснулся, но увидел, что можно и на земле жить по благодати, иначе, чем в миру, я говорил о своём месте в мире. То есть, я сознательно уходил обратно туда, к больно ударяющим камням. И чем больше я понимал абсурдность своих словес, тем бестолковее становилась моя речь. Я запутался окончательно и замолчал. Камень достиг дна и, подняв облачко пыли, замер. Искрой выстрелило: «А вдруг он сейчас скажет: "Так оставайся", — и что тогда делать? Я ведь должен буду остаться». Не могу.

Старец, как показалось, немного огорчился и склонил голову на бок.

— Откуда ж я знаю, как там быть, это надо на месте решать... Ты вот что, сходи к вашему Владыке, — и обрадовался такому неожиданно пришедшему решению. — В самом деле, сходи — он у вас хороший. Скажешь, от Николая, он тебя примет. Сходи, сходи.

Я растерялся. Так всегда — настраиваешься на что-то вселенское, тут вот я думал, что мне сейчас чуть ли не судьбы мира раскроются, и моя в том числе, а так всё просто. Могло показаться, что старец перекладывает с себя решение, но ведь он уже и решил: иди в мир, и Владыка, то есть епископ, определит твоё место в сегодняшнем мире, и то, что определит, исполняй. Как раб ничего не стоящий<sup>[136]</sup>. Конечно, мелькнул следом вопрос: а как попасть к Владыке? Ну так отец Николай это тоже решил: «Скажешь, от Николая». И в самом деле, как всё просто в мире, если не городить и не выдумывать.

— Благословите.

Старец благословил и снова порадовался пришедшему решению, и повторил, разгоня последние мои сомнения:

— Сходи-сходи, он у вас хороший, — и уже ко всем: — Ну, пойдёмте проводим вас, а то и нам отдохнуть пора.

Я повернулся: вот и Алексей Иванович появился — все трое спутников стояли у противоположной стены, ожидая, пока я поговорю со старцем, и я благодарно всем улыбнулся.

Мы зашли в комнату за вещами, всё уже было собрано, я только передал пузырёк с маслицем Алексею Ивановичу и не преминул похвастаться:

— А мы с отцом Николаем сфотографировались у чудотворной иконы.

— А я посуду мыл, — в тон мне ответил Алексей Иванович.

— Молодец! — похвалил я его и добавил: — Господь не оставит тебя.

Все вышли из комнаты, и я окинул её прощальным взглядом, так полюбилась она, более всех комнат, в которых приходилось ночевать на Горе, — и чугунная печка, и койки, и столик с книжками; и тут взгляд уткнулся в лежащий на столике листок с исповедью. Я схватил его и выскочил в коридор. Отец Николай с ключом стоял у двери.

— Батюшка, а можно это...

— Стибрить, что ли?

— Как благословите, стибрить, так стибрить.

Как отец Николай умеет улыбаться! Сквозь бороду-то не видно, но — глаза!

— Бери, чего уж там...

Учитывая, что это единственный документ, вынесенный мною с Афона, привожу его полностью и напоминаю: мне кажется, что текст этой исповеди составлен самим старцем Николаем и, может быть, все ранее исписанные мною страницы и были ради этого листка.

## ИСПОВЕДЬ С КОММЕНТАРИЯМИ

(Краткий перечень самых распространённых в наше время грехов)

Я (имя) согрешил(а) перед Богом: слабой верой (сомнением в Его бытии). Не имею к Богу ни должного страха, ни любви, а поэтому: (каяться не умею, грехов не вижу, особо и не стараюсь узнать, что греховно, а что спасительно, не исполняю Его святые Заповеди, не вспоминаю о смерти, не готовлюсь предстать на Суд Божий и вообще равнодушен (на) в отношении к вере, к Богу и своей горькой участи в Вечности):

**Согрешил(а);** не благодарю Бога за Его милости. Приписыванием успехов себе, а не помощи Божией. (В самомнении и гордыне) надеялся на себя и на людей более, чем на Бога. Непокорностью воле Божией (желаю, что бы всё было по-моему). Нетерпением скорбей и болезней (боюсь страданий, попущенных Богом за мой грехи, забывая, что даны они мне для очищения души от них и спасения). Ропотом на свой жизненный крест («судьбу»), на людей, (Бога), обвинением Его в жестокости. Малодушием, унынием, печалью, ожесточением сердца, отчаянием в спасении, мыслями о самоубийстве, попыткой самоубийства.

**Согрешил(а):** оправдываю свои грехи (ссылаясь на житейские нужды, болезнь и телесную слабость, и что меня в молодости никто не научил вере в Бога). Будучи неверующим(ей), совращал(а) в неверие людей. Посещал(а) места безбожия (мавзолей, атеистические мероприятия...), участием в них. Хулой на Бога и на всякую святыню. Неношением нательного креста. Ношением обуви с крестами на подошве. Употреблением без разбора газет..., в которых было написано имя Божие... Называл (а) животных именами святых: «Васька», «Машка».

**Согрешил(а):** редким посещением церкви в воскресенья и праздники. Проводил (а) эти дни в работе, торговле, пьянстве, многоспани и развлечениях (от этого бывает помрачение ума, бесстыдство, плотская похоть, ссоры, повреждение здоровья...). Нехождением в церковь (из-за дождя, грязи, мороза... по лени и нерадению). Опоздыванием в церковь и ранним уходом из неё. На службе — согрешил(а) разговорами, смехом, дреманием, невниманием к чтению и пению, рассеянностью ума, хождением по храму без нужды. Проходя по храму, толкал (а) людей, грубил(а). Слушал(а) проповеди с чувством критики и осуждения проповедующего, уходил (а) с проповеди. Редко размышляю о слышанном в храме и читанном в Священном Писании. Во время женской нечистоты дерзала ходить по церкви и прикасаться к святыне (у мужчин — после ночного осквернения).

**Согрешил (а):** редко исповедуюсь. Совершив грех, не укорял (а) себя и не каялся (лась) сразу (этим доводил (а) душу до окамененного нечувствия). К Причастию дерзал(а) приступать без должной подготовки (не читая каноны и молитвы, утаивая и умаляя грехи на исповеди, без поста, во вражде...). Не читал(а) благодарственных молитв. Не проводил(а) дни Причастия свято (в молитве, в чтении Слова Божия, в благочестивых размышлениях, а предавался(лась) объедению, многоспанию, празднословию...).

**Согрешил (а):** по лени не читаю утренние и вечерние молитвы (полностью из молитвослова), сокращаю их. Не всегда молюсь перед едой, работой и после. Молюсь рассеянно. Молилась с непокрытой головой, в шапке, имея неприязнь на ближнего. Небрежным изображением на себе крестного знамения, неблагоговейным почитанием св. икон и святынь Господних. В ущерб молитве, чтению Евангелия, Псалтири и духовной литературы смотрел (а) телевизор. Малодушным молчанием, когда при мне богохульствовали, стыдом креститься и исповедовать Господа при людях (это один из видов отречения от Христа). О Боге

говорил(а) не благоговейно и без смирения.

**Согрешил(а):** в жизненно важных вопросах не советовался(лась) со священником и старшими (что приводило к непоправимым ошибкам). Находясь под руководством духовного отца, жил(а) по своей греховной воле. Давал(а) советы, не зная, угодны ли они Богу. Пристрастную любовь к людям, вещам, занятиям... Своими грехами соблазнял(а) окружающих (моим нехристианским поведением хулилось имя Господне).

**Согрешил(а):** нарушением постов, а также среды и пятницы (они по важности приравниваются к Великому посту как дни воспоминания страданий Христовых). Пресыщением в пище и питии, тайноядением, лакомством (пристрастие к сладкому). Ел(а) кровь животных (кровянку...). В постный день праздничный или поминальный стол был скоромным. Усопших поминал (а) с водкой.

**Согрешил(а):** совместной<sup>(2)</sup> молитвой или переходом в раскол (Киевский патриархат, УАПЦ, старообрядчество...), унию, секту. Суеверием (вера снам, приметам, гороскопам...). Обращением к «бабкам» (выливание воска, качание яиц, сливание страха...), экстрасенсами (для чего?). Пил(а) и ел(а) наговоренное ворожеями и экстрасенсами. Осквернял(а) себя уринотерапией. Гаданием на картах (таро...), ворожением (для чего?). Боялся(ась) колдунов больше, нежели Бога. Кодированием (от чего?). Увлечением восточными религиями, оккультизмом или сатанизмом (указать, чем). Посещением сектантских, оккультных... собраний. Занятием йогой, медитацией, обливанием по Иванову... занятием восточными единоборствами<sup>(3)</sup>. Чтением и хранением запрещённой Церковью оккультной литературы: магии, хиромантии, гороскопов, сонников, пророчеств Нострадамуса, литературы религий Востока, учения Блаватской и Рерихов, Лазарева «Диагностика кармы», Андреева «Роза мира», Аксёнова, Клизовского, Владимира Мегре, Таранова, Свяж, Верещагина, графини Маковой, Асауляк<sup>(4)</sup>... Понуждением (советом) и другим к ним обращаться и этим заниматься (указать, на что давался совет).

**Согрешил(а):** ленью к труду и ко всякому доброму делу. Не навещал (а) одиноких, больных, стариков, детей в детских домах, заключённых... Желанием телесного покоя, негою в постели. Скорбью, что не могу наслаждаться мирской, греховной, роскошной жизнью. Пристрастием к азартным играм, зрелищам и увеселениям (карты<sup>(5)</sup>, домино, компьютерные игры, телевизор, кинотеатры, видеосалоны, дискотеки, кафе, бары, рестораны, казино...). Упиванием допьяна, сквернословием, курением<sup>(6)</sup>, употреблением наркотиков. Слушанием эстрадной и рок-музыки (возбуждает низменные чувства).

**Согрешил(а):** чтением и рассматриванием (в книгах, журналах, фильмах...) эротического бесстыдства и садизма. Смотрел (а) нескромные игры, зрелища, танцы<sup>(7)</sup>, сам(а) танцевал(а). Принимал(а) участие в «конкурсах красоты», фотомоделей, маскарадах С «маланка «вождение козы», праздник «хеллоуин»...), а также в танцах, сопровождаемых бесстыдством (указать, каким). Не удалялся(лась) от греховных свиданий и соблазна. Замедлял(а) и услаждался(ась) блудными мечтаниями и воспоминаниями прошлых грехов. Похотным воззрением и вольным обращением с лицами другого пола (нескромность, объятия, поцелуи, нечистые осязания тела...). Блудом (половая связь до венчания). Блудными извращениями (рукоблудие (онанизм), позы, оральные и анальные блуд). Содомские грехи (гомо..., лесбиянство, скотоложество, кровосмешение (блудное сожителство с родственниками)...). Торговлей своим телом, сутенёрством, сдачей помещения для блуда.



Следуя безбожным обычаям мира сего, а также желая нравиться и прельщать: стриглась и красилась (этим попиралась заповедь Божия о внешнем виде женщины), бесстыдно одевалась (в короткое, с разрезами, брюки, шорты, слишком облегающее, просвечивающее...). В таком виде, не уважая святыню, дерзала входить в храм Божий. Был(а) нескромен(на) в жестах, телодвижениях, походке. Купанием и загоранием в присутствии лиц другого пола (противоречит понятиям христианского целомудрия). Сознательным соблазнением на грех (какой?).

**Согрешил(а)** прелюбодеянием (измена в браке). Невенчанным браком. Похотливой невоздержанностью в супружеских отношениях (в посты, воскресные и праздничные дни, при беременности, в дни женской нечистоты). В супружеских отношениях допускал (а) извращения (указать, какие). Употреблением противозачаточных<sup>(8)</sup> средств. Желая жить в своё удовольствие и избегая жизненных трудностей, убивал(а) своих детей (аборты). Советом (принуждением\*\*) других на аборт. Был(а) причиной семейных скандалов, оскорблял(а) домашних... Нежеланием нести совместные обязанности по воспитанию детей и содержанию хозяйства, тунеядством, пропиванием денег, сдаванием детей в детдом...

**Согрешил(а):** губил(а) души детей, готовя их только для земной жизни (не учил(а) о Боге и вере, не прививал (а) им любви к церковной и домашней молитве, посту, смирению, послушанию и другим заповедям Божиим, а также чувство долга, чести, ответственности..., не смотрел(а) что читают, с кем дружат, чем занимаются, как ведут себя.). Наказывал(а) их слишком жестоко (вымещая злобу и раздражение, а не для исправления, обзывал(а), проклинал(а). Своими грехами соблазнял(а) детей (руганью, сквернословием, сплетнями, просмотром безнравственных телепередач, интимными отношениями... в их присутствии).

**Согрешил(а):** непокорностью родителям, старшим и начальникам, оскорблением их. Небрежным уходом за престарелыми (больными) родителями, родственниками...(оставлял(а) без присмотра, пищи, денег, лекарства... сдал(а) в дом престарелых...). Капризами, упрямством, прекословием, своеволием, самооправданием. Лениостью к учёбе. Небрежно относился(лась) к своей работе (общественной должности). Свои таланты и общественное положение (работу) использовал(а) не к славе Божьей и пользе людей, а для личных выгод. Расхищал(а) государственную и коллективную собственность. Даванием и принятием взяток, вымогательством (что могло привести к вреду государству и частным трагедиям). Притеснением подчиненных (с какой целью?). Имея руководящее положение, не заботился (лась) о пресечении нехристианских обычаев (разлагающих нравственность народа); обучение в школах безнравственным предметам... Не оказывал(а) посильную помощь Православной Церкви (был(а) равнодушен(на) к засилью православного народа ложными верованиями, не способствовал (а) распространению Православия, не защищал(а) церковные святыни, не оказывал(а) помощи в строительстве и ремонте храмов и монастырей, уборке церковной территории...).

**Согрешил (а):** осуждаю живых и мёртвых (а своих грехов не вижу). Празднословием (пустые разговоры о житейской суете...). Рассказом и слушанием пошлых и кощунственных анекдотов (о Боге, Церкви и священнослужителях). Неумеренным смехом, хохотом, красованием перед людьми собственным остроумием приводящим их к смеху. Призыванием имени Божия всуе (без нужды, в пустых разговорах, шутках). Осуждением священников, монахов. Слушанием и пересказом сплетен о священнослужителях и церковных делах (этим через меня хулилось имя Божие среди людей). Разглашением чужих грехов и слабостей, клеветой, распространением худых слухов, сплетен. Ложью, обманом, неисполнением обещаний, данных Богу (людям). Божбою, лживой клятвой, лжесвидетельством на суде. Несправедливым судом (оправданием преступников и осуждением невиновных...).

**Согрешил (а):** воровством (каким?). Сребролюбием (пристрастие к деньгам и богатству). Неуплатой долгов. Жадностью, скупостью на милостыню (а на прихоти, суетные развлечения трачусь не скупясь). Не употреблял(а) излишки своих доходов на душеполезное (милостыню, покупку духовных книг...). Корыстолюбием (пользование чужим... из всего извлекать пользу). Желая обогащаться, давал(а) деньги под проценты. Губила души людей, торгуя водкой, сигаретами, наркотиками, противозачаточными средствами, нескромной одеждой, порно... Обсчитывал (а), обвешивал (а), выдавал(а) плохой товар за хороший... (указать и другие грехи вашей торговли).

**Согрешил (а):** самолюбием, завистью, подозрительностью, злорадством, лестью, лицемерием, лукавством, человекоугодием, неискренностью. Слушал(а) злословие с удовольствием и согласием. Одобрением и оправданием греховного. Принуждением других ко греху (солгать, украсть, подглядеть, доносить, пересказывать, подслушать, выпить спиртное...). Участием в худых делах и беседах. Деланием добра напоказ, желанием славы, благодарности, похвал. Исканием первенства и уважения... Занятие спортом<sup>(9)</sup> и боевыми искусствами ради славы, денег, разбой (рэкетирство)... Хвастовством, любованием собой (внешностью, способностями, одеждой...). По гордости унижал(а) ближних насмешками (подколки), глупые шутки... Смеялся(лась) над нищими, калеками, чужим горем...

**Согрешил(а):** гордостью, обидчивостью, злопамятством, мстительностью, ненавистью, непримиримостью, враждой, вспыльчивостью, гневом. Грубым обращением с ближними. Наглостью и дерзостью (лез(ла) без очереди, толкался(лась)). Руганью (в том числе матерной, с упоминанием нечистой силы), рукоприкладством, избиением, убийством. Покупкой прав на вождение автомобиля, нарушением правил дорожного движения, вождением автомобиля в нетрезвом виде... (чем подвергал(а) опасности жизнь людей). Причинением вреда ближнему (какого?). Незащитой слабых, избиваемых, женщины от насилия... Жестокостью к животным.

Холодной и бесчувственной исповедью. Согрешаю сознательно, попирая обличающую совесть. Нет твёрдой решимости исправить свою греховную жизнь. Каюсь, что оскорблял(а) Господа своими грехами, искренно об этом сожалею и буду стараться исправиться.

(Ввиду обширности перечня грехов исповедь в них можно разбить на несколько раз, начиная с самых тяжких. Подлинное перед Богом покаяние предполагает не формальное и равнодушное перечисление каких-то своих плохих поступков, а осуждение своей греховности, искреннее, с сокрушением сердца исповедание грехов и решимость исправляться).

На улице возле главного храма нас поджидали отец Мартиниан и Володя. Мы очень тепло попрощались. Звучали дорожные наставления (в основном, давал их Володя): мол, тут два часа, не больше, как выйдете, сразу направо, и по дороге направо, всё будет хорошо, примут нас в Ватопеде, примут. Отцы благословляли. И уходить не хотелось, и в то же время, как ни странно, хотелось: я чувствовал себя легко, светло... и мне не терпелось скорее идти к Владыке. Собственно, выходя из Ксилургу, я и делал первый шаг.

И ведь не было такого чувства, что прощаемся навсегда и больше никогда не встретимся. Здесь даже дело не в том, что возможна встреча в ином мире (где будут они и где мы!), а в ощущениях присутствия человека в твоей жизни.

У меня есть один близкий человек, который жил в другом городе. Он очень много для меня значит. Я всегда представлял его мнение по тем или иным вопросам, ссылаясь на него: он поступил бы тут так, а тут бы сказал это. Мы переписывались, изредка созванивались. Совсем уж редко ездили друг к другу в гости. Этот человек болел и, случалось, наша переписка замирала на время. Но у меня не прерывалось ощущение его присутствия. Со временем мы

стали писать реже, звонить почти перестали, про поездки в гости забыли совсем. Но от этого он не стал менее значим для меня, я так же продолжал апеллировать к его мнению, приводить его в пример окружающим, передавать другим то, чему он меня научил. И вот узнал, что он умер несколько месяцев назад. А я всё это время продолжал общаться с ним. День я провёл в тягостном состоянии, а потом вдруг понял, что ничего в общем-то не изменилось: я так же ценю его мнение, так же привожу его примеры и, если бы не это случайное известие о его смерти, то я так бы и считал его живым. И тогда, не знаю уж как это получилось, я вычеркнул это известие, и всё стало на свои места. Дело даже не в сохранившихся фотографиях и оставшихся в записях его голосе (я не люблю фотографии и вообще музейные ценности), а в моих ощущениях его присутствия. Для меня он остаётся живым.

Нечто подобное я ощутил при расставании в Ксилургу: я точно знал, что эти люди никогда не уйдут из моей жизни. Я не знаю, приведёт ли Господь меня ещё раз на Святую Гору (хотя я желаю этого с самого момента, как сошёл с парома в порту Уранополиса), не знаю, застану ли я их, да и Бог весть, что может случиться на месте Ксилургу, — но они навсегда в моём сердце.

С этим чувством я вышел за ворота скита.

## 5

Мы прошли мимо неработающей бетономешалки — воскресенье, перед выходом повернулись, ещё раз низко поклонились чудесному русскому скиту Ксилургу и, свернув направо, вошли в лес. Дорога была знакома — по ней мы пришли, настроение самое великолепное, и пока поднимались в гору, делились восторженными эмоциями, подхватывая слова друг друга.

Когда вышли на макушку горы, с которой виден скит, ещё раз поклонились, обрели каменную тропу и стали спускаться к большой дороге — весь переход занял минут двадцать. Да мы и не заметили его, настолько увлечены были рассказами.

Ну, не могли мы молчать, каждого из нас так и распирало от радости, которой хотелось делиться с товарищами.

В основном восторгались отцом Николаем, его провидческим даром: как он затопил печку, предвидя, что будут гости; я вспомнил, что, показывая нам комнату, он сказал про четыре кровати: «Может, ещё кто придёт», — и пришли именно двое. Отец Борис, разумеется, восторгался подаренной камилавкой. Серёга раскололся про деньги, оказывается, когда отец Николай сказал ему: «Не всё же время тебе деньги считать», — к бизнесу это не имело никакого отношения — Серёга-то бухгалтер. (Честно говоря, меня это несколько удивило, Серёга больше походил на погрязшего в Интернете хакера или неделю бродившего по участку лесника). Алексей Иванович глубокомысленно молчал и время от времени вздыхал, как бы намекая, что и ему есть что сказать, но дело это сокровенное и поделиться он сможет, только если его сильно попросят. Но у нас пока и своего хватало.

Когда вышли на дорогу, отец Борис ничтоже сумняшеся повернул направо. Мы, разумеется, за ним — тоже нисколько не сомневаясь. Алексей Иванович спустился последним и спросил:

— Вы куда?

— Володя сказал: как выйдем на дорогу, надо направо идти.

— А Ватопед-то должен быть там, — и Алексей Иванович качнул рукой в левую сторону.

— Он вечно сомневается — натура такая, — извиняясь, пояснил я отцу Борису.

— Вообще-то море действительно там, — подтвердил Серёга. — Но тут такие дороги... Мы сейчас, скорее всего, обойдём эту гору справа и, по идее, выйдем к морю.

— Пошли, — скомандовал отец Борис.

Алексей Иванович смиренно двинулся за нами, про «сомневающуюся натуру», он, кажется, расслышал.

Идти было одно удовольствие. Дневной жар ещё не наступил, лёгкий ветерок, как весёлая собачонка, то и дело лез поиграться, да и весь окружающий мир радовался, словно только что с нами отстоял Литургию. И разве могло быть иначе воскресным днём здесь, где каждый кустик пропитан благодатью. И мы дышали ею, и шли по широкой петляющей дороге, укатанной европейскими грузовиками. Когда дорога в очередной раз, огибая гору, пошла налево, Алексей Иванович, пыхтя сзади, подал голос:

— Этак мы к Ильинскому скиту выйдем.

Отец Борис нахмурился. Я снова, извиняясь, развёл руками: мол, кого Бог послал в попутчики, тому и рады. Отец Борис ускорил шаг. Мы зашли за гору, закрывшую солнце, стало прохладнее, и пыл наш поостыл. Я тоже уже чувствовал, что идём не туда, но верить не хотелось — мы же идём направо! Я настолько был уверен в правильности нашего пути, что когда мы дошли до сложенных столбиком камушков, откуда мы вчера начали спуск в «урочище», а потом уткнулись в ограду Ильинского скита, я смог вымолвить к делу совсем не относящееся:

— А чего же нам монах вчера не сказал, что можно нормальной дорогой обойти эту ямину?

— Ну, во-первых, широкий путь, сам знаешь, куда ведёт, а во-вторых, мы бы не нашли знак, по которому надо было подниматься в гору, — Алексей Иванович, в отличие от нас, чувствовал себя уверенно. — Я говорил, надо было налево идти, — и как будто ничего неожиданного, для него, по крайней мере, не произошло, предложил: — Зайдём, что ли?

— И в самом деле, — поддержал я. — Раз уж дошли...

Вообще-то пауза была нужна: час-то мы, хоть и в приятном режиме, но оттопали, но более требовалось морально прийти в себя и разобраться: почему так получилось? Что мы сделали не так? Может, слишком самоуверенно повели себя, слишком много болтали по дороге, вместо того, чтобы молиться?

— Пожалуй, — согласился немного сконфуженный отец Борис и тут же приободрился: — Как раз и дорогу у кого-нибудь спросим.

И мы прошли на территорию скита. Разумеется, тут же встретился монах, отправлявший нас вчера в Ксилургу. Надо сказать, что в первую секунду на лице его отразился страх: одно дело знать, что есть привидения, другое — увидеть их. Мы радостно бросились под благословение, тот снова сказал, что монахи не благословляют, но, судя по всему, успокоился, однако всё же что-то робко спросил и в вопросе совсем уж тихо прозвучало слово «Ксилургу».

— Да ничего, слава Богу, дошли до Ксилургу. Кала, кала.

Монах с облегчением вздохнул и перешёл на более-менее понятную речь из смешения языков, объясняя, что мест нет и они сегодня ждут большую делегацию. То ли и впрямь от делегаций у них продыху нету, то ли это единственная причина, которую он мог изъяснить на русском —

нам было без разницы, мы объявили, что идём в Ватопед и попросили показать дорогу.

— Ватопеди-и... — протянул монах и, судя по повисшей паузе, вчера, отправляя нас в Ксилургу, он сомневался меньше.

Искренность победила в нём, и он сокрушённо покачал головой и тут же затянул песню про делегацию.

— Мы всё равно пойдём в Ватопед! — решительно произнёс отец Борис.

«Вот молодец! — подумал я. — Мне бы его пренебрежение к обстоятельствам».

Монах снова вздохнул и стал жестами показывать, что для начала надо спуститься в урочище. Всё-таки некая неуверенность в его объяснениях присутствовала, скорее всего, он никак не мог понять, почему, если мы шли в Ватопед, то оказались тут.

— Нам бы кофейку перед дорожкой, — напомнил о гостеприимстве Алексей Иванович, а заодно как бы пояснил причину нашего появления.

Монах спохватился, закивал головой и завёл нас в небольшую комнатку, похожую на маленькое кафе: несколько летних лёгких столиков, барная стойка в глубине. Комнатка оказалась так мала, что рюкзаки пришлось оставить перед входом.

На возглас монаха появился послушник, монах объяснил ему, что за почётные гости мимоходом оказались в их скиту, и тепло попрощался с нами. В самом деле — тепло, без всякой иронии. И мы его попросили помолиться. В конце концов, именно он молился за нас, пока мы пробирались в Ксилургу.

Мы сели за ближний столик, и скоро нам принесли кофе и по рюмочке раки. Все тревоги и сомнения, которые не оставляли меня с тех пор, как я увидел столбик из сложенных камушков при спуске в урочище, растаяли с первым глотком (собственно, один глоток и был — рюмки у них...) раки, а с первым глотком кофе вернулись бодрость и уверенность: мы обязательно дойдём до Ватопеда!

Урочище мы преодолели стремительно, словно гладкую стометровку, и вышли на то же место дороги, только два часа спустя. Теперь пошли налево, к морю.

Несмотря на то, что мы теперь побаивались вести праздные разговоры (я так вообще воспринял плутание как вразумление), но идти в безмолвии нам, мирским людям, непривычно. Хотя, казалось, что лучше: иди себе, читай Иисусову молитву. Наверное, если бы мы шли вдвоём с Алексеем Ивановичем, с которым столько переговорено, так и было бы. Но с людьми не столь близкими благостного молчания не получалось. Возникало ощущение тяжести паузы. Но и разговоров о мире не хотелось. И я спросил: а слышали ли мои спутники, как ночью подъезжала машина?

Отец Борис и Серёга дружно сказали «нет», а Алексей Иванович прокомментировал:

— Это у тебя глюки были.

Мне стало обидно.

— Я даже видел свет фар. И голоса слышал.

— Точно — глюки. Ты, Сашулька, как только головку на подушку опустил, так в свои обе свистульки и засвистел, словно пожарник на покое.

Я ещё больше обиделся: ну, бывает, что шумно сплю, но зачем сообщать интимные подробности окружающим? Однако Алексею Ивановичу сейчас не возразишь: он сразу предлагал налево идти. Алексей Иванович решил добить меня.

— Там ни одна машина не проедет.

— А как же туда бетономешалку доставили? — возмутился я. — И куда делись рабочие?

Действительно: мы же видели, как рабочие прикладывались к иконам, как уходили из храма, но больше мы их в скиту не встречали.

— Там ещё одна дорога есть, — дошло до меня.

Некоторое время шли молча, переваривая открывшееся знание и размышляя, что из этого следует.

— Поздно, — ответил за всех Алексей Иванович.

И мы наконец-то погрузились в молчание.

Между тем дорога пошла вверх и скоро перед нами открылся изумительный вид на Ильинский скит. Это было настолько величественно и красиво — среди гор и зелени пятикупольный красавец-храм, что мы невольно остановились и минут пять любовались им.

— Может, Господь нас специально этой дорогой направил, чтобы мы такую красоту увидели, — опять за всех сказал Алексей Иванович.

И отец Борис поддержал, протянув:

— Да-а...

Мы двинулись дальше, нет-нет да и оглядываясь на Ильинский скит, который, словно добрая мама, вышедшая провожать нас, всё смотрел, как мы уходим всё дальше, и тихонько крестил наш путь.

Когда дорога в очередной раз сделала крутой поворот и мы попрощались с Ильинским скитом, нам встретились два монаха. Молодые, чернородые и жизнерадостные. Но мы всё равно обрадовались встрече больше.

— Ватопеди? — переспросил более бородатый монах и задумчиво посмотрел на нас.

Меня эта задумчивость при поминании Ватопеда начинала настораживать. Но монах махнул рукой как раз в том направлении, куда мы шли:

— Тэсере ора.

— Чего-чего? — переспросил Алексей Иванович, а я-то сразу понял и притих.

Монах показал нам четыре пальца и попытался сказать по-английски:

— Фо хос.

Серёга машинально перевёл:

— Четыре часа, — и тут же недоумённо посмотрел на монаха: — Четыре часа? — И тоже для верности выставил четыре пальца.

Монах, оттого, что его поняли, радостно закивал [\[137\]](#).

Серёга обернулся к нам.

— Он что, шутит?

— Путаает, наверное, — беспечно махнул рукой отец Борис.

Монахи, выполнив свою миссию (а я не сомневался, что Господь послал их только для того, чтобы сообщить нам, что идти по этой дороге до Ватопеда четыре часа и чтоб мы не отчаивались), пошли дальше. Их явление я понял так, что мы всё-таки дойдём, но будет непросто.

Я покосился на две сумки отца Бориса: одна висела у него на плече, другую он пока поставил.

С другой стороны, что такое четыре часа?

Кажется, Алексей Иванович думал так же и он тоже внёс лепту в прославление отца Николая.

— Помните, отец Николай нам рассказывал, как к нему гости ехали и сказали, что через два часа будут, а сами только через семь часов добрались? Это ведь он про нас говорил.

— Ну что ж, два с половиной часа мы уже прошли, плюс четыре, плюс полчаса... — я опять посмотрел на сумки отца Бориса, — на непредвиденные расходы. Дойдём.

Воцарилось молчание, которое прервал отец Борис.

— Ничего, мы быстро пойдём. И обойдёмся без непредвиденных расходов!

Его оптимизм меня восхищал!

— Отец Борис, — сказал я, — давайте мы одну сумку вместе понесём, вы — за одну ручку, а я — за другую, удобнее будет.

— Нет, свои грехи надо самому носить.

Отец Борис мне нравился всё больше. В том, что люблю его, я давно не сомневался, наверное, с первой встречи в Ивере, что отчасти оправдывало немного ироничное к нему отношение, и то, нравится он мне или нет, на мою любовь никак не влияло, но согласитесь: хорошо же, когда ты человека любишь, а он тебе ещё и нравится.

— Батюшка, а можно нескромный вопрос? — поинтересовался я.

Отец Борис насторожился, но постарался ответить, как будто только и ждал, когда ему начнут задавать нескромные вопросы:

— Конечно-конечно.

— А сколько вам лет?

Господи! Я думал, ему лет на десять меньше! И тут уже не мог им не восхититься: как удалось сохранить такую детскую непосредственность, это лёгкое преодоление мира?! Он ведь, поди, и на Афон поднялся легко: поехали, мол, Серёга. Серёга кивнул, батюшка покидал вещи в сумку, в одну не уместились, взял вторую — и на вокзал.

— Батюшка, а как вы на Афон попали?

— Да вот решили с Сергеем... Прихожане съездили, рассказали, дали телефон, мы позвонили, и всё получилось.

Я кивнул, где-то через полчаса надо будет напомнить ему про сумки. Пока думал, что ещё спросить у симпатичного батюшки, раздался восторженно-тревожный возглас идущего впереди Серёги:

— Змея!

— Где?! — с задних рядов, сметая всё и вся на своём пути, то есть меня с батюшкой, бросился Алексей Иванович.

Так летят на роковой огонь мотыльки.

— Батюшка предупреждал про змей... Всё, что предупреждал, сбылось. Говорил, без послушания ничего не делай, палки не бери, в море не купайся, дождевики... а змеи спят, — как заклинание повторял он, глядя на вытянувшуюся вдоль дороги небольшую — в полметра — змеюгу. — И — вот она!

Ползучий гад никак не реагировал на бормотания Алексея Ивановича и, развалившись посреди дороги на солнышке, больше напоминал сытого кота, нежели коварного змея. Алексею Ивановичу такое пренебрежительное невнимание не понравилось, и он разочарованно произнёс:

— Вот, а батюшка предупреждал насчёт змей...

— Но он же не говорил, что она обязательно должна тебя укусить, — заметил я. — К тому же, она действительно спит.

— И лучше её не трогать, — предупредил Серёга.

— А вдруг она сдохла?

— Тебе-то какое дело? — изумился я.

— Пусть спит, — заключил отец Борис и изрёк ещё одну мудрость: — Мы её не трогаем, она нас не трогает.

По этому поводу, кстати, есть анекдот, — сказал я и мы, обойдя так и не шелохнувшегося гада, пошли дальше.

## 6

Минут через десять открылся вид на Пантократор <sup>[138]</sup>. Тоже красивый — внизу, у моря, монастырь больше напоминал суровую средневековую крепость, но с нашим (мы упорно называли Ильинский скит нашим), конечно, не сравнить. По логике, чтобы выйти к Ватопеду,



нам теперь надо было двигаться вдоль побережья. Дорога, однако, снова уходила круто в другую сторону, но мы уже привыкли к выкрутасам афонских дорог — не они здесь определяют путь.

Решили сделать привал. Час как вышли с Ильинского скита, а тут тебе и вид прекрасный, и новый поворот дороги, так что самое время передохнуть, обсудить дальнейшее, а заодно и сфотографироваться на фоне Пантократора. Мы посбрасывали рюкзаки и сумки, отец Борис достал фотоаппарат, Серёга — карту, Алексей Иванович — пачку «Беломора».

Отец Борис чуть фотоаппарат не выронил: мало того, что мы чуть ли не каждый Божий день причащаемся, так ещё и курим.

Алексей Иванович смутился и стал махать рукой, рассеивая дым по Афону.

— Батюшка, давайте я вас сфотографирую, — попытался я переключить внимание отца Бориса.

Тот поднял руку, набрал в лёгкие воздуха, но, видимо, так и не найдя подходящих слов, только потряс перстом.

Алексей Иванович поднялся и отошёл от греха подальше, а мне пришлось за него заступаться: вот, мол, для того и на Афон поехал, чтобы оставить пагубное пристрастие. Это несколько утешило батюшку, и в это время отошедший Алексей Иванович воскликнул:

— Смотрите-ка, — и все повернулись к нему.

Алексей Иванович стоял у противоположной стороны дороги, откуда поднимался покрытый редким кустарником склон горы, и указывал на едва приметный указатель: посеревшая от солнца и ветра деревянная палочка и на ней изржавевшая, с тёмными пятнами табличка, точно в тон серо-буро-зелёному склону горы.

Мы подошли и внимательно осмотрели табличку: когда-то, в давние-стародавние времена на ней определённо было написано «Ватопед». Более того, под словом угадывалась стрелка. И стрелка указывала на склон горы.

Мне не хотелось лезть в гору. Я представил себе каменистое бездорожье, свои похрустывающие при каждом неверном шаге разболтанные коленки и предложил не уходить с наезженной дороги. Алексей Иванович как человек, обретший знак, естественно, настаивал на том, что знак нам послан не просто так. Отец Борис посмотрел на Серёгу. Тот пожал плечами:

— Дорога, судя по всему, как раз огибает эту гору, — он показал карту, на которой линии и кружки напоминали более карту гидрометцентра, то есть совершенно непонятную, — а тропа, наверное, пересекает гору напрямки, и мы должны будем выйти на эту же большую дорогу, только с той стороны горы.

— А где ты видишь тропу? — спросил я.

— Ну, если присмотреться... то — вот.

Действительно, «если присмотреться». Горный склон представлял нагромождение разновеликих и разномастных камней. Не разваливалась эта каменная куча, видимо, только потому, что держал её то там, то сям пробившийся сквозь камни кустарник. Весьма, между прочим, жидкий и колючий. И глазу виделась картинка, которую обычно показывают офтальмологи; когда из множества разноцветных кусочков надо выделить главное и правильно

назвать фигуру. Тут же надо было угадать, какие камни лежат неестественно и выстраиваются в некую единую цепочку. Серёга эту цепочку видел. Вообще-то после того, как они в темень прошли «урочище», я Серёге доверял.

— Вот и сократим дорогу, — подхватил отец Борис и пошёл за сумками.

Нет, всё-таки нельзя так беспечно относиться к миру, горько вздохнул я и снова позавидовал отцу Борису. Он первым и вступил на горную тропу. Его первым мы и потеряли.

Отец Борис сразу рванул вверх, и я засомневался, что он сказал правду о своём возрасте. Бывает такое с молодыми людьми, когда хочется казаться старше. Серёга еле поспевал за ним, но он всё-таки периодически приостанавливался и вглядывался в каменную мозаику. Алексей Иванович шёл ещё медленнее, изучая каменный рисунок тщательнее. Я плёлся последним, дорога меня вообще не интересовала, без очков разгадывать офтальмологические загадки возможным не представлялось — я ориентировался на большой рюкзак Алексея Ивановича и его сопение. Для меня куда важнее было не наступить на какой-нибудь слабый камень, всё-таки я сильно переживал за испорченные в счастливую пору юности спортом коленки и пару раз, оступившись, замирал, прислушиваясь: не хрустнуло ли чего? В какой-то момент я совсем отстал, услышав встревоженный голос Алексея Ивановича, отозвался. Оказалось, я забрал вправо.

— Давай сюда, мы тебя подождём.

Скоро я выбрался к двум товарищам, которые, сняв рюкзаки, мирно о чём-то переговаривались.

— А где отец Борис? — спросил я.

На лице Серёги мелькнул ужас, но Алексей Иванович спокойно сказал:

— Да тут где-то впереди, — и крикнул: — Отец Борис!

Голос у Алексея Ивановича зычный — недаром столько лет проработал в механическом цехе. Но никто не отозвался. Теперь ужас на Серёгином лице задержался подольше.

— Попробуем все вместе, — предложил я.

И мы начали орать. А в ответ — тишина... как будто мы совсем одни на Афоне. Даже эха не было.

Серёга подхватил рюкзак и бросился вперёд.

— Куда ты? — успел крикнуть Алексей Иванович. — Мы так совсем растеряемся.

Бухгалтеры вообще народ рациональный, и Серёга остановился. Далее он выдвинул следующее разумное предложение:

— Давайте чуть разойдёмся, пойдём цепью и будем кричать.

— Увы, мой друг, у нас уже потери, но жизнь — дуэль, чего же мы хотели... — не удержался и фальшиво пропел я.

Серёга неодобрительно посмотрел на меня.

— Да никуда он не денется, — попытался успокоить я его, но вышло неубедительно. Я попытался высказаться более аргументированно: — У него две сумки, с ними далеко уйти невозможно. — Это Серёгу тоже несильно утешило, и я сказал: — Чего стоим?

Мы разошлись небольшой цепью и пошли вверх. Серёга, конечно, сразу убежал вперёд, голос его становился всё глуше, но оставался в пределах слышимости. Мы уже почти взобрались, взмыленные, на гребень горы, как увидели среди груды больших валунов Серёгу. Вид у него был поникший.

— Нету его, — предупредил он наши вопросы. — Я вас стоял ждал.

— Может, ещё покричим? — ничего больше я придумать не мог.

Серёга снова неодобрительно посмотрел на меня: мол, он ждал более мудрых предложений. Но трижды проорал с нами.

— Слушай, а сотовый у него есть? — вдруг спросил Алексей Иванович.

«Вдруг», потому что воспоминание про сотовый получилось совершенно неожиданным, я уже стал забывать про это чудо техники, хотя отец Николай только что утром напоминал нам про него. Точно! Но Серёга наших надежд не разделил.

— У него деньги на сотовом кончились. Ещё два дня назад.

Ну да, это стоило предположить.

— Давайте ещё покричим, — снова предложил я и пояснил: — А что нам ещё остаётся?

Покричали ещё, но уже вяло и без энтузиазма.

— Ну, что ж, — подвёл черту Алексей Иванович, — надо начинать молиться.

Я чуть было не брякнул: «За упокой!», — но вовремя посмотрел на Серёгу.

И тут откуда-то снизу донеслось нечто похожее на «Э-эй!», мы недоумённо переглянулись: это ещё кто? Никто не предполагал, что мы может оказаться выше отца Бориса, да ещё настолько. Но уже в следующую секунду мы заорали так, что отдыхающий после ночных бдений Афон должен был содрогнуться. В ответ «Э-эй» донеслось более отчётливо, и Серёга ломанулся вниз. Поспешили за ним и мы, и скоро обрели в братских объятиях батюшку и его духовное чадо — вот где радости-то было!

У Серёги утроились силы, он выхватил у сопротивлявшегося отца Бориса одну из сумок, водрузил на плечо и зашагал вверх уже известной дорогой, дальше двинулись отец Борис, затем Алексей Иванович и я. Мы снова вышли к валунам и теперь осмотрелись.

Вид, конечно, был потрясающий. Прямо перед нами на фоне ярко-синего неба возвышалась Гора. Вершина и углы её были чётко очерчены. На груди Горы лежало небольшое живое облачко. Под нами, слегка приправленный жёлтой и красной красками, стоял лес. Далеко виднелся Ильинский скит. Отсюда он казался совсем игрушечным, но всё равно красивым. Хорошо просматривалась впадина, через которую мы уже дважды переходили, и, если продолжить глазами направление, то угадывался купол Ксилургу, куда, как казалось, ведёт по гребню тропа, на которой мы стояли.

— А вон и пасека, — указал Алексей Иванович.

Действительно, внизу, по направлению к Ксилургу, можно было различить десятка два пчелиных домиков.

— Откуда про пасеку знаешь? — спросил я.

— Володя рассказал, пока мы посуду мыли.

— Этак мы к Ксилургу выйдем, — определил я.

— А там выйдем на другую дорогу и — два часа до Ватопеда, — продолжил мысль Алексей Иванович.

— Может, всё же эта дорога чуть дальше раздваивается: та, что по гребню, пойдёт на Ксилургу, а другая будет спускаться с горы, — сказал Серёга. — Ведь на указателе было написано «Ватопед», а не «Ксилургу».

Мы посмотрели на отца Бориса. Его ответ оказался неожиданным:

— Сами решайте...

Видать, недолгое время, проведённое на Горе в одиночестве, здорово его тронуло.

— Мне всё равно, — сказал Алексей Иванович. — Куда-нибудь да выйдем. К тому же, впереди лес — хоть какой-то тенёк.

Солнце и в самом деле припекало уже не по-осеннему. Тропинка среди леса видна была чётче, и идти стало легче. Огибая понемножку пасеку, мы точно выходили на Ксилургу.

Когда это стало очевидно всем, я сказал:

— Нет, в Ксилургу возвращаться не хочется.

И, как ни странно, все меня дружно поддержали, словно ждали, кто же первый произнесёт крамолу. Мы развернулись и пошли назад.

Поначалу я даже гордился нашим поступком: столько пройти в гору и повернуть назад, признав свою неправоту! Но не в ложном ли стыде дело? Нам стыдно вновь объявиться в Ксилургу и признать, что сами мы ни на что не годимся. Сейчас-то мы признали своё поражение друг перед другом и никто об этом не узнает (если, конечно, я не разболтаю), а там наша несостоятельность открывалась всем. Будут потом за чаем рассказывать, как два сочинителя, бухгалтер и поп, не расспросивши точно про дорогу, понадеялись на себя, четыре часа плутали по Афону и вернулись обратно. С другой стороны, раз уж благословили, так чего возвращаться?

И тут, увлечённый самокопанием, я споткнулся. Щелчок в коленном суставе отдался в голове, и коленка не зафиксировалась в обычном положении. «Приплыли», — подумал я и остановился. На глазах выступили слёзы, не от боли, никакой физической боли я не чувствовал, а от отчаяния — до Ватопеда не дойти.

— Ты чего? — оглянулся Алексей Иванович.

Так хотелось разрыдаться по-настоящему.

— Оступился, — прошептал я.

Не знаю, слышал Алексей Иванович или нет, но он пошёл ко мне, остановились и двое товарищей.

— Помочь? — спросил Алексей Иванович.

А я представил все хлопоты: как меня придётся поддерживать, как я буду скакать на одной ноге, потом, наверное, и нести придётся... до Ксилургу.

«Господи, помилуй!» — возопил я и осторожно поставил ногу на землю, потом нагнулся и пощупал коленку: всё, вроде, было на месте. Я согнул ногу — ничего. Тогда я твёрже оперся на неё, что-то там снова щёлкнуло, и я почувствовал, что встало на место. И сразу наступило несказанное облегчение, словно был на краю пропасти и чудесная сила отвела от неё. «Никаких рассуждений, надо идти, смотреть под ноги и молиться» — это само собой чётко сформулировалось и высветилось в мозгу.

— Нормально, — ответил я Алексею Ивановичу и пошёл.

Когда мы вышли к указателю, повернувшему нас на гору и перед нами снова предстал Пантократор, я сказал: Для чего-то это нам было нужно. Я пока не знаю, для чего, но мы обязательно дойдём до Ватопеда, — и зашагал по дороге.

7

Остальные шли за мной, а я знал одно: главное теперь не вставать, нужно двигаться в одном ритме, смотреть под ноги, молиться — и мы обязательно дойдём. В гору подниматься было тяжело, хотя, конечно, не так, как по неровным камням, но зато на дороге мы стали открыты распалившемуся солнцу. Мы снимали куртки, свитера, я шёл в майке, Алексей Иванович и Серёга — в рубашках, труднее всего приходилось отцу Борису, который так, как мы, разоблачиться не мог. Пот с него лил в три ручья, но дарованную скуфейку он не снял ни разу. Самую большую сумку они несли вдвоём с Серёгой, потом Серёга понёс эту сумку с Алексеем Ивановичем. Меня не припахивали, видимо, помнили о моей остановке, а Алексей Иванович — ещё и о моём диабете. Я чувствовал, что они справляются, и хотя им было тяжело, лучше идти так, как сложилось само собой. Я снял с руки подаренные Серафимом чётки и начал читать молитвы, во мне всё напряглось и обострилось. Мне начинало казаться, что я чувствую дорогу так же, как прилипшую к телу майку, и что за хребтом уже различаю желанный Ватопед.

Вдруг pomysлил, что за такой переход хорошо бы в Ватопеде мне не один, а два пояска Богородицы получить. Один — жене, а другой — начальнице (у меня тоже может быть начальник). Я вот всё думал, что ей с Афона привезти, а что может быть лучше? Икону всякий подарить может, а вот Богородичный поясок, да ещё добытый таким трудом... В общем, пока молился, попросил у Богородицы два пояска [\[139\]](#).

Дорога тем временем вывела нас к очередной развилке. Левый рукав поднимался вверх, а правый шёл к морю, вдалеке виднелся похожий на Пантократор монастырь, за ним спускалась в море гора.

Серёга достал карту.

— Странно, никакого монастыря тут не обозначено, а Ватопед, по идее, за этой горой. — И поправился: — Должен быть. Ну, куда пойдём?

И все посмотрели на меня. Я, кстати, точно знал, куда идти, пока не встали у развилки. Опять налезли сомнения, смущал ещё очередной ржавый указатель, стрелка которого показывала на промежуток между дорогами, но всё-таки больше склонялась влево.

Я прикрыл глаза и постарался вернуть состояние, в котором пребывал несколько минут назад. Со стороны могло показаться, что я пытаюсь угадать, но я же только что точно знал, куда идти.

Да что же это за наваждения такие! Яко тает дым от лица огня!<sup>[140]</sup> И я решительно шагнул влево. Отряд, не проронив ни слова, двинулся следом.

Когда забрались на самый верх и дорога снова поворачивала ещё левее, я опустил рюкзак на обочину и объявил привал.

Отец Борис, где стоял, там и рухнул. Вернее, сначала рухнула сумка, которую он нёс, а за ней, как привязанный, последовал и он. Рядом присел Серёга. Алексей Иванович отошёл в тенёк и закурил. Отец Борис не то чтобы не протестовал, он даже не обратил на факт табакокурения никакого внимания. Я отнёс рюкзак к обочине, но садиться боялся, мне казалось, что если присяду, подняться уже не смогу. Я чётко представлял, что должен двигаться в одном и том же ритме без всяких пауз, тогда у меня есть шанс дойти, привал же я объявил по непонятным причинам: то ли из-за человеколюбия, то ли человеко-угодия. Копаться, однако, как я понял, в своих чувствах бесполезно, а надо просто принимать как данное: я почувствовал, что отряд на пределе и все мои подбадривания типа «вот сейчас дойдём до поворота» или «вот ещё один подъёмчик» уже не вдохновляли. Сейчас совпало — мы были на вершине и на повороте, дорога дальше шла явно под уклон и поворачивала опять-таки, как это неудивительно, налево. Впрочем, меня уже ничто не удивляло. Как, кажется, и остальных. Минуты две провели бездвижно и в молчании, только лёгкий дымок «Беломорканала» сизо потягивался в сторону спуска.

— Ты думаешь, нам туда? — первым начал приходить в себя Алексей Иванович.

— Я не думаю, я иду.

— Сядь, отдохни.

— Боюсь, — честно признался я. — Потом не встану.

— Встанешь... — протянул Алексей Иванович и пообещал: — Поможем...

Я подумал: чего это, действительно, я выпендриваюсь, и подсел в тенёк к Алексею Ивановичу.

— Чего вы на солнце-то? — спросил я сибиряков.

Серёга поднялся, перекинул свой рюкзак через плечо и, поддев сумки отца Бориса, переместился к нам. Вернулся за батюшкой и проделал с ним то же самое, что с сумками, потом сказал:

— А у меня орешки есть.

— А у меня — сухари, — сказал Алексей Иванович.

— Ты ж сказал, что всё съестное в Ксилургу оставил?

— Да как-то сухари стрёмно было им оставлять, этого добра у них и своего хватает.

— Вот и славно.

А воды из родника, которую мы набрали по дороге, у нас было полно. Серёга протянул литровую бутылочку отцу Борису, тот сделал несколько жадных глотков, оторвался, обвёл нас неузнавающим взглядом, снова припал к бутылке и, опорожнив её наполовину, с трудом отстранил от себя, ещё раз, уже более осмысленно, посмотрел на нас, глубоко выдохнул, как штангист перед рекордным весом, тряхнул головой и сказал:

— Ну что, пошли?

И столько было в его голосе решимости и вместе с тем надежды, что его будут удерживать и не позволят никуда идти, что мы невольно рассмеялись.

— Сначала — обед, — заключил Серёга.

Мы перекусили орешками и раскрошившимися сухариками, получилось очень похоже на лакомство, которое подают в конце трапезы. Запили сладкой родниковой водой, и силы появились. Я хотел уже подняться, но, посмотрев на товарищей, понял — рано.

Алексей Иванович расстегнул рубашку, разулся и, притоптывая по придорожной траве, чесал пятки. Серёга тоже расстегнулся и, вытянувшись к солнцу, улыбался. Отец Борис, привалившись к сумкам, тихо блаженствовал. Так прошло минут пять. И снова будто кто-то толкнул меня — я поднялся и сказал:

— Подъём. Нам ещё два часа топать.

И все безропотно стали подниматься, оправляться, завязывать ботинки, подтягивать ляжки — через пару минут отряд был в полной боеготовности. Только Алексей Иванович уточнил:

— Почему два часа? Отец же Николай сказал: семь. Значит, получается полтора.

— Он не имел в виду привалы, — безапелляционно отрезал я и скомандовал: — Вперёд!

Дорога пошла под уклон и низкорослым лесом, тени особой он не давал, но среди зелени всё равно идти было приятнее, да и вообще после привала с трапезой шагалось веселее. Не прошло и часа, как мы вышли на большую афонскую дорогу, щедро присыпанную гравием и щебнем. Машинам, конечно, по ней ездить приятнее, а вот идти ножками... Но главное не это — мы увидели нормальный европейский столбик, поставленный прямо на нашем спуске, который чётко указывал, где Ватопед. Разумеется, направо. Всё — мы уже почувляли запах моря. Отец Борис снова ускорился, Алексей Иванович и Серёга с его сумкой еле поспевали за ним. А я опять отстал — никак не мог переключиться на более высокую скорость, словно не было у меня такой передачи и я продолжал двигаться в усвоенном темпе. Впрочем, приближение Ватопеда охватило и меня, чем-то это напоминало афонскую Литургию, когда после длительной службы она подхватывает и возносит выше, выше, быстрее, быстрее и всё рвётся в тебе туда, сам боишься признаться, куда... Но сейчас-то я знал, куда всё рвалось — в Ватопед. Только если на Литургии плоть моя, повинуюсь законам притяжения, удерживалась на земле, то теперь, повинуюсь закону правильного ритма, не позволяла нестись вперёд как угорелому.

Нас охватило общее веселье. Мы радостно поприветствовали промчавшуюся мимо нас маршрутку. Она ехала из Ватопеда, получалось, она была его вестником. И водитель весело помахал нам рукой, прокричав что-то в ответ. В салоне машины сидели несколько человек, и мы всем пожелали доброго пути.

Знали б мы, что это была за маршрутка!

Слава Богу, кстати, что не знали.

А так мы дошли до очередного правого поворота, обогнули гору и увидели — Ватопед!

Нет, это был не Ватопед. Это был рай. Изумрудную морскую бухту обнимали две мохнатые горные руки, а там посерединке — золотые купола. И как много! И сам монастырь, даже отсюда, с верхотуры, казался большим и уж точно больше самой Великой лавры и даже Пантелеймона. Неужели мы заслужили награду?

А какая тогда награда уготована тем, кто пройдёт не один день, а всю жизнь...

Господи... Я чуть не плакал. И не один я, потому что у Алексея Ивановича вырвалось изумлённо-восторженное:

— И нас туда пустят?!

— А почему нас должны туда не пустить? — удивился Серёга.

— Одежды не брачные <sup>[141]</sup>, - в очередной раз решил я блеснуть остроумием.

— Я там у ворот лягу и никуда не сдвинусь, — сообщил отец Борис.

Я представил картину и вздохнул:

— Вас-то, может, и пустят, у вас диамонитирионы ещё действуют, а у нас три дня как просрочены.

— Ничего, — покровительственно утешил отец Борис, — мы скажем, что вы с нами.

На том и порешили. Отец Борис решительно вернул себе вторую сумку и зашагал к Ватопеду.

Когда мы уже почти спустились с горы, Алексей Иванович подождал меня и сказал:

— Я думаю, нас всё-таки должны пустить. Тебе вот поясок Богородицы необходим. Ты же ради него шёл на Афон — как раз жене привезёшь.

Вот, оказывается, зачем я на Афон шёл.

— Я вообще-то по дороге два пояска у Богородицы просил.

— Зачем два-то? — удивился Алексей Иванович, но тут же сообразил по-своему: — Ну да, у тебя же дочка будет.

О дочке-то я и не подумал. Не то чтобы пот прошиб меня, но как-то нехорошо сделалось: что же я за скотина, о всяких начальниках думаю, а о близких, о дочке, которая вот-вот должна появиться на свет, не вспомнил ни разу. И не молился за неё. А как молиться, если имени ещё нет? Я за жену молился. Со чадом. Но ведь действительно, как хорошо бы дочке поясок-то ко дню рождения! Так ведь уже начальнице пообещал. Что же, отбирать теперь?

Не то чтобы я растерялся от нахлынувших терзаний, но смутился изрядно. Алексей Иванович заметил.



— Ты чего? Плохо стало?

— Я ведь второй поясок-то уже начальнице пообещал, — признался я.

— Ну и подхалим же ты, — прищурился на меня Алексей Иванович.

— Я — искренне. Она человек хороший.

— А сколько ей лет-то?

— Да Бог её знает, у начальниц разве может быть возраст?

— Смотри, поясок-то этот при родах помогает. Подаришь ей, а она родит.

— Где ты видел, чтоб начальницы рожали?

— Ну, так те без пояска были...

— Пошли, а то братия уже вон куда ускакала...

Я немного успокоился.

— Какие вообще пояски? Во-первых, мне и один-то никто не дал, а во-вторых, молиться надо, чтобы в Ватопеде приняли.

И то верно, — согласился Алексей Иванович.

7

Ватопед — настоящий город, и, как положено городу, у него есть пригород и даже выселки. По дороге попался сарай с огороженным выгоном для скота, потом пошли домики, потом — сад, и вот, наконец, мы вступили на замечательную аллею, предваряющую ворота. Длинная дорожка была выстлана камнем, по бокам стояли Бог весть какие деревья, но очень красивые, высокие, со склонёнными гибкими ветвями. Деревья уже выглядели по-осеннему, и сухая листва шепуршала под ногами. Дополняло картину солнце, которое незаметно для нас коснулось края хребта и выглядело уставшим и красным. Всё — и длинная осенняя аллея, и поблекшее солнце, и прохладный ветерок — говорило о конце пути, и, с одной стороны, радостно было оттого, что путь этот — с трудностями, плутаниями, ошибками — пройден, а с другой — томило тревожное ожидание: пустят ли?

Я и не заметил, как мы оказались перед невысокими воротами обители. Честно говоря, рисовалось что-то более величественное — например, Пётр с ключами <sup>[142]</sup>.

Мы помолились и вошли в тёмную узкую арку.

Откуда-то сбоку замахали на нас руками. «Попались», — мелькнуло в голове.

Из боковой двери вышел монах и стал что-то толковать нам, как всегда, эмоционально размахивая руками и непонятно.

Отец Борис сбросил на землю сумки и, казалось, приготовился осуществить задуманное: лечь перед входом в монастырь. Монах показал, что сумки можно и в сторону поставить. Отец Борис подвинул сумки с дороги, и у стены как раз оказалась не примеченная поначалу в темноте

лавочка. Отец Борис сел на неё и пообещал:

— Вот тут и лягу.

Монах тем временем продолжал что-то требовать от нас, наконец, услышалось знакомое слово «диамонитирион», мы дружно закивали головами и, составив рюкзаки возле сумок отца Бориса, полезли за «афонскими паспортами». Серёга сообразил:

— Давайте, кучей отдадим и наши сверху положим.

Так и сделали. Монах принял документы и снова замахал руками:

— Церква, церква!

Поначалу мы не сообразили, но тут раздался деревянный стук била, созывающий на молитву. Монах перстом указывал внутрь обители:

— Церква, церква!

— Он нас что — на службу отправляет? — первым догадался Алексей Иванович.

— Пошли, — сказал я братии.

— А вещи? — спросил Серёга.

— Пошли, и как можно быстрее, — настойчиво повторил я и пояснил: — Пока не передумал.

Бросив вещи, мы поспешили внутрь монастыря, но поняв, что никто догонять и возвращать нас не собирается, успокоились и осмотрелись. Ватопед из всех виденных нами монастырей более всех похож на город. Мощёные улицы, а не улочки; широкие площади, а не площадки; сады, а не пара-тройка деревьев; а уж сколько самых разных зданий! И над каждым — купол, значит, в каждом есть церковь, во всём чувствовалась мощь, основательность и незыблемость.

И не случайно: Ватопед, по сути, первый монастырь на Афоне, основанный ещё в IV веке. Основание его было чудесно. Монахи, историки и богомольцы рассказывают об этом по-разному, но в главном сходятся все: сын царя плыл на корабле из Рима в Константинополь; корабль попал в бурю, и отрока смыло волной, так что его посчитали погибшим, а местные поселяне обнаружили отрока мирно спящим под кустом. «Ватопеди» по-гречески — «куст». Отсюда и название монастыря, который основал в благодарность за спасение отрока василевс <sup>[143]</sup>. В эту главную канву, и без того чудесную, каждый, в зависимости от того, монашествующий или учёный, вплетает свойственные его образу жизни нити. Так, монахи говорят о явлении отроку Богородицы, учёные считают это плодом фантазии, монахи же, в свою очередь, склонны жалеть тех, кто Богородицу не воспринимает как реальность. Ну да оставим разночтения. В чудесном спасении отрока сходятся все, а нам остаётся только верить и жалеть неверующих.

Мы как раз вовремя подошли к главному собору, монахи и миряне стекались к нему, как всё живое тянется к восходящему солнцу.

С солнцем, правда, сравнение неудачное — солнце-то как раз садилось. Тени уже были длинные, и только золотые купола огненно отражали последние лучи.

Мы входим в притвор и встаём подле завесы. Начинаются часы. Молитвы, радостный звон

кадилницы, завеса раскрывается — и мы входим в главную часть храма. Собор высок, просторен. Идёт вечерня, читают Псалтырь. Мы проходим и прикладываемся к иконам, в том числе и на царских вратах. Потом встаём в уголок и молимся.

Как хороша всё-таки греческая служба! В самом деле забываешь, что на земле находишься. Так ведь и не на земле сейчас, храм — это и есть частичка неба.

Дабы утишить задетые патриотические чувства, замечу: я не сказал, что греческая служба лучше нашей. Категории «лучше — хуже» здесь вообще неуместны. Всё равно, как спрашивать ребёнка: кого ты больше любишь — маму или папу? Я просто сказал, что хороша. И вспоминая её сейчас, повторяю: хороша! Полтора часа пролетели, как миг. И тысяча лет у Него как час, и час у Него как тысяча лет <sup>[144]</sup>.

На середину храма вынесли большие столы, и из алтаря стали выносить ковчежцы. Мы рты пооткрывали: на длинных, метров в десять, столах плотно стояли мощи святых, длани, главы... И мы потихоньку подходили, прикладывались...

Я отошёл от мощей в смешанном состоянии: тут была и раздавленность, словно от упавшего камня <sup>[145]</sup>, и ощущение силы, к которой прикоснулся и которая входит в тебя. Но как вместить, как удержать хотя бы частичку?

— А вы что за поясками не идёте? — спросил отец Борис и помахал небольшим пакетиком.

Не понял. Неужели служба уже закончилась?! К нам подошёл монах.

— Русия? — и показал в сторону правого клироса: — Туда, туда идите.

У правого клироса уже стояло пятеро соотечественников (я подумал, что наши и правда выделяются — по жизнелюбивым лицам и пренебрежению к одежде). Мы дополнили их число. Подошёл молодой монах и на приличном русском, но с мягким южно-славянским акцентом начал рассказывать про монастырь.

Я всё никак не мог поверить, что служба закончилась, и то и дело отвлекался на уносимые ковчежцы с мощами. А больше всего смотрел на небольшие полиэтиленовые пакетики в руках соотечественников. Такой же пакетик с Богородичным пояском был у отца Бориса. Чувство могущей вот-вот случиться ужасной несправедливости всё более поглощало меня. И когда монах сказал, что сейчас мы перейдём к одной из самых почитаемых здесь икон, я поймал его за рукав и сказал как есть:

— Нам поясков не дали...

Монах удивился, потом махнул рукой:

— Идите к выходу, я сейчас подойду. Сколько вас? — монах окинул группу и ушёл в алтарь.

Соотечественники послушно двинулись к выходу, но я застыл возле правого клироса, рядом остался Алексей Иванович.

Монах вышел и посмотрел на нас.

— А вы что?

— Нам пояски бы... от Богородицы...

— Вот, — и он протянул по пакету Алексею Ивановичу и мне и спросил: — А где остальные?

— Как велено, пошли к выходу.

— Ну, вот вам, — он дал нам ещё по одному пакету. — Один остался. Возьмите, — и монах протянул пакетик мне. — Идёмте.

Я держал в руках три небольших полиэтиленовых пакетика, в которых лежали три пояска Богородицы.

— Идёмте же!

— Пошли, — потянул меня Алексей Иванович.

Признаюсь, я плохо слушал нашего доброго монаха. Впрочем, всё — и рассказы про царицу, которой сказано было, что на Святой Горе не место женщинам<sup>[146]</sup>, и про икону, которая предсказала нападение разбойников и тем уберегла обитель<sup>[147]</sup> (мы молились, прикладывались), потом пошли в дом, где произошло чудо с маслом<sup>[148]</sup> (тоже прикладывались к иконе и там нам дали маслица) — всё было, как в тумане. Может, это оттого, что я не особо люблю музеи и экскурсии, когда ты должен слушать то, что можно найти в справочниках, а не то, о чём нигде не написано. А скорее всего, от того, что в руках я держал три Богородичных пояска. При этом я влюблёнными глазами смотрел на старательно рассказывающего историю Ватопеда монаха, старался стать поближе и задавал вопросы, хотя ничего толком не соображал, но помнил, что лекция тогда считается удачной, когда слушатели эти вопросы задают. Вот и я старался подфартить монаху и, кажется, порядком надоел не только ему, но и соотечественникам, которые стали подозревать во мне обмирщвлённого интеллигента.

Но вот они три — три! — пояска-то!

Нас всех спасла необходимость идти на ужин. За трапезой я стал приходить в себя, то бишь возвращаться на землю. А когда в конце сделал добрый глоток вина, вернулась способность изъясняться на человеческом языке, и я, обратившись к Алексею Ивановичу, торжественно изрёк:

— Ты понял: три пояска!

Алексей Иванович смотрел на меня снисходительно, как старший брат на младшего, сделавшего первое жизненно важное открытие, давно уже, впрочем, известное человечеству.

И я понял, что он понимает меня.

— Между прочим, — склонился ко мне Алексей Иванович, — мы сегодня ничего такого не вкушали.

Я улыбнулся.

— Вино-то за скромное не считается?

— Вино — заслуженное.

Когда мы вышли из трапезной, вечерний сумрак пробрался по улицам и площадям монастыря,

как пробирается холод по рукавам осеннего пальто.

— Ну, теперь-то нас должны оставить ночевать, — сыто произнёс Алексей Иванович.

А я и забыл, что мы ещё нигде не ночуем.

— А мне всё равно, — отозвался отец Борис — беспечное восприятие мира и жизнерадостность, кажется, никогда не покидают его.

И я был с ним солидарен — так хорошо было.

Мы отправились за вещами и обрели их там, где и оставили. Монах, возвращая нам диамонитирионы, проворчал что-то, видимо, о том, что пускает нас вопреки всяким правилам и только по величайшему снисхождению. Так ведь в рай иначе и не попадают. Он записал нас и направил в архондарик.

## 8

Архондарик... Нет, то, к чему мы подошли, нельзя именовать таким архаичным легковесным, как старая деревянная дача на шести сотках, словом. Если Иверон мог гордиться входной дверью, снятой с ремонтируемого министерства, то в Ватопеде, видимо, была как раз та новая дверь, которую собирались на министерство поставить, но пожертвовали ватопедской гостинице. Да и фасад высоченного здания вызывал уважение и даже некоторую робость...

Что же с нами было, когда мы, грязные путники, из вечерних сумерек шагнули в блистающий вестибюль?! Огромная люстра заменила солнце, белоснежный мрамор стен отражал свет и умножал его, а золочёные канделябры добавляли тысячи искорок. По периметру почтительно выстроились фикусы и пальмы, меж ними приглашали отдохнуть диванчики. Да мы не то что присесть, мы сумки-то не знали куда поставить — не на этот же блистающий мраморный пол? — так и держали в руках.

Подошёл метрдотель, то есть высокий монах с аккуратной бородой и в величественном клобуке, и показал направление в сторону мраморной же лестницы (вот лестница в Ивероне была погубернатестее). Мы так поняли, что нам на самый верхний, пятый этаж.

— Здесь должен быть лифт, — сказал Алексей Иванович.

— Откуда ты знаешь?

— Так Володя говорил... когда посуду мыли...

Лифт и правда был, весь инкрустированный и бесшумный. Нет, к этому великолепию нельзя прикасаться. Неумытыми руками.

— Я пешком пойду, — сказал я и покосился на следившего за нами метрдотеля. — Сломаем чего-нибудь ещё.

Что такое пять этажей в сравнении с семью часами прогулки по Афону! Это последняя тягота для таких грешников, как мы, перед распределением по обителям, которых в Ватопеде, судя по всему, много<sup>[149]</sup>. Конечно, есть те, которых селят на первых-вторых этажах, есть и такие, что на лифтах возносятся. Но наше дело — трудное.

Кстати, лестница менялась по мере подъёма. Это сначала она была мраморной, а к концу стала

деревянной и узкой. Краем глаза мы заглядывали в холлы минувших этажей. И трепетали. Вот пятый был как раз по нам — мы вошли в коридор и рухнули на стоящие вдоль стен деревянные лавки.

— Это вы пришли, когда собирались ворота закрывать... — услышали густой и ровный голос, который даже не спрашивал, а называл вещи своими именами, ни наше «да», ни наше «нет» не поколебали бы его ровности и густоты.

Перед нами стоял высокий, крупный монах средних лет, с аккуратной чёрной бородой, в идеально подогнанном по фигуре облачении, двумя руками он опирался на посох, точь-в-точь как монахи на портретах, развешанных по стенам коридора, только у тех волосы были седые, лики постарше и глаза поостроже, а этот — вылитый игумен вновь открытого подмосковного монастыря.

Я невольно поднялся. Ну, во-первых, отец учил не сидеть, если с тобой разговаривает стоящий человек, во-вторых, неловко сидеть, когда перед тобой игумен, в-третьих, надо признаться, что, услышав этот ровный властный имеющий голос, я малость заробел, не хватало шапки, которую надо тут же стянуть с головы и ломать в руках.

Остальные тоже поднялись.

Вообще-то заробеть было отчего и, помимо собственно голоса, что значит: «когда собирались закрывать ворота» — мы что, не вовремя, что ли? И какой из этого вывод?

— Мы перед началом службы пришли, — дипломатично ответил Алексей Иванович.

— Молодцы, — так же ровно произнёс монах, никакой похвалы в голосе не было, только величие и спокойствие, за которыми ощущалась пятнадцативековая история, длинные столы с мощами и величание сей странноприимной обители. И так же безстрастно велел: — Да вы садитесь.

Мы сели и стали ждать решения. Вообще-то не верилось, что после того, как оказались на пятом этаже гостиницы, нас могут отсюда попросить. Но кто знает...

— Сейчас вас расселят, — не стал томить нас монах. — Сюда надо заранее звонить, вас не ждали, а количество мест ограничено, — можно было подумать, что он извиняется за то, что мы томимся в коридоре, а греки ходят туда-сюда определённые, громкоговорящие и весёлые. Так они, по-моему, всегда такие. — Сюда приезжает много греков, — продолжил монах, особенно на субботу-воскресенье. А сегодня понедельник. — Он помолчал и добавил: — Да и к последней машине вы не успели...

Мы переглянулись — вот что это была за маршрутка, которую мы встретили, подходя к Ватопеду! А если бы мы не блуждали семь часов? И сегодня был бы не понедельник?

Да это Богородица водила нас семь часов по Афону именно для того, чтобы мы не попали на последнюю маршрутку, увозящую из Ватопеда задержавшихся грешников. Мы должны были попасть в Ватопед, но и Ватопед должен был соблюсти правила. А ещё я должен был получить от Богородицы три пояска. Ну и молиться мы всё-таки где-то с четвёртого часа начали.

И снова лёгкая волна ощущения Божьего присутствия затуманила голову. Я счастливо улыбался и особо не вслушивался, что рассказывал монах о Ватопеде.

— А вот и ваше место, — я очнулся, потому что до того в бесстрастном голосе слышались

нотки радости: наконец-то можно идти в келью и молиться.

Мне стало неловко перед монахом, у которого наверняка был сложный день и наверняка прошедшие суббота и воскресенье были ещё сложнее, а тут мы со своими докуками.

— Спасибо, — сказал я.

— Да ничего, — ответил монах и улыбнулся.

Подошедший послушник с редкой бородкой и длинными растрепавшимися волосами молча довёл нас до комнаты, открыл дверь, пригласил зайти, зашёл сам, окинул взглядом келейку, удовлетворённо кивнул, повесил ключ на вешалку и вышел.

Господи, куда мы попали? Неужели это маленькая келейка со скошенным потолком, который подпирают два столба, и проделанным в нём окошком в небо, с пятью плотно приставленными друг к другу кроватями на верхнем этаже ватопедской странноприимницы? Нет, мы — на седьмом небе!

Радость и душевный подъём были настолько сильны, что даже и мысли не возникло повалиться на кровати. Засобирались в церковную лавку, как пройти в которую, нам, оказывается, разъяснил монах. Ну да, я же хотел купить лучшего ватопедского ладана.

Мы вышли на улицу. Светили крупные звёзды, фонари указывали путь, но всё равно ночь брала своё, она словно напоминала: здесь-то вам хорошо, а окажись там, за стенами... Сразу почувствовалась ночная давящая густота и сердечко невольно постаралось спрятаться и стучать потише.

Но страха не было. Наоборот, мы шли по улочкам замершего города и было приятное ощущение приобщения к тайне.

«А ведь сейчас по кельям молятся», — подумал я и понял, что это не каменные стены отделяют нас от ночных страхований, а молитва. За весь мир. В том числе и за нас.

По церковной лавке ходить и восторгаться можно было долго, что мы и делали. Снова хотелось купить всего, но денег осталось на ладан, на красивые, украшенные разноцветными стёклышками кресты, которые мы видели в Карее, и на дорогу домой. Ну, можно было, конечно, пожертвовать предполагавшимся ужином в Уранополисе, когда мы вернёмся в мир... Вот о чём я уже начал задумываться... Нет, ужином жертвовать нельзя. Я подошёл к большому стеллажу с музыкальными дисками. Как было бы хорошо дома поставить диск с афонской службой и снова погрузиться в неё. Подошёл послушник и тут же позвал другого, который заговорил со мной на ломаном, но очень приятном русском языке. Мы стали выбирать диски вместе. В какой-то момент я поймал себя на мысли, что просто не хочу уходить отсюда, и всё равно ничего не куплю, и только отнимаю время у послушника. Тогда я решительно отказался от дорогих музыкальных дисков и купил простенький с видами Афона — буду смотреть. Почему-то решил, что афонскую службу могу найти и в России, а вот таких фотографий — нет.

Алексей Иванович тоже почувствовал близость завершения путешествия и, решив, что экономить больше смысла нет, набирал гостинцы, словно хотел осчастливить всех родных и знакомых. Выбирая подарки, он тоже не торопился: подолгу изучал каждую икону или вещь, сравнивал, возвращался, находил меня, спрашивал совета, и мы уже вместе шли сравнивать — в общем, уходить не хотелось... Но и лавочники поглядывали на нас уже не так приветливо, их тоже можно понять: пора закрываться, а тут ходят, высматривают, выспрашивают... и ничего толком не покупают. В итоге, мы на гостинцы набрали из того, что стояло ближе к кассе. Но

ладан я купил самый наилучший.

Когда мы вышли из лавки, Алексей Иванович объявил:

— А теперь — кофе.

— Нет-нет, — запротестовал отец Борис, — спать пора.

Ну, он действительно с двумя-то сумками намаялся больше всех.

— Правильно, — поддержал его Алексей Иванович. — Вы идите ложитесь, как раз уснёте, а там мы подойдём и будем правило читать.

— Какое правило? — не понял батюшка.

— Ко святому причащению.

— Как?! Опять?

— Ну, мы ж сегодня ничего скоромного не ели, весь день только и делали, что шли и молились, — поддержал я Алексея Ивановича.

— А сыр за ужином?

— Мы не ели.

Спорить с нами было бесполезно, да и не в его мы благочинии, и батюшка махнул рукой.

— Как хотите, а мы — спать.

— А где ты собрался кофе пить? — спросил я, когда отец Борис с Серёгой скрылись в ночной тьме.

— Так монах же говорил...

— А-а... Тогда веди, я всё прослушал.

Так и не понял, то ли это монах так хорошо и подробно объяснял, то ли у Алексея Ивановича такой нюх на кофе, потому что шли мы какими-то невероятными коридорами, то спускались, то поднимались по лестницам, переходили по недостроенной террасе из корпуса в корпус, но в итоге вышли-таки в большую старинную залу, в которой шёл ремонт. Может, от тусклого света всё казалось здесь хранящим вековые тайны и даже сами строительные лесенки тоже казалось из прошлого. Посредине залы тянулся длинный округлый стол. За таким, наверное, собирались на совет старцы...

В дальнем углу поблёскивала большая железная коробка. Это и был кофейный автомат. Здесь? В этой старинной зале? Да ещё механический кофе?!

Когда автомат выдал нам пластмассовые стаканчики с напитком и Алексей Иванович сделал глоток, возмущению его не было предела, даже в Карее он выглядел менее оскорблённым.

Я пожал плечами и продолжал цедить: я не такой гурман, а халява — она и есть халява.

Алексей Иванович попробовал сделать ещё глоток, но оставил стаканчик.



— Так и придётся идти курить.

— Так ты ради этого и тащил меня сюда?

Алексей Иванович вздохнул.

— Не переживай. Это всё бесёнку покоя нет, что у нас всё слава Богу, вот и пакостит по мелочам. Ты только подумай: как мелок бес!

— И что теперь?

— Возьми и допей кофе. В отместку.

— Нет уж, я лучше в отместку ему покурю. Я тут одно замечательное местечко обнаружил.

Замечательным местечком оказался балкончик на лестничной площадке между четвёртым и нашим этажами. Он выходил на внешнюю сторону монастыря, и там была уже чернота ночи и пугливые звёзды. К тому же, на балкончике было зябко. И вдруг меня посетила дерзкая мысль: я вспомнил, что помимо всех прочих удобств и мрамора, в местной гигиенической комнате (туалетом это назвать язык не поворачивается) я обнаружил душ.

— А пойду-ка я душ приму.

Алексей Иванович посмотрел на меня как на ненормального, потом стал уговаривать: мол, вернёмся в Уранополис и там в гостиничке...

— Тут и вода горячая есть, — не унимался я.

— Давай лучше на звёзды посмотрим, — и я понял, что ему просто лень.

Пообещав обернуться быстро, я ушёл.

В келейке оба наших спутника спали накрепчайшим сном. Я взял монастырское полотенчко и отправился в душ. Почему-то казалось, что душ сейчас окажется занят или вдруг не окажется горячей воды. Но в нашем корпусе была уже почти полная тишина, ни единой души не встретилось, а когда я повернул кран, на меня полилась приятная тёплая вода.

Когда я появился в келейке, Алексей Иванович посмотрел на меня с завистью и проворчал:

— Как теперь рядом с тобой стоять-то...

— Терпи.

Мы легко вычитали каноны и правило. Я вообще находился в невероятно приподнятом настроении. Никакой аппаратный кофе не мог мне его испортить. Да даже если бы и холодная вода полилась в душе — ничто не могло заставить меня забыть три пояска Богородицы.

Три!

## **День восьмой**

### **1**

Проснулся я до пиликания телефонного будильника и некоторое время смаковал предчувствие

последнего дня. Это не было радостью расставания и не было удовлетворением от того, что преодолел какой-то рубеж, этап... Это была сладость достижения полноты. Для которой как раз и оставалось последнее — Литургия в Ватопеде и, даст Бог, причаститься. И что-то ведь должно произойти со мной, когда я достигну этой полноты. Не может быть, чтобы я остался прежним.

Заиграл телефон Серёги, стали подниматься товарищи, и долго понаслаждаться не получилось. Да и ни к чему это. Вперёд, вперёд — на Литургию. Я был уверен, что и тут со мной произойдёт нечто символическое, знаковое, и для меня оно будет завершением круга (мне полнота представлялась огромным шаром, наполняющим меня).

И снова необычная Литургия! Господи, как некоторые могут говорить: да что там у вас за Литургией — каждый раз одно и то же?! Это упрёк нам, остающимся теми же, но вот на Афоне — ни одной одинаковой службы. И дело вовсе не в том, что это были разные монастыри — я каждый раз оказывался другим. Не лучше и не хуже — другим. Кто-то скажет: глупость, если человек стал другим, значит, он обязательно стал лучше или хуже. Нет, я чувствовал, что по сути оставался прежним, но всякий раз открывал в себе самом новое, какая-то часть меня, уже существующего, откликнулась и начинала жить — я становился полнее.

На этой последней (Господи, сколько раз лётчики учили меня: не говори «последний» — говори: «крайний» и только «крайний», но никак не «последний») своей Литургии на Афоне я уже явственно ощущал приближение мира. Может, оттого, что Ватопед расположен ближе всех к границе<sup>[150]</sup>, отделяющей полуостров от материка, а может, от комфортного быта, а скорее всего, оттого, что сам уже мыслил себя в миру.

И оттого, как восчувственно переживались псалмы. Я представлял Адама, покинувшего рай и вынужденного в поте и труде добывать хлеб<sup>[151]</sup> себе и семье, а там то одно, то другое, то зверьё, жить толком негде, денег вечно не хватает, а тут ещё Каин с Авелем<sup>[152]</sup>... Но живём, слава Богу... Зверьё, в общем-то, не трогает, крыша над головой есть, да и на остальное грех жаловаться, детей бы вот только поднять... А так, на то он и мир — по грехам нашим. Насколько грешны, такой и мир вокруг, чего уж там... Но, Господи, не оставь нас в этом мире одних! Ведь и Адама изгнанного не оставил Ты, Господи.

Служба шла очень легко. Не быстро, именно легко. Может, конечно, и потому, что я стал лучше понимать греческий язык. Вот часы начались, скоро, скоро Литургия.

И только закончились часы, произошло неожиданное. Служба прервалась, и монахи пошли из храма. Я сначала подумал, что сейчас мы перейдём в другой храм, как это было в Ивероне, но стоявшие на выходе два монаха ловко рассортировывали мирян, и уже много потоков растекалось от кафоликона. Несмотря на то, что мы с Алексеем Ивановичем шли рядом, почти сцепившись руками, разделили и нас. Сначала я почувствовал растерянность: как же так, всё время вместе и вот — на тебе, но тут же словно кто погладил меня: успокойся, всё хорошо. И я пошёл за гуськом вытянувшейся группой в глубь монастыря. Мы шли по настоящему городу с улочками, арками, дворами, домишками и домами. По ходу от нас отделились человек десять. Оставшиеся зашли в небольшой дворик, и тут нас снова разделили, и те полтора десятка человек, в число которых попал я, поднялись по старой деревянной лестнице на второй этаж и вошли в храм, над которым благословлял входящих святой великомученик Пантелеймон. Я задохнулся от восторга! Большим знаком для завершения полноты можно ли наградить?! И опять засомневался: может ли такое быть со мной? Но и с царских врат взирал Целитель, и мы по афонской традиции подошли к нему под благословение<sup>[153]</sup>.

А началась служба с исповеди. Я уже знал её, и повторял за священником по-русски: «Господи, прости мя грешного», — и преклонял колена.

И дальше была Литургия, о которой я и мечтать не мог. В маленьком старинном храме я стоял так близко к алтарю, что чувствовал колыхание плата над Чашей. Мне не с чем сравнить. Ликование и восторг — лишь слабые тени того, чем жила душа.

Но перед самым причащением, когда вынесли Чашу, я вдруг ощутил такое недостойнство принимать в себя Тело! Несколько человек потянулись к Чаше, а я замер и не двинулся. Как я могу со всеми своими грехами?! Как я смею даже думать об этом!

Я стоял, совершенно обезумевший от открывшегося, и смотрел, как священник причащает народ.

И кто-то легонько подтолкнул меня в спину.

Что такое слова? Прах и пепел. И пепел, конечно, может говорить. И из праха можно восстать. Но я всего лишь сочинитель. Я не могу заставить говорить пепел. Огонь горит в моём сердце и поядает слова, которые я не могу произнести. Потому что солгу <sup>[154]</sup>.

Но, может, так... как бы из огня... <sup>[155]</sup>

Я причастился.

Отошёл подальше и вытирал глаза, чтобы не видели, как я счастлив.

Служба закончилась, нас повели обратно. Уже светало, где-то на краю земли поднималось солнце. Но всё окружающее не трогало меня. Я отмечал происходящее, например, то, что стоять на площади перед трапезной прохладно. Подошедший Алексей Иванович поздравил меня с принятием Христовых Тайн. Потом показал на огромный, с голову, какой-то фрукт на дереве. Я остался равнодушен к его существованию. Подошли отец Борис с Серёгой, стали пересказывать, где были и что видели. Я их понимал, но то, что они говорили, никак не проникало в меня. Вернее, я изо всех сил старался, чтобы не проникало.

Я носил в себе Бога.

Бог в моём сердце.

Я знал, что достиг полноты. Той полноты, которую могу вместить.

Но что же, изменился я?

Изменился. Но в чём?

И тут я вспомнил про пшеницу: она растёт, и мы не замечаем, как она растёт.

Нечего копать в себе. Надо выращивать. Поливать. Выпалывать сорняки. Удобрять. Надо жить. А Бог даст — будет урожай. И не так уж и важно, кто будет его убирать <sup>[156]</sup>.

Блеснул луч солнца, и площадь ожила и засветилась. Все заулыбались вокруг, подставляя лица новому дню.

— Это грейпфрут, — сказал я Алексею Ивановичу.

— Чего?

— Ну, то, что ты мне показывал, вон, на дереве.

— А-а... я уж думал, у них дыни на деревьях растут.

Может, и дыня, — согласился я, у Господа всё возможно.

## 2

Открылись двери трапезной. Хоть понедельник на Афоне и постный день, но для нас — праздничный. Правда, всё больше примешивалась грусть: через несколько часов мы покинем Афон.

Грусть нарастала. И рюкзаки завязывались неспешно, и ритуал обмена адресами-телефонами тоже шёл тягуче, наконец присели на дорожку. И в это время у меня зазвонил сотовый. Я аж вздрогнул с перепуга, дикость полная, я уж забыл про него — и ведь никто за все эти афонские дни не звонил мне — и вот на тебе. Я осторожно достал трубку.

— Ну, как там дела? — донёсся голос трудно-проснувшегося человека.

— Нормально, — ответил я.

— Вот... Да мы тут, Сань, вчера встретились, посидели... Это... У тебя сотки не будет взаимы?

Мне стало, ух, как весело.

— Я ведь сейчас далеко.

— Где? — оживился голос, для которого, видимо, преград не существовало.

— В Греции.

— Это где? — слышалась растерянность.

— В Европе.

— Шутишь?

— Нет.

— А когда приедешь?

— Дня через три.

— Вот ведь, блин... — и на том конце мира потеряли ко мне интерес.

— Кто звонил? — поинтересовался Алексей Иванович.

— Братья по сочинительству. Плохо им без нас.

— Что ж, есть повод вернуться.

День светился, воздух благоухал, горы стояли часовыми — Афон торжественно провожал нас.

Мы вышли за ворота и несколько минут благодарили Богородицу и Её райский удел на земле за дары, за благодать, за всё, за всё...

Вышли к остановке. На небольшом асфальтовом пятачке под старинной каменной стеной стояли три пустых газельки (я уж их так называю, хотя, конечно, какие они газельки, японцы какие-нибудь или немцы). Подле них собирался народ, кучкующийся по национальному признаку. К нам подошли батюшка и два молодых человека, скоро ещё двое. Греки стояли табором. Вышла группа явных стариканов-западноевропейцев, все были поджары, рациональны и уверены в движениях и с одинаковыми чемоданчиками на колёсиках, чем очень напоминали спортивную команду, уезжающую с соревнований.

Тут же появился водитель одной из газелек и команда стала несуетливо загружаться.

— Везде они первые лезут, — недобро заметил один из молодых парней.

— Да ладно, — махнул рукой незнакомый батюшка, — пусть едут. А я бы так и сидел бы здесь и сидел, пока Господь позволяет.

Но сидение начинало походить на слезливые долгие прощания. Конечно, я тоже был не против подольше оставаться здесь, но уже всё внутри настроилось на движение, уже мир позвал (я вспомнил телефонный звонок), не то чтобы хотелось возвращаться в мир, но уж если такая неизбежность, то пусть это случится быстрее. Расставаться надо на высокой ноте, быстро и решительно, как прыжок с парашютом.

Развлекло появление двух монахов с вёдрами, за которыми, подняв хвосты, трусило штук тридцать самых разномастных котов. На народ, собравшийся у остановки, коты не обратили ни малейшего внимания, строго следуя за монахами.

— Экие послушники, — умилился незнакомый батюшка.

— Это они за едой.

— Вот и нам бы так за Христом, за Хлебом <sup>[157]</sup> нашим насущным бежать, а мы всё туда-сюда... — ответил батюшка.

Не знаю, за кем было интереснее наблюдать: за кошачьим стадом или за монахами, которые по-детски забавлялись, заигрывая с котами, и нет-нет виновато улыбались в нашу сторону: мол, что тут поделаешь, такие вот они смешные, эти коты, что и монахам, глядя на них, улыбнуться не грех.

Монахи и коты скрылись в глубине сада, и снова повисла пауза. Общее состояние выразил Алексей Иванович:

— Ехать — так ехать, — говорила мышка, когда котик тащил её из норы. А нас и не тащит никто.

Вернулся молодой человек, подходивший к водителю газельки, в которую загрузились иностранцы. Видимо, он владел местным наречием и сообщил:

— Одна машина поедет через час в Карею. А другая — через полчаса в Хиландар и вернётся.

— Может, нам в Хиландар поехать? — предложил отец Борис. С его-то живостью томительное ожидание было особенно мучительно.

— А что — хорошая идея, — как можно равнодушнее поддержал я, предчувствую, что это ещё одна милость, дарованная в честь праздничного дня: мы должны прощаться с Афоном без посторонних. И хоть отец Борис с Серёгой нам уже роднее некуда, я, стараясь не выказывать радости, спросил: — У вас же одна ночь осталась? — Сибиряки закивали головами. — Где, Серёж, у тебя карта? Вы в Пантелеймон хотели? — Те снова закивали. — А кто знает, как вы будете туда добираться из Карей? Это ведь через перевал надо идти. А так ещё и к болгарам можете попасть в Зограф<sup>[158]</sup>, тоже — славяне. У них и пристань своя есть. Утром на паром — и в Уранополис.

Я говорил с ленцой и уверенно, как бывалый афоноходец.

Отец Борис всё-таки засомневался:

— Может, всё же в Пантелеймон через Карею?

— Ну, можно, конечно, только придётся через хребет переходить. Вчера вот переходили...

Напоминание о вчерашнем переходе болезненно отозвалось в теле отца Бориса, и тот просительно посмотрел на Серёгу.

— Может, и правда, в Хиландар?

Тот пожал плечами.

Дальнейших рассуждений отца Бориса о плюсах и минусах возникших вариантов я бы не вынес.

— Ну, вы думайте пока, а мы пойдём кофе попьём, — я поднялся.

Алексей Иванович посмотрел на меня, как на больного: что я называю кофе? Но, бросив взгляд на призадумавшегося отца Бориса, кивнул.

— Пошли. — А когда мы немного отошли, поинтересовался: — А без нас они не уедут?

Я пожал плечами, что должно было значить: скорее «нет», чем «да».

— А вещи?

Тут я пожал увереннее и даже махнул рукой.

Зал с кофейным автоматом мы нашли быстро. На этот раз там шла стройка. Не кипела, а именно шла: работники в строительных спецовках похаживали по зале, передвигали лестницы и сколоченные подставки — и всё это неспешно, уверенно, словно на ремонт отведена вечность. У автомата стоял невысокий грек в синем рабочем комбинезоне и набирал кофе. Рядом на столе уже стояло четыре стакана и к ним присовокуплялись ещё и ещё. Маленький грек, опершись на автомат, ждал, пока тот утробным металлическим вздохом, в котором слышалось что-то загнанное лошадиное, даст знать, что готов к продолжению работы, и жал, долго и с чувством, на одну из кнопок. Автомат с минуту думал, потом из него брезгливой струйкой истекла жидкость. Грек переставлял стаканчик на стол и снова опирался, в ожидании, на автомат.

Больше всего раздражала ленивая струйка из автомата. Я уже пожалел, что пошёл сюда. Алексей Иванович тоже заметно нервничал и поглядывал на часы. Я хотел предложить уйти, но неожиданно задержался вопросом: а как грек понесёт такое количество стаканчиков?

Подошёл здоровый мужик, похожий на великана из гуцульских сказок, в настолько заляпанной спецовке, что первоначальный цвет не определялся, и стал вяло переругиваться с греком, видимо, тоже хотелось кофейку, а грек упорно отказывался пропустить великана.

Великану наконец надоело общаться с греком, и он заметил нас.

— А вы чего тут?

Вообще-то мы привыкли уже, что русских в нас опознают сразу, и то, что чуть ли не каждый встречный изъясняется на родном и могучем — тоже не удивляло, но всё равно немного растерялись.

— Кофейку хотелось на дорожку. Там автобус скоро... — залепетали мы.

Наше лепетанье придало великану недостающей мотивации. Он решительно приступил к греку, тот было что-то пытался отвечать и отмахиваться, но отмахнись от нашего-то — это вообще самое опасное для человечества — мы народ мирный, пока нас не трогают. Глаза великана сузились, усы растопырились. Грек почуял, что переборщил, и, ворча под нос, фантастическим движением сгрёб в охапку более десятка пластмассовых стаканчиков с горячим кофе и понёс куда-то по коридору. Цирк на Цветном отдыхает.

Великан сделал широкий жест победителя:

— Наливайте.

Нам уже и кофе-то не хотелось, и бежать надо было на газельку, но мы же не могли отказаться от плодов маленькой победной битвы.

Самое смешное, что великан и в самом деле оказался молдаванином.

Как был прав батюшка на остановке! Надо было сидеть, не дёргаться и наслаждаться моментом. Сами суету создаём. Или это уже мир раскрывает свои объятия и мы бросаемся в них, как в объятия старого знакомого, которого ещё бы сто лет не видеть, но вот встретились...

На остановке было всё по-прежнему мирно и спокойно, и это немного восстановило прежнее чувство умиротворённости. Подошли к нашим, сидевшим подле вещей.

— Ну как, попили кофейку?

Алексей Иванович махнул рукой.

— А вы тут как, не было машины?

— Мы решили всё-таки — в Хиландар, вон и батюшка со своими туда едет.

— Правильно, вместе вам сподручнее будет, — и мы присели рядом.

Хорошо. День разогревался. Ярко-синее море ближе к берегу становилось изумрудным и по-кошачьи тёрлось о гальку, в зелёных горах нет-нет да и виднелся беленький домик — отшельническая калива. Живут там двое-трое, а то и один. Сейчас, наверное, отдыхают. Храни

их, Господи, — эти малые каливы мир держат.

А вот и водители. Всё сразу задвигалось вокруг газелек, а море всё так же тёрлось о гальку, и каливы смотрели на нас белыми глазами.

Мы обнялись с братьями и попросили друг у друга прощения. То всё не знали, как отделаться, а теперь грустно расставаться. Я ведь наверное знаю, что больше не встречу их, но они навсегда в моём сердце, и я всегда буду с теплотой вспоминать двух братьев-сибиряков и молиться за них. И за Саньков, конечно, тоже. Даровал Господь товарищей. Ах, если бы весь мир так перезнакомить, чтобы люди помнили друг друга и друг о друге молились! Хотя бы за тех, с кем подарил встречу прошедший день. Отчего нет?

Скоро поехали и мы. Вот проехали развилку, где мы вышли на главную дорогу, которая тянулась петлёй в гору. Газелька натуженно тянулась вверх, а мы всё вглядывались, надеясь увидеть указатель на Ксилургу.

— Вот он, — сказал Алексей Иванович. И в самом деле, мелькнула стрелочка, на которой я успел заметить «Кси...». — Здесь мы должны были выйти.

— Но не вышли.

— И слава Богу.

— Иначе не было бы ни ватопедской гостинички, ни Литургии и поясков тоже не было.

— Всё промыслительно, — подвёл черту Алексей Иванович и как припечатал: — Всё.

Газелька, обогнув гору, стала спускаться.

— Вон там должен быть Ксилургу.

Мы снова вглядывались, и иногда казалось, что мы видим голубенькие скитские купола, но сейчас мне думается, что мы больше хотели увидеть, чем видели на самом деле. Но мы видели — пусть иным зрением, но видели и отца Николая, и отца Мартиниана, и Володю. Я даже бетономешалку видел. Да я и сейчас вижу их.

Горы расступились, и слева показалось море. Там, внизу, была дорога, по которой мы шли из Иверона. А вон и Карея. Мы проехали Андреевский скит. Как всё-таки грустно уезжать! Почему нельзя — раз и сразу дома. Или хотя бы в Уранополисе.

Нельзя. Потому что тогда это всё воспринималось бы как сон, как сказка. Но это было. Мы были на Афоне! И Афон провожает нас, отзываясь тёплой грустью в сердце.

Вот и тишайшая площадь в Карее. Мы выгрузились. Алексей Иванович остался в теньке большого ветвистого дерева, а я побежал за настоящим вином, которое заметил несколько дней назад. Подарок для батюшек в России. Пусть так вещественно Афон будет присутствовать на наших Литургиях.

### 3

Ппробежался по лавкам, кое-какая мелочь оставалась, и дотрачивать надо было всё. В прошлый раз Алексей Иванович заметил красивые кресты на подставке, долго крутил их в руках, показывал мне, но купить не решился, и мне захотелось сделать ему подарок. Но, вроде,



и немного лавок, но что-то я пропустил и именно тех крестов не нашёл. Может, раскупили, подумал я, и вернулся к Алексею Ивановичу. Вид у него был взволнованный.

— Смотри, — шёпотом сказал он.

— Погоди, — я укладывал в рюкзак бутылки.

— Да смотри же.

— Подожди, стекло, грохну ещё где-нибудь. Я, кстати, кресты хотел найти, помнишь, ты показывал...

— Отец Мартиниан здесь.

Я быстро разогнулся, но тут же опомнился: милый Алексей Иванович, видимо, так укоренил ксилургскую братию в сердце, что теперь блазнится.

— Это тебе от избытка любви мерещится, — пожалел я его.

— А это тогда кто?

Я проследил по направлению руки и замер, слава Богу, хоть бутылки успел убрать — на небольшом камешке почти посередине кареевской площади сидел отец Мартиниан.

Сидел он к нам спиной и чуть боком, одежда на нём была выходная, тоже, видно, не первого года службы, но зато ставшая частью хозяина. Большие руки его лежали на коленях, маленький узелок покоился подле ног, сам же отец Мартиниан Бог весть где находился: всё окружающее было для него неважно и незначительно, ни на что он не обращал внимания — ни на проходящих монахов, ни на пробегающих котов, ни на подъезжающие газельки и выгружающихся пассажиров — ничто не отвлекало его. Всё это — газельки, коты, монахи — существовало и двигалось вокруг него по замысловатым орбитам, но центром был он — отец Мартиниан. И все орбиты почтительно огибали камушек, ставший центром, снижали скорость движения, а после уже неслись дальше.

Минут пять мы наблюдали за этой картиной, всё ещё веря и не веря, что перед нами один из скитников Ксилургу.

— Пойдём? — это не было вопросом, подходить к отцу Мартиниану или нет, вопрос надо было понимать так: пойдём или подождём ещё?

— Иди ты первый.

Я перекрестился (честное слово), и мы двинулись к центру кареевской площади.

Сложив ручки под благословение, мы бочком со спины приблизились к нему на расстояние, недопустимо близкое для иных орбит, и замерли, боясь потревожить.

Отец Мартиниан восклонился и поднял на нас глаза.

— Благословите, батюшка.

Как он заулыбался! Такой радостной и вместе с тем сдержанной, целомудренной улыбкой мне видеть не доводилось. Батюшка благословил и обнял каждого. И эта радость (но не сдержанность и целомудрие) сразу передалась нам. Мы развеселились, как прощённые дети.

Взахлёб принялись рассказывать о нашем походе в Ватопед, а батюшка всё так же радостно улыбался. Наконец мы иссякли и доложили, что программа выполнена полностью и мы возвращаемся в мир. Сейчас — на автобус до Дафни, а там — в Уранополис.

— Как — в Уранополис? — благодушие сошло с его лица. — У вас же самолёт в среду.

Мы переглянулись: откуда он знает? Мы, точнее я, залепетали что-то оправдательное, что хотели день в Уранополисе провести, и стал сочинять: мало что вдруг с паромом не так или автобус до Салоник опоздает, или... да мало ли что в этом мире может случиться, а потом программу-то афонскую выполнили по полной, как бы... вот и пояска три... вроде бы... ну вот, и уж ехать — так ехать...

Отец Мартиниан, казалось, меня не слушал.

— Пошли со мной. Я как раз в Пантелеймон. Сейчас доедем до Дафны. Оттуда на пароме до Пантелеймона. Там отслужим, а завтра отправитесь.

До сознания медленно, как заморозка, доходило: не будет сегодня никакого ужина у Яны с бутылочкой молодого вина и воспоминаниями о минувших днях, а будет долгая служба в Пантелеймоне.

— А как же... мы-то хотели...

— А иначе — никак, — прервал отец Мартиниан попытку объяснений и развёл руками: дескать, объяснять тут больше нечего.

Мы ошарашенно молчали. Дембель накрылся.

— Ну, вы что? Купить что-нибудь хотели? — вывел нас из ступора вновь подобревший и заулыбавшийся ксилургский скитник. — Вон тут лавочки есть. Сходите пока, — и сел обратно на камушек, давая понять, что все вопросы решены, аудиенция окончена.

Когда мы отпали от притягивавшего центра, Алексей Иванович попытался добить меня порядком надоевшим вопросом:

— Ну, что будем делать?

— Пойдём в лавочку. Какую он нам указал?

— Эту.

И я со злостью, то ли на себя, то ли на окружающий мир, шагнул в лавку.

Там мы искомые кресты на подставке и обрели. Как я их раньше не заметил, ведь заходил же. Но отыскал их Алексей Иванович.

— Вот, — сказал он, — я такие хотел сыну и дочке подарить. И надо же, у меня как раз столько денег и осталось. Думал в Уранополисе потратить, но теперь зачем? — и он грустно посмотрел на меня, видимо, ожидая, что я могу подать хоть какую-то тень надежды, что на Уранополис деньги надо поберечь.

Но я был жесток.

— Трать.

— Да ладно, не злись, чего уж теперь. Ну, не посидим у моря... Зато подарки купим. Доро, — вспомнил Алексей Иванович ласковое слово, потом вздохнул: — А так хотелось в море искупаться... Но видишь: «иначе никак».

Я перебирал сувениры и понемногу успокаивался: чего я, собственно, завёлся? Мы же стремились на Афон, и сейчас отец Мартиниан дарует нам ещё один день на Святой Горе. На один день позже вернёмся в мир — о чём я жалею? О вечере в ресторанчике на берегу моря? О долгом утреннем валянии в постели? О бесцельном блуждании по опустевшему курортному городку? О купании в море, в конце концов?

И ещё одна ночь на Афоне.

Глупо сравнивать.

Но мне хотелось в Уранополис. Более того, я уже весь был там. Точнее, я уже был не на Афоне: весь день, выйдя с Литургии, я прощался с ним. И что я не dokonчил?

Машинально я тоже взял крест, какой выбрал Алексей Иванович. Мы расплатились и вышли на площадь. Она так же была залита солнцем, и отец Мартиниан так же оставался её центром.

Страшно впасть в руки отца Мартиниана. Мы вернулись к своим вещам.

— Покури, — предложил я Алексею Ивановичу. — Может, легче станет.

— Да ну тебя... Может, ты подойдёшь и попробуешь объяснить...

— Сам попробуй. Начнёшь просить, — ещё какую-нибудь епитимью получишь.

— Какую ещё епитимью?

— За попытку послушания. Тут, брат, строго.

— Значит, в море не покупаемся?

Я вздохнул.

Терзания наши прервал появившийся «Икарус», который сразу оброс небольшой толпой.

— Откуда они повывлазили-то? — удивился Алексей Иванович.

— Пошли, а то места не достанется.

— Может, оно и к лучшему бы, — пробурчал товарищ.

Мы вошли в массы и дальше уже подчинялись их законам. Все поставили вещи в багажник — и мы поставили. Все полезли в автобус — и мы полезли. Не подумайте, что это напоминало штурм наших автобусов в час пик. Уже одно то, что вместо общеупотребительных выражений звучало «Кирие илейсон» да «Господи, помилуй», умирало обстановку. Да и без женщин мужчины были спокойнее и терпимее друг к другу. Но всё равно повеяло мирским, домашним.

Мы влезли в автобус последними и заняли места в конце салона. Усевшись и поправив одежду, перевели дух, и Алексей Иванович вспомнил:

— А где отец Мартиниан?

И правда, в толпе, торопящейся войти в автобус, он замечен не был (да я, честно говоря, и представить боюсь, что б тогда с толпой было — отзвук Куликовской битвы, как минимум). Мы стали вглядываться в окошко: но и на площади его не видно. Камушек пустовал.

— Неужели не сел?

Мы переглянулись и внутри похолодело: во-первых, оттого, что мы теперь снова свободны от опеки отца Мартиниана и можем действовать по прежнему плану, во-вторых, от того, что, оставшись без отца Мартиниана, мы точно вернёмся к прежнему плану.

Салон тем временем успокоился: кто успел, устало прикрыл глаза, дабы не видеть немым укором рядом стоящих, кто не успел, косился на занявших кресла. Взгляды, надо сказать, были пронизывающими, и я подумал: а не уступить ли место, лучше уж час постоять, чем жариться под этими взглядами. Я поднялся и увидел отца Мартиниана.

Он вошёл в салон и, не обращая ни на кого внимания, сел на первое место.

В памяти сразу всплыл любимый в молодости фильм (и так не любимый профессорами-филологами, ибо, по их мнению, ничто так не испакостило русский язык, как он) «Джентльмены удачи». Когда герой Леонова зашёл в камеру, ему предложили занять лучшее место. «А где здесь лучшее место?» — «Вон там у окна». — «Так тут чьи-то вещи лежат». — «А вы бросьте их на пол...»

Ни в коем случае не провожу неуместных параллелей, но мне вдруг так весело стало, что я почти во весь голос заорал:

— Он здесь!

Салон на меня обернулся. Весь. Кроме отца Мартиниана. Я смутился и сел на место.

— Где? — спросил Алексей Иванович.

— Где и положено — на лучшем месте.

Автобус завёлся, и мы поехали. Когда миновали Андреевский скит, который мы приветствовали как доброго знакомого, перекрестившись на его купола, и поползли в гору, я сказал:

— Думаю, всё правильно: нам его Бог послал. Нельзя быть такими сволочами и сбегать с Афона.

— Я тоже так думаю, — поддержал Алексей Иванович и встрепенулся: — Ты знаешь, что я вспомнил? Мы, когда крестным ходом у нас в Вятке на Великорецкое идём, потом ещё два дня так же пешком возвращаемся обратно. Так вот, как-то мне надо было срочно ехать в Москву. Я дошёл до Великорецкого, умылся, причастился, сел в автобус и — домой. Там на поезд и — в Москву. И вот еду я, стою в тамбуре, а у самого слёзы текут, я же представляю: вот наши в Медянный бор зашли, вот идут по нему, вот село Монастырское... Такая тоска нашла. И вот тут я тоже подумал: а как мы там, в Уранополисе, будем сидеть на балкончике и думать, что могли бы ещё день в Пантелеймоне молиться.

— Верно, — согласился я. — Мы там изведёмся, на балкончике-то. К тому же, я Коле обещал икону из Пантелеймона привезти, так что мы туда должны обязательно вернуться. Так круг и замкнётся. — Помолчав, добавил: — И причаститься можно будет. Чего ты на меня так смотришь? Мы ж ничего такого не ели. Сегодня понедельник, и в Ватопеде стол был строгий.

— Не слишком ли это большой наглостью будет? Всё-таки состояние не то. Я ведь уже и представлять начал, как купаюсь в море.

— Посмотрим. Как Бог даст. Кстати, ты помнишь, что в Пантелеймоне понедельно служат в разных храмах. Теперь должны служить в Верхнем.

Автобус перевалил хребет, и погода сразу задышала по-другому, ещё неясно было, в чём она изменилась, вроде, солнышко всё так же светило, но почувствовалась суровость. Правильно, мы же теперь в русский монастырь едем.

— Ты всё же подойди к нему в Дафни, — заговорил Алексей Иванович. — Это всё равно уже ничего не значит, мы уже точно едем в Пантелеймон, но, на всякий случай, пусть благословит.

Я кивнул. Чего забивать голову: благословит — пойдём с ним в Пантелеймон, благословит — поплывём в Уранополис. И сразу спокойно на душе стало, все тревоги и обиды исчезли, яко дым от огня, словно и не было. И чего я переживал?

Эх, послушания — вот чего нам в миру не хватает. Всё своим умом живём. И всё считаем себя умнее других. И выходит — никто нам не указ. Духовник нужен. Не человек, который бы грехи отпускал, а направлял жизненный путь. И я решил по возвращении домой обязательно встретиться с батюшкой, который был моим духовником в первые годы моего воцерковления.

Я ведь по гордыне отошёл от него. Мне казалось, что я лучше знаю то, что мне надо. «Я лучше», «я знаю»... Когда же я начну говорить: «я хуже», «я не знаю»... И ведь не только говорить надо — надо так чувствовать.

Господи, научи меня быть послушным! Ведь какая же буря восстала во мне, когда отец Мартиниан перечеркнул все наши лихие планы. Я же восстал. Против кого я восстал? Прости, Господи. Да будет воля Твоя.

С этим мы въехали в Дафни.

#### 4

Как только выгрузились из автобуса, я подошёл к отцу Мартиниану.

— Ну что, батюшка, нам с вами?

— Конечно. Сейчас паром подойдёт и поедем.

— Может, пока кофе с нами попьёте?

— Не-ет, а вы идите, попейте, попейте, — и он снова сел на какой-то как специально поставленный для него камушек, и центр мира с кареевской площади переместился на причал в Дафни.

Подходя к Алексею Ивановичу, я развёл руками.

— Ясно, — вздохнул он.

— От кофе батюшка отказался, но нам разрешил.

Мы взяли по большой постной булке и большой чашке кофе. Кофе был неплох. Да и всё, в общем-то, неплохо.

— Ты радуйся, — сказал я. — Господь ведёт нас, не оставляет.

— Да радуюсь я...

Кстати, погода, действительно, на этой стороне полуострова была иная: дул сильный ветер, и это особенно чувствовалось у моря.

— Штормит, — сказал Алексей Иванович.

— Вот видишь, и погода против, чтобы мы уезжали. Может, нынче и паромы не ходят.

— А ты знаешь, что мне отец Николай сказал?

— Он нам много чего сказал.

— В конце нашего разговора у меня вырвалось: вот завтра полечу на самолёте домой... А он мне: ты поаккуратнее, не все самолёты-то долетают...

Я с испугом посмотрел на товарища.

— Правда. Что я, врать, что ли, буду? Я сразу тебе не сказал, а теперь-то что...

— Как — что? Мы же всё равно на этом самолёте полетим!

— Так теперь сначала в Пантелеймоне помолимся.

Подошёл ещё один автобус.

— Сейчас хорошо бы для полного закругления Саньков встретить, — помечтал Алексей Иванович.

— Они уж уехали.

— Кто знает, они собирались диамонитирионы продлевать.

— А вот и они! — констатировал я.

— Кто? — опешил Алексей Иванович.

Но это, конечно, были не Саньки, иначе мой рассказ стал бы отдавать литературным душком, впрочем, и встреча с отцом Борисом и Серёгой изумила изрядно. Вот уж кто воистину живёт Промыслом, не задумываясь и не смущаясь текущими обстоятельствами.

Их тепло приняли в Хиландаре, провели к святыням, но сразу предупредили: из-за случившегося недавно сильного пожара, когда выгорел весь братский корпус, ночевать негде, сами монахи спасаются кое-как от ночных холодов Божией милостью. Наши милости ждать не стали и на попутной машине доехали до Карей, а там увидели отходящий автобус и запрыгнули в него. Автобус привёз их в Дафни. Я искренне позавидовал им: тут выгадываешь, высчитываешь, строишь планы, а они, ни о чём не беспокоясь, успели побывать в Хиландаре и оказаться на том же пути, что и мы. И ещё чувство зависти вызывало их беспечное состояние — что будет, то пусть и будет.

— Отец Мартиниан здесь, — сообщили мы.

— Где? — так радуются дети, когда им говорят, что в садик пришёл Дед Мороз.

Мы указали на центр. Там снова были радость и объятия.

— Сейчас сядем на паром, тут всё рядом, — обнадёживал отец Мартиниан. — Скоро должен быть. Иди узнай, вышел он? — кивнул он мне.

Ничтоже сумняшеся, я двинулся к кассе, подле которой толкалось несколько человек. Мне самому было любопытно, каким образом мне удастся исполнить послушание. Деловито посмотрев в расписание и ничего не поняв в нём, глянул на часы, потом — снова на расписание и, ни к кому конкретно не обращаясь, произнёс:

— А паром-то вышел?

— Вышел, — отозвался коренастый невысокий паренёк с боксёрской стрижкой.

Я благодарно кивнул. Вернулся и доложил:

— Вышел.

— Ну, походите пока тут, посмотрите, — сказал отец Мартиниан и отвернулся от нас, угнездившись на прежнее место.

Мы зашли в пару магазинчиков, но без денег ходить по ним было неудобно. Одно дело, когда ты ничего не собираешься покупать, но у тебе есть деньги, другое дело, когда их нет вовсе. И продавцы, кстати, это тонко чувствуют. Хватило ещё на кофе. И в это время из-за мыса, отделяющего Дафни от Пантелеймона, показался паром. Красивое зрелище. Паром приближался к нам, утюжа волну, неумолимо, как последний день отпуска. Машина причалила, раззявила пасть, и оттуда, как из китова чрева <sup>[159]</sup> посыпались человечки, поспешая к двум стоящим автобусам.

— Вот и мы так же неделю назад прибыли сюда...

— Неужели неделя прошла?

— Да что неделя — жизнь... — это Алексей Иванович бровки домиком сложил и запел в своём репертуаре.

Мы пошли к отцу Мартиниану. Тот отправил меня (я чуть было не похвастался перед товарищами таким доверием, что, мол, меня "Назначили любимым послушником) за билетами. Совсем ни в чём не сомневаясь, я протянул в окошечко деньги и произнёс:

— Пантелеймон. Файв тикет <sup>[160]</sup>.

— Ноу Пантелеймон.

Я с той же уверенностью повторил:

— Пантелеймон. Файв тикет.

Так же спокойно мне ответили:

— Ноу Пантелеймон.

Я продолжал держать деньги в руках, и никто их не брал. Мне показалось, что меня не понимают.

— Мне пять билетов до Пантелеймона.

— Нет, нет Пантелеймон.

Сзади напирали, торопили и подталкивали.

Я отошёл, оскорблённый и униженный, больше всего не тем, что мне не дали билеты, а тем, что я не выполнил задание. Ничего не оставалось, как идти жаловаться отцу Мартиниану. Когда я ему пересказывал, что мне не дали билеты, и впрямь был похож на обиженного мальчика, которому не купили мороженого.

Отец Мартиниан восстал. «Будет-таки Куликовская битва», — затрепетал я и из-за спины отца Мартиниана продолжал показывать на обидчиков из окошечка кассы.

Отец Мартиниан пригнулся к окошечку, через минуту разогнулся и, оглядев стоящих подле кассы, безошибочно махнул парню с боксёрской стрижкой.

— Иди сюда.

То ли отец Мартиниан за сорок лет пребывания на Афоне не сподобился изучению греческого языка, то ли он считал, что это все окружающие должны учить русский, а русскому монаху говорить на чужом языке неприлично, но парень, как я понял, выступил в роли толмача. Через некоторое время отец Мартиниан отпустил его и отошёл от кассы, бормоча что-то себе под нос. Я потрусил рядом.

— Волна, говорят, большая. Паром не будет на обратном пути заходить в Пантелеймон. Ну, это и хорошо — пешком пройдемся. Мы сейчас на автобусе поднимемся до Ксиропотама <sup>[161]</sup>, а там полтора часа — и мы в Пантелеймоне. А вы, — тут он остановился и внимательно посмотрел на меня (я замер, как на рентгеновском аппарате), а затем произнёс: — езжайте в Уранополис.

— Благословите, — прошептал я.

Батюшка коснулся моей головы тяжёлой дланью и чуть подтолкнул.

— Иди, покупай билеты.

До Уранополиса мне дали билеты без всяких вопросов.

## 5

Алексей Иванович, спрятавшись от ветра и отца Бориса, курил и сцену с билетами пропустил, поэтому, когда он увидел меня, зашедшего за тот же магазинчик и переломившегося в истерическом смехе, то растерялся.

— Ты чего? Ну, хватит ржать, чего ещё случилось? Куда мы теперь? Неужели в Уранополис? Благословил? (Я во время вопросов говорить не мог, а только тряс головой и захлёбывался беззвучным смехом.) А эти? С ним? Ну, надо же...

— Ох! — выдохнул я и вытер слёзы. — Пойдём прощаться.



Отец Мартиниан и сибиряки уже стояли подле автобуса. Мы обнялись. Я дал Серёге деньги с наказом купить в Пантелеймоне икону для моего товарища, мы обещали встретить их в Уранополисе и организовать ужин. Всё складывалось изумительно. Мы попрощались до завтра, помахали рукой, и автобус уехал.

Мы, всё ещё обалдевшие от случившейся перемены, пошли к парому. По ходу я рассказал Алексею Ивановичу, как решалась наша судьба. Тот прокомментировал:

— Это — Господь, как услышал, что ты ещё раз причащаться собрался, так решил: хватит.

— А мне кажется, Господь проверил: научились ли мы чему-нибудь на Афоне или нет?

— И чему мы научились?

— Понимать, что нечего заботиться о своём попечении. Мы выработались на Афоне, наших духовных сил хватило на неделю. Я даже не представляю, как бы я сегодня молился. Не потому, что я не могу или не хочу, но это всё равно было бы не то, что в первый да и во все остальные дни. Господь знает, что я — слабый человек и силы мои кончились. Но сможем ли мы ради Него отказаться от человеческих слабостей? И ведь тяжело было. И если бы не отец Мартиниан, мы бы не отказались. А когда мы приняли решение и перестали переживать о море и ужине у Яны, Он отпустил нас. Он же видит: какие из нас нынче молитвенники. Махнул рукой: ладно, отдохните пока.

— Вот, а ты ещё причащаться хотел.

— Это я так... Недостоин, недостоин. Поедем вино пить. И заметь, как легко согласились и обрадовались.

— Стыдно, конечно, — согласился Алексей Иванович, — но всё равно как-то легче на душе. Всё-таки не сами по себе сбегает, а по благословению.

— Больно резко оборвалось. Я уже, в общем-то, настроился, а вот-вот уедем...

— Пора прощаться с Афоном. Давай, говори торжественную речь!

Алексей Иванович не шутил, я почувствовал это и постарался проникнуться моментом.

— Я хочу сказать... А что я, собственно, хочу сказать?.. Нет, что я могу сказать... Господи, я даже не знаю, что сказать!

Сию софистскую речь на берегу Эгейского моря прервал мягкий голосок:

— Ребят, можно вас попросить?

Перед нами стоял молодой человек с боксёрской причёской и характерной золотой цепью.

— Ну, — не то разрешил, не то отказал Алексей Иванович.

Паренёк на секунду задумался над прозвучавшим ответом, потом, видимо, решил не забивать голову и дружески улыбнулся:

— Помогите, пожалуйста.

Что ж, за «пожалуйста», мы — «ради Бога». Мы помогли перенести из машины штук двадцать

больших тяжёленьких картонных коробок. Так мы отвлеклись от пафосного прощания и переместились в зал таможни — ничем не приметное каменное сооружение, где деревянная то ли перегородка, то ли заборчик отделяла нас от перехода в мир.

Алексей Иванович аккуратно приставил к стене двадцатую коробку и, вытерев выступивший пот, спросил:

— Иконы?

— Да, — ответил запыхавшийся паренёк. — Здесь замечательные мастера. В России очень ценятся.

— Понятно, — протянул Алексей Иванович.

— Да нет, всё законно, — немного обиделся паренёк. — Мы собираем их здесь у одного подвижника, а потом перевозим в Россию.

— У отца Афанасия?

— У него, — несколько удивился паренёк нашей осведомлённости и отвернулся, решив, наверное, что и так наговорил нам лишнего.

Мы никак не хотели обидеть духовное чадо отца Афанасия и коробки через таможню носили с особой старательностью. А нас и в этот раз не проверяли, может, конечно, и потому, таская коробки с иконами, мы несколько раз переместились из одного мира в иной и таможенник нас посчитал за разнорабочих.

Наконец иконы были составлены на паром и мы, оставив чадо отца Афанасия бдеть подле перемещаемых ценностей, поднялись наверх.

Машина заработала, по корпусу пробежала железная дрожь, и паром отвалил от причала.

Ну, хоть бы прощальный гудок!

Вот мы уже и не на афонской земле.

Мы вглядывались в отдаляющийся берег, стараясь впечатать его в память, в душу, в существо во всей его красе, величии, во всех изломах, расселинах и высотах.

И у нас были предательски счастливые лица.

— Вон Ксиропотам, — сказал Алексей Иванович.

А я продолжил:

— А по той тропке, вдоль горы, наверное, они и идут.

Мы посмотрели друг на друга.

— Ты чего лыбишься? — спросил Алексей Иванович. — Радуетесь, поди, что утёк? Уже тарелку борща у Яны представляешь, так?

— Ты сам сказал... Хотя, знаешь, не буду скрывать: я — счастлив. Господь показал, что так жить можно. Даже не так: я увидел, как надо жить. Это не значит, что я вернусь и так заживу.

Но я всегда буду помнить, как надо жить. У меня будет то, к чему я буду тянуться. И потом — я понял, насколько я слабый человек. Сам, без Бога, я ничего не могу. И вот оттого, что я это понял, — счастлив!

— Ну что ж, у тебя всё же получилась прощальная речь. А вот и Пантелеймон.

Мы перекрестились на золотые купола русского монастыря, и само собою запелось: Богородице Дево, радуйся. Благодатная Марие, Господь с Тобою...

## Эпилог

Дальше писать неинтересно. Всё по-земному скучно и обыденно. Я перестал видеть так, как виделось на Афоне. Можно, конечно, накидать несколько литературных рассказиков, но этим и так есть кому заняться.

Мы, конечно, помогли чаду отца Афанасия погрузить иконы на поджидавшую его у причала машину. Он даже предложил нас куда-то подвезти, но нас ждала Яна.

У Яны мы по-свински объелись. Она с радости, что всё у нас хорошо прошло, вынесла полную супницу человек на шесть крепкого мясного супа. По две тарелки мы умяли быстро, потом уже давились, но всё равно ели. Вернулись, что называется, поросята.

Так ведь потом попёрлись ещё к знакомой Яны за хорошим вином.

На следующий день ни на завтрак, ни на обед мы не ходили. Обошли впавший в спячку городок. Зашли на службу в пустоватую церковь, очень симпатичную внешне и непривычную рядами стульев внутри. На клиросе очень хорошо пел светлый юноша, совсем не похожий на грека. После службы он вышел из храма, сел на прислонённый к ограде мотоцикл, надел шлем, махнул кому-то рукой, дал по газам и уехал. Воздух городка треснул от его мотоцикла и ещё долго приходил в себя, как случайно разбуженный среди ночи человек.

Ходили по магазинчикам. Сначала просто так, потом задались целью купить кофейные чашки с характерным греческим изгибом, которыми пользовались в гостинице. Точно таких не нашли, но похожий сервиз купили на остатные деньги и разделили его пополам.

Таскали в пакете приобретённую вчера за пять евро полторалитровую бутылку очень приятного вина и время от времени присаживались на попадавшуюся лавочку и отхлёбывали из неё. На небольшой набережной, глядя в серое небо и такое же серое море, которые сливались и закрывали собой Афон, Алексей Иванович и срифмовал «полтора кило» и «паракало».

Он-таки полез в море и наступил там то ли на ежа, то ли ещё на какую-то гадость, отчего не мог наступать на пятку и долго, сидя в гостинице, чертыхался, выковыривая иголки и приговаривал: «Вот, говорил мне батюшка: не купайся в море, не купайся...». Я тоже, поддавшись искушению, полез в море, но меня тут же сшибло волной, другой накрыло полностью, и я на четвереньках по скользким голышам кое-как выбрался на твердь.

Дождались сильно задержавшийся из-за непогоды паром с отцом Борисом и Серёгой. Серёга передал мне икону и успел рассказать, что по поводу появления отца Мартиниана в Пантелеймоне тамошние монахи устроили вечерю с вином и беседой на виноградниках. И они были причислены к приглашённым. Братья наши торопились на автобус до Салоник, который должен был вот-вот отправиться. Мы, кажется, уже в третий раз попрощались и пошли к Яне

ужинать, испытывая к сибирякам небольшую зависть оттого, что они провели вчерашний день с монахами на виноградниках за беседой, и оттого, что они уже уехали из этого уснувшего городишка, а нам ещё предстояло коротать ночь с включённым на полную мощность обогревателем.

Ужин у Яны скрасила подсевшая к нам тётушка, которую, будь мы в России, приняли бы за бомжиху, жаждущую опохмелки: вся она была сморщенная, одета в поношенный спортивный костюм, а сверху накинута курточка, какие обычно оставляют на даче. Надо признать, что мы и приняли её за побирушку и угостили вином. Она под села к нам и разговорилась. Афон научил нас: случайного нет. Значит в пустом кафе к нам должна была подсесть женщина и начать рассказывать. И мы внимательно слушали.

Сама она из Москвы. Тяжело заболела. Родня отказалась от неё, более того, открыто ждали, когда она умрёт, чтобы забрать квартиру. Она продала квартиру в Москве, половину денег отдала детям, а себе купила домик в Подмосковье. Но и там покойно жить родственники ей не давали. Она рассказала всё священнику, и тот неожиданно сказал: «А ты продай здесь всё и езжай куда-нибудь поближе к Афону»<sup>[162]</sup>. Сначала совет казался безумием. Но и жить, зная, что близкие люди только и ждут твоей смерти, было невыносимо. Она продала дом и приехала в Уранополис. Здесь купила небольшой домишко, остатки денег положила в банк да ещё каким-то образом получает пенсию. Так она живёт пять лет и счастлива. Летом выходит на берег моря, ставит зонтик от солнца и любит Афоном, говорит, что в ясные дни его хорошо видно. Нам она сказала: «Вы счастливее меня, нам, женщинам, туда нельзя».

Господи, мы сами не знаем, не ценим Твоих даров. Ведь теперь у нас есть то, чего нет у многих — Афон, каким Ты открыл его нам.

На следующий день мы выехали в Салоники. Хозяйка гостиницы подарила нам так понравившиеся чашки, но всё равно настроение было нерадостное. Появилось раздражение.

В аэропорту мы снова встретились с отцом Борисом и Серёгой. Те рассказали, как с утра совершили экскурсию по Салоникам, особенно их впечатлил храм Дмитрия Солунского с подземными катакомбами<sup>[163]</sup>.

Рейс задерживался. Мы бесцельно шатались по вокзалу. Сошлись с ещё несколькими такими же поклонниками, которые легко узнавались среди цветастой толпы — у всех было отстранённо-грустное выражение. Один молодой человек, оказывается, поднимался на вершину Горы и провёл там ночь в обществе грека и поляка.

Наконец открыли приёмник, но как только запустили половину, а мы, ведомые неугомным отцом Борисом, оказались среди первых, снова объявили, что рейс откладывается, и обратно попавших в каменный мешок не выпускали. Недалеко от нас сидели бойкие тётки, одна из них испросилась у стражников на волю и принесла бутылку водки. Народ оживился. К стражнику потянулись делегации. Отец Борис подмигнул: нам, мол, ходить не надо, он купил бутылку раки, точно такую же нам подносили на Афоне.

Водка оказалась настолько гадкой, что мне натурально стало плохо, показалось, что повторяется приступ, после которого я попал в больницу. «Не хватало свалиться, народ сбежится, как противно всё...». Был бы на Афоне — молиться начал, а тут отчего-то не мог.

«Главное — не отчаиваться, главное — не отчаиваться», — повторял я. А братия выпила по второй, и Алексей Иванович стал рассказывать о пророчестве отца Николая, что-де не все

самолёты долетают.

Я отошёл к большому окну, за которым садились и взлетали самолёты, и уткнулся лбом в холодное стекло.

Позвонил домой. Ждут. Любят. Этого не говорили, я чувствовал. Чего я, собственно, раскис? Мне есть для кого жить.

Но боли в животе не проходили. Более того, как только после звонка домой стала отходить душевная тягота, они усилились. Я хотел домой. Туда, где любят и ждут.

Мне казалось: всем вокруг хорошо и только я нахожусь на тонком пределе.

Я сел в дальнем углу зала, сложил руки и нечаянно почувствовал на запястье чётки. Я снял и стал молиться. Я понимал, что молитвенник из меня никакой, что слова произношу механически, только чтобы отгородиться от окружающего, но мне стало легче. По крайней мере, боли притихли. А скоро и самолёт наш прилетел.

Первый раз я видел, чтобы в самолёт грузились так быстро, как в автобус на конечной остановке. Никто ничего не проверял, в салоне не успели толком рассестись, как уже взлетели. Ну и слава Богу.

В «Домодедово» в очередной раз попрощались с отцом Борисом и Серёгой и чуть было не поругались с Алексеем Ивановичем. Причём ни говоря друг другу ни слова.

Сгладил всё верный товарищ, который в метельную ночь вышел встречать нас на улицу. Ему мы, кстати, и везли икону из Пантелеймона.

На следующий день мы тепло и даже трогательно расставались с Алексеем Ивановичем на Комсомольской площади. Просили прощения. Хотя как можно просить прощения у самого себя. А мы чувствовали себя единым целым. И опять ощущение, доступное, как мне кажется, только в христианском миропонимании: мы были одним целым — мы глядели на мир и понимали его одинаково, и в то же время каждый оставался самостоятельной личностью со своими особенностями, привычками, характерами.

Он пошёл на Ярославский, я — на Казанский.

Ночью в поезде я не мог уснуть. Монахи на Афоне вставали на молитву, а я думал: зачем я ездил на Афон? Зачем Господь привёл меня туда? И Афон стал частью меня — зачем? И как я смогу распорядиться этим даром?

## **Послесловие редактора**

Рукопись принесла немолодая сухонькая женщина.

Таких можно встретить в храмах, они следят за подсвечниками, протирают иконы, раздают просфоры. Я даже подумал: почему ангелов изображают юношами с греческими кудряшками — вот же они.

Было начало лета. Хотелось на дачу. Или вообще куда-нибудь. И тут ангел с объёмной рукописью.

— А почему вы решили принести её нам?

— А куда ещё? — удивилась женщина.

Ну, да... Я взял папку, раскрыл её и прочитал: «Паракало».

— Странное название. Вы что, хотите удивить, показать свою образованность?

Женщина молчала.

— Так о чём... м-м... сие... повествование?

— Вы прочтёте и всё узнаете...

В общем, грамотно отвечает: хорошую литературу пересказать нельзя.

— Это ведь, — я похлопал по увесистой папке, — долго читать придётся. С месяц, не меньше...

Женщина кивнула и, как показалось, вздохнула с облегчением. И так же, как и появилась, тихо исчезла.

По мере истечения установленного срока чувство должника всё более тяготило меня, но объём папки страшил ещё больше, и я всё тянул, наконец, чуть не в последний день открыл папку.

И рукопись увлекла. Теперь уже я с нетерпением ждал, когда придёт сухонькая женщина. У меня накопилось много вопросов, и первый: кто автор книги?

Но женщина в оговоренные сроки не появилась, не появилась она и через два месяца, и через три, а в сентябре я понял, что она не придёт вовсе.

Одно время я взялся сам вычислить автора, но когда уже почувствовал близость разгадки, что-то остановило: ведь были причины у автора не подписываться и не появляться в редакции? Так зачем я пытаюсь узнать то, что знать необязательно? Действительно, так ли уж важно, кто написал книгу? Если автору будет угодно объявить себя после публикации — пожалуйста.

Но вот с публикацией возникли сомнения. Мне хотелось напечатать рукопись, но казалось, что такой вольный и даже ироничный тон повествования неуместен для рассказа о Церкви, тем более — о её святынях.

Но и просто так оставаться под спудом эта рукопись не могла. И тогда пришло решение совершить путешествие точно по тому маршруту, который описывается в книге.

После того как вернулся, понял, что опубликую рукопись хотя бы потому, что благодаря ей совершил это паломничество.

Может быть, эта книга откроет путь на Святую Гору кому-то так же, как и мне.

Особо благодарю настоятеля скита Ксилургу иеромонаха Николая (Генералова), благословившего публикацию, монаха Агафодора, протоиерея Алексия Агеева и протоиерея Сергея Гусельникова, много потрудившихся над исправлением неточных мест.

Также благодарю писателей Алексея Смоленцева, Дмитрия Агалакова, Сергея Жигалова, Александра Игнашова, оказавших неоценимую помощь в работе над рукописью.

Со своей стороны я как редактор постарался минимально вторгаться в текст рукописи, а все комментарии, примечания, уточнения вынес в конец книги, дабы они не отвлекали читателя от

повествования.

*Редактор*

## **Комментарии**

(1) Παρακαλω(греч.) — пожалуйста.

М. Скабалланович раскрывает ещё одно значение слова Παρακαλω: «Употребление на вечерне и утрени молитвы с таким содержанием, как великая ектения, основывается на известном увещании, выраженном притом с особою силою (Παρακαλω — «молю», заклинаю). (Скабалланович М. Толковый Типикон. — М.: Сретенский монастырь. 2004. - 530 с.)..

(2) Молитва с раскольниками и еретиками ведёт к отлучению от Церкви: 10, 65 Апостольские правила.

(3) Поклонение духу учителя, зла. Языческо-оккультное учение о раскрытии «внутренних возможностей» приводит к общению с демонами, одержимости...

(4) Православная Церковь предупреждает, что оккультизм с учением Христа Спасителя ничего общего не имеет и что сочинения вышеперечисленных и прочих оккультных авторов — это волчья яма, уготованная дьяволом для неопытных и в своей гордыне самонадеянных. Христианин через оккультизм, вступая в углублённое общение с демонами, отпадает от Бога и губит свою душу.

(5) Независимо от вида карточной игры или гадания, богоборческая символика карт призвана кощунственно издеваться над страданиями Христа Спасителя.

(6) У американских индейцев воскурение табака имело ритуальное значение — поклонение духам-демонам. Курящий табак христианин — предатель Бога и демонопоклонник

(7) Они привели к мученической кончине Иоанна Крестителя, после которой танцы для христиан являются глумлением над памятью Пророка.

(8) Спираль и таблетки убивают зачатый плод на самой ранней стадии. Это тот же аборт, только без операции.

(9) Профессиональный спорт повреждает здоровье и губит душу развитием в ней гордости, тщеславия, чувства превосходства, презрения, жажды обогащения.

## **Примечания**

[1] Афон (Святая Гора) — крупнейшее в мире средоточие православного монашества, расположено в Греции на полуострове Афон-Орос. Находится под церковной юрисдикцией Константинопольского Патриархата. На Святой Горе, пребывающей под покровительством Божией Матери и называющейся уделом Пресвятой Богородицы, уже более тысячи лет непрерывно возносятся к Богу молитвы иноков (в настоящее время число монашествующих превышает 1700).

В древности порядок монашеской жизни на Афоне определяли как неписанные обычаи, так и письменные монастырские и общеафонские уставы (типиконы), а также указы и постановления византийских императоров, турецких султанов и Константинопольских патриархов. В 1860, 1862 и 1877 гг. османские власти пытались установить законодательство для Афона, но эти акты (канонизмы) не были приняты монашеским сообществом. В 1911 г. при содействии Константинопольской Патриархии афонские старцы определили «Главные канонизмы Святой Горы», которые не были утверждены турецким правительством по причине начавшейся войны.

В 1912 г. Афон стал частью Греческого государства и в 1924 г. получил в этом качестве окончательное международное признание. 10 мая 1924 г. пятичленная комиссия чрезвычайного Двойного собрания Святой Горы выработала «Уставную хартию Святой Горы Афонской», которая была утверждена правительством и парламентом Греции (законоположение от 10 сентября 1926 г.). Устав из 188 статей был объявлен «вытекающим из императорских хрисовулов и типиконов. Патриарших сигиллиев, султанских фирманов, действующих Главных канонизмов и древнейших монашеских уставов и правил» (ст. 188). В настоящее время этот документ является основным законодательным актом, действующим на Афоне.

Согласно Уставу, Святая Гора состоит из 2 °Священных Царских Патриарших ставропигиальных монастырей, располагающихся по издревле установившемуся обычаю в следующем иерархическом порядке:

- 1) Великая лавра во имя прп. Афанасия Афонского;
- 2) Ватопед в честь Благовещения Пресвятой Богородицы;
- 3) Иверский монастырь (Ивирский, Ивирон) в честь Успения Богородицы;
- 4) Хиландар (Хиландарь, Хилендар) в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы;
- 5) монастырь прп. Дионисия (Дионисиат) в честь Рождества св. Иоанна Предтечи;
- 6) Кутлумуш в честь Преображения Господня;
- 7) Пантократор (Пандократор) в честь Преображения Господня;
- 8) Ксиропотам во имя сорока мучеников Севастийских;
- 9) Зограф во имя вмч. Георгия Победоносца;
- 10) Дохиар во имя св. Архангелов;
- 11) Каракал во имя апостолов Петра и Павла;
- 12) Филофея монастырь (Филофей) в честь Благовещения Пресвятой Богородицы;
- 13) Симонопетра (Симопетра) в честь Рождества Христова;
- 14) монастырь св. Павла в честь Сретения Господня;
- 15) Ставреникита во имя св. Николая Чудотворца;
- 16) монастырь прп. Ксенофонта (Ксенофонт) во имя вмч. Георгия Победоносца;



- 17) монастырь прп. Григория (Григориат) во имя св. Николая Чудотворца;
- 18) Эсфигмен (Есфигменский) в честь Вознесения Христова;
- 19) Русский вмч. Пантелеймона монастырь (Русик, Свято-Пантелеимонов);
- 20) Кастамонит (Констамонит) во имя св. первомч. Стефана.

Только эти 20 монастырей имеют права собственности на Афоне.

Все прочие — зависимые монашеские учреждения — скиты, келлии, каливы, исихастирии, кафизмы с их территориями и пристройками являются неотчуждаемой собственностью какой-либо из перечисленных обителей. Изменять количество монастырей и их отношение к зависимым учреждениям не разрешается. Превращение скитов в монастыри, или келлий в скиты, или калив в келлии категорически запрещается (ст. 1-3, 126-141). Ни одно из священных жилищ на Афоне не может отклониться от главного своего предназначения и преобразоваться в мирское (ст. 4). Все монастыри Святой Горы находятся под духовной юрисдикцией Константинопольского Патриархата, и в них «не разрешается поминовение никого другого, кроме имени Вселенского [Константинопольского] Патриарха» (ст. 5). Все живущие на Святой Горе монахи, какой бы они ни были национальности, «считаются приобретшими греческое гражданство» (ст. 6).

Монастыри самоуправляются по своим внутренним уставам (канонизмам), принятым ими и утвержденным Священным Кино-том (ст. 9). Большинство ныне действующих монастырских канонизмов были приняты в 1920-1980 гг. Внутренний устав определяет устройство монастырского жительства, порядок избрания монастырениачальников, их права и обязанности, общие предписания относительно монашеской жизни, в т. ч. богослужебные указания, хранение книг, попечение о св. мощах, святынях и библиотеках. По своему устройству монастыри делятся на общежительные (киновиальные) и особножительные (идиоритмийные). Общежительный монастырь не разрешается превращать в особножительный, но особножительный преобразуется в общежительный по требованию большинства старших братьев (чей постриг превышает 6 лет); решение о преобразовании монастыря в общежительный принимается Священным Кинотом и доводится до сведения Константинопольского Патриарха на предмет издания соответствующего сигиллия (Патриаршего указа) (ст. 85). В 1960 г. особножительными были 9 афонских монастырей: с 1992 г. все монастыри являются общежительными.

Скиты зависят от монастырей, на земле которых они расположены, что определяется заключенными между ними письменными и традиционными канонизмами и Патриаршим сигиллием (ст. 143). В Уставе перечислены 12 действующих на Афоне скитов. Скиты представляют собой небольшие посёлки, состоящие из хижин-калив, каждая из которых имеет 1-2 комнаты, храм и хозяйственные пристройки. В центре находится соборный храм (кириафон). Каждый скит управляется дикеем (скитоначальником), советниками и собором старцев. Скитские монахи занимаются сельским хозяйством, различными ремеслами и рукоделиями. С XVIII в. многие скиты имели национальную принадлежность, отличную оттого монастыря, на землях которого они находились: скит Богородицы был болгарский (до сер. 80-х гг. XX в.). Андреевский — русским, Ильинский — украинским, Предтеченский — румынским (остаётся таковым до настоящего времени). Подобное явление было характерно и для многих келлий.

Келлии представляют собой отдельные монашеские жилища, обычно это двух-или трехэтажное здание с пристроенным к нему храмом. Главенствующий монастырь уступает келлии за

определенную плату посредством оформления долгового соглашения в преемственное владение малым общинам, состоящим из старца и 2–3 его учеников, составляющих синодию (ст. 161). Келлиоты живут своим трудом, возделывая виноградники, масличные сады и огороды на приписанных к келлиям земельных участках, находящихся в их исключительном пользовании.

Каливы являются жилыми постройками небольших размеров и, в отличие от келлий, не имеют земельных участков. Каливиты занимаются ручным трудом или выполняют за определённую плату работы для других обитателей.

Кафизмы — небольшие жилища, расположенные близ монастырей и находящиеся на их содержании. Обычно здесь уединяются подвижники, достигшие высот созерцательной жизни, за которыми при этом сохраняются и келлии внутри монастыря.

Исихастии (места безмолвия) и аскитии (места подвижничества) находятся в пустынных и труднодоступных местностях Катунакии, Керасии (Керасья, Кераша), Каруля, где в уединении или вместе с одним братом-сподвижником подвизаются отшельники. Сюда обычно приходят иноки, прошедшие испытание киновиального жития и стремящиеся подражать духовным подвигам древних молчальников-исихастов.

Статус Святой Горы закреплён в ст. 105 действующей Конституции Греции (принятой в 1975 г., дополнена в 1986 г.; повторяет ст. 109–112 Конституции 1927 г.): «1. Афонский полуостров от Мегали-Вигла и далее, образующий округ Святой Горы, является, в соответствии со своим древним привилегированным положением, самоуправляющейся частью Греческого государства, суверенитет которого над ним остаётся неприкосновенным. В духовном отношении Святая Гора пребывает под непосредственной юрисдикцией Вселенской Патриархии. Все монашествующие на ней приобретают греческое гражданство без каких-либо формальностей, как только они принимаются в число послушников или монахов. 2. Святая Гора в соответствии со своим установленным порядком управляется двадцатью её священными монастырями, между которыми поделен весь Афонский полуостров, и её земля не подлежит отчуждению. Управление осуществляется представителями священных монастырей, составляющими Священный Кино́т. Категорически запрещается какое бы то ни было изменение системы управления или количества монастырей Святой Горы, их иерархического строя и их взаимоотношений с зависящими от них учреждениями. На её территории запрещается пребывание иноверцев или раскольников. 3. Подробное определение святогорского распорядка и способа его действия содержит Устав Святой Горы, составленный и принятый двадцатью священными монастырями в сотрудничестве с представителем государства и утверждённый Вселенской Патриархией и греческим парламентом. 4. Строгое соблюдение святогорского распорядка в отношении его духовной части находится под верховным надзором Вселенской Патриархии, в отношении же административной части — под наблюдением государства, которому принадлежит исключительное право поддержания общественного порядка и безопасности. 5. Вышеизложенные полномочия государства осуществляются через губернатора, права и обязанности которого, равно как и осуществляемая монастырским начальством и Священным Кино́том судебная власть, и, наконец, таможенные и налоговые привилегии Святой Горы определяются законом».

На Афоне существует две системы администрации — гражданская и монастырская. Территория Афона составляет отдельную административно-территориальную единицу (ном) Греческой Республики. Гражданское управление осуществляет губернатор (управляющий, префект) Святой Горы, подчиняющийся Министерству иностранных дел Греции. По традиции, губернатор Афона назначается из числа профессоров богословского факультета Фессалоникского университета. В его ведении находятся полиция, отдел регистрации иностранных

граждан и таможня.

Высшим законодательным и судебным органом монастырского управления Святой Горы является Чрезвычайное двадцатичленное собрание, состоящее из настоятелей всех 20 монастырей и собирающееся дважды в год: через 15 дней после Пасхи и 20 августа (ст. 43). Исполнительная власть принадлежит Священному Киноту и Священной Эпистасии. Священный Кинот Святой Афонской Горы является постоянным органом и состоит из представителей (антипросопов) всех 20 монастырей, каждый из них избирается своим монастырём в течение 15 первых дней января сроком на 1 год (ст. 11 и 14). На заседаниях, проходящих 3 раза в неделю, должны присутствовать не менее 2/3 членов Кинота, по приглашению их может посещать губернатор Святой Горы.

Священная Эпистасия, или Надзор, собирается с начала июня по конец мая из представителей ежегодно сменяющих друг друга пяти четвериц, на которые поделены 20 монастырей: I. Великая лавра, Дохиар, Ксенофонт, Эсфигмен; II. Ватопед, Кутлумуш. Каракал, Ставроникита; III. Иверский, Пантократор, Филофея, Симонопетра; IV. Хиландар, Ксиропотам, Св. Павла. Григория; V. Дионисия, Зограф. Русский, Кастамонит. Первый по порядку («прот» — первый) член четверицы носит титул «протэпистата» (первого надзирателя), председательствует в Эпистасии и держит жезл прота (ст. 28). Все эпистаты равны между собой: каждый из них получает одну часть четырехчастной печати Священного Кинота с изображением Богородицы «Пространнейшей»; в отсутствие какого-либо эпистата его часть печати может быть передана его представителю, но не другому члену Эпистасии (ст. 29–31). В случае равного количества голосов принятие решения передаётся в Кинот. Священная Эпистасия следит за поддержанием чистоты и порядка в Карее, устанавливает цены на продукты, надзирает за поведением и изгоняет нарушителей правил силами блюстителей порядка (отряды сейменидов и сердаров), при необходимости прибегая к содействию находящихся в Карее государственных полицейских.

Постоянные монастырские суды (дикастирии) 1-й ступени состоят из игумена и собора старцев монастыря. Суд 2-й ступени представляет Кинот Святой Горы, принимающий апелляции только на суровые наказания в течение 15 дней со дня оповещения обвиняемого; мелкие наказания считаются окончательными и отмене не подлежат. Высшая судебная власть принадлежит Чрезвычайному собранию. Константинопольский Патриарх и его Священный Синод выступают в качестве верховной судебной инстанции в вопросах духовного характера (касающихся чистоты церковного вероучения и канонической дисциплины) (ст. 41–83). Уголовные дела подлежат компетенции гражданского суда в Фессалонике (ст. 7)

[2] М. Скабалланович раскрывает ещё одно значение слова  $\text{para}\kappa\alpha\lambda\omega$ : «Употребление на вечерне и утрени молитвы с таким содержанием, как великая ектения. основывается на известном увещании, выраженном притом с особою силою ( $\text{para}\kappa\alpha\lambda\omega$  — «молю, заклинаю»). См: Скабалланович М. Толковый Типикон. М.: Сретенский монастырь, 2004).

[3] Архондарик — гостиница для паломников на Афоне

[4] Афонское подворье — представительство Русского монастыря Святого Пантелеимона, расположенного на Святой Горе Афон. Возобновлённое в Москве в 1992 г., оно осуществляет духовную связь с «монашеской республикой». Адрес: Москва, ул. Гончарная, д. 6.

[5] Автор не совсем точен: отпуст — это краткое, завершающее богослужение молитвенное благословение священника, произносимое на солее, по выходе из царских врат. В данном

случае, скорее всего, имелось в виду, что благословение священником народа продолжилось по окончании службы.

[6] Порт, с откуда паромы отплывают на Афон.

[7] Разрешение на пребывание на Святой Горе. Обычный диамонитирион выдаётся на четыре дня, и в нём указываются монастыри, в которых может быть предоставлен ночлег.

[8] Архондаричный — тот, кто несёт послушание встречать паломников и размещать их в гостинице (архондарике).

[9] Великая лавра — древнейшая и самая большая из святогорских обителей, стоит первой в списке афонских монастырей. Монастырь был основан в 963 г. прп. Афанасием на месте древнего города Акрофи. Его строительство было связано с теми изменениями, которые прп. Афанасий ввёл в свой устав на Афоне, в особенности с возвышением общежительного монашества. Финансировал строительство обители император Никифор Фока, близкий друг св. Афанасия. Ещё до своего восшествия на престол Никифор Фока убедил св. Афанасия покинуть монастырь в Вифинии и построить новый на Горе Афон, обещая прийти туда к нему и принять монашество. Однако, оказавшись неожиданно для себя на императорском троне, он старался искупить свою вину за нарушенное обещание щедрыми пожертвованиями на возведение монастырских построек и содержание первых насельников, число которых достигало 80.

После смерти императора монастырь продолжал получать поддержку византийских правителей и процветал с XI по XV в. В лучшие годы в нем насчитывалось более 700 монашествующих. Многоэтажные здания расположены закрытым четырёхугольником, отчего монастырь издали похож на маленький укрепленный город. Действительно, ему часто приходилось отражать удары пиратов и других захватчиков — каталонцев, франков и турок.

Во дворе монастыря находится собор. Первоначально он был освящён в честь Благовещения Пресвятой Богородицы, но в наши дни престольный праздник его отмечается в день кончины прп. Афанасия, 5 июля. Прп. Афанасий и вместе с ним еще несколько монахов погибли, проверяя, как идёт строительство крыши этого храма: кирпичная кладка под ними обвалилась, и они, упав вниз, разбились насмерть. Фрески этого храма, написаны Феофаном Кипрским, относятся к числу самых совершенных иконописных произведений Афона и считаются лучшими из работ изографа.

Во дворе монастыря расположены крестообразное здание трапезной, несколько маленьких часовенок и другие постройки. Трапезная украшена фресками с изображением древнегреческих философов и законодателей: Филона, Пифагора, Сократа, Аристотеля, Платона и др. В этом выразилась любовь греков к отеческому философскому наследию. В часовне Сорока мучеников находятся гробница и мощи прп. Афанасия и известная икона Богородицы «Экономисса». В часовне прп. Афанасия хранятся железный крест и игуменский посох святого. Рядом стоит часовня под названием «Кукозелисса». В ней находится икона, с которой связана интересная история. Однажды в Субботу акафиста во время Великого поста один из монахов, прп. Иоанн Кукузел, заснул перед этой иконой во время пения стихир. Во сне он увидел, как Божия Матерь положила ему в руку золотую монету в награду за его усердие к пению. Проснувшись, он обнаружил эту монету в руке.

Возле храма стоит бело-красный каменный фиал — самый большой на Афоне сосуд для освящения воды. Над ним растут два тысячелетних кипариса, посаженных, согласно преданию,

самим св. Афанасием и его сподвижником монахом Евфимием. Над фиалом построен свинцовый купол, который поддерживают колонны, увенчанные турецкими капителями и украшенные древним византийским барельефом. Под сводом купола находится роспись, изображающая сцену крещения Христа. В центре огромного сосуда (около 2,5 м в диаметре) возвышается бронзовая труба с фигурами фантастических животных, из уст которых льётся вода, и царственным орлом с распростёртыми крыльями.

Монастырское казначейство, трапезная и библиотека просто великолепны. Среди сокровищ монастыря — более 20 тыс. книг и рукописей, древних ценных фресок и священных предметов, в т. ч. Библия в посеребрённом переплёте, украшенной драгоценными камнями. — подарок императора Никифора Фоки.

Сейчас в Великой лавре живет примерно 45 монахов.

Наиболее почитаемая святыня монастыря — часть Животворящего Древа Креста Господня в драгоценном кивоте, украшенном драгоценными крупными перлами, дар св. Афанасию его друга императора Никифора Фоки, как это видно из подписи. Крест хранится в золотом ковчеге и обычно употребляется для водосвятия. Этим же Крестом освящают 14 сентября закваску для хлебов на весь год.

Деревянный крест св. Афанасия в железном окладе, который носил преподобный, хранится здесь же. Кресту приписывают целительные свойства.

Святые мощи: глава св. Василия Великого; глава св. Михаила Синадского; глава св. Александра; глава и левая рука св. мч. Минодоры; глава св. Иоанна Кукузеля; глава св. вмч. Евстратия; кровь, смешанная с землею, св. вмч. Димитрия; стопа ноги св. мч. Кирика; правая рука св. апостола Андрея Первозванного; кровь св. Иоанна Предтечи; части св. Сампсона Странноприимца, св. царей Константина и Елены; части кости Григория, свт. Великой Армении; глава св. мч. Иакова Персянина; глава прп. Нила Мироточивого; глава св. вмч. Меркурия; локоть левой руки св. Иоанна Златоуста; часть главы св. Феодора Стратилата; часть главы первомч. Стефана; правая рука новомч. Феодора Византийского и др.

[10] Дафни — порт Святой Горы, конечный пункт прибытия парома с материка. В Дафни находятся порт, таможня, почта, полиция, гостиница, церковные лавки, а также склады и дома для приезжающих на Афон рабочих.

[11] Столица Афона Карея (Кариес) расположена в горной местности в центре полуострова Афон, на высоте 370 м над уровнем моря; ее площадь приблизительно 2 га.

Карея была основана в IX в. первыми афонскими монахами. Затем сюда был переведён административный центр из района Ксерского канала. Первоначально он назывался Протат (от греч. протос; — «первый»). Название «Карея» появилось позднее. Этимологически это название происходит от греч. «каридия» (ореховое дерево), поскольку в этой местности произрастает много орешника.

Сейчас Карея — место заседания Священного Кинота и административный центр Святой Горы.

[12] Монастырь Ватопед построен на месте древнего города Дион (города Зевса). Это один из самых древних, богатых и обширных монастырей на Святой Афонской Горе. По преданию, он был основан равноапостольным царем Константином в первой пол. IV в., но в том же столетии был разорен богоотступником Юлианом. В конце того же столетия он был восстановлен

греческим императором Феодосием в признательность Богу за спасение от потопления его царственного сына Аркадия. В 862 г. Ватопед был вторично разорён арабами, а в X в., по совету прп. Афанасия Афонского, возобновлен тремя адрианопольскими богатыми гражданами, братьями Афанасием, Николаем и Антонием.

В XII–XIII столетиях святые Савва и Симеон, самые чтимые сербские святые, были монахами Ватопеда, а в XV в. членом братства Ватопед был св. Максим Грек. В 1749 г. именно здесь открылась знаменитая Афонская академия, которая давала образование в трудные для Греции времена.

Соборный храм монастыря, один из самых обширных на Афоне, построен в X в. в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. В нем сохранились фрески и мозаики XIV в. В храм ведёт величественное преддверие, а из него — вход в два просторных притвора, внешний и внутренний. По обеим сторонам притворов — два придела: правый свт. Николая Чудотворца, левый — св. вмч. Димитрия Солунского; над последним приделом находится небольшой придел на хорах во имя Пресвятой Богородицы Отрада (Утешение).

Братская усыпальница монастыря сохраняет в возможной целости кости умершей братии в течении более десяти веков. По афонскому обычаю, останки каждого погребенного монаха через три года выкапывают и кости слагают в общую усыпальницу.

В библиотеке хранится одно из самых богатых и редких собраний книг и рукописей. Особенная драгоценность — экземпляр Птолемеевой географии с картами.

Колокольня монастыря относится к 1427 г. и считается самой древней на Святой Горе Афон.

Сегодня в монастыре подвизаются 60 монахов, ещё 40 проживают вне монастыря в двух скитах, 26 келлиях и одной кафизме.

Святыни монастыря: главы св. Георгия Богослова и св. Андрея Критского; нога св. апостола Варфоломея; части мощей св. вмч. Феодора Стратилата: стопа св. Параскевы Римляныни; частица мощей мч. Кирика; часть главы мч. Сергея и мч. Вакха; часть главы сщмч. Харалампия; часть правой руки сщмч. Ермолая; часть правой ноги вмч. Пантелеймона; часть руки мч. Трифона; часть руки Иоанна Милостивого: часть плеча архидиак. Стефана; часть руки мц. Марины; глава прп. Евдокима Ватопедского; часть главы свт. Модеста; честное миро вмч. Димитрия Солунского; Честный пояс Богородицы.

[13] Филофей — один из древнейших на Святой Горе монастырей, своему названию обязан св. прп. Филофею, современнику св. Афанасия Афонского, который основал обитель в X в. и являлся её ктитором.

В древности на этом месте стоял храм, построенный христианами ещё до заселения Святой Горы иноками. Источники упоминают также о существовании на этом месте языческого святилища (недалеко, на границе лаврских, филофеевских и иверских владений находился древнегреческий город Клеонэ). Монастырская летопись от 973 г. говорит: «...на месте, где теперь стоит соборный храм, существовал прежде идольский храм». Предание повествует, что в тот день, когда настигнутая бурей Матерь Божия прибыла на Афон, его жители, по пророческому известию, побежали встречать вступающую на берег Богоматерь. Посреди монастырского двора располагается соборный храм, освящённый в честь Благовещения Пресвятой Богородицы, построенный в 1746 г. и расписанный в 1752 г. Сохранились росписи этого периода. Здесь находится чудотворная икона Богородицы Гликофилуса (Сладкое Лобзание), по преданию, написанная евангелистом Лукой.

Монастырь Филофей долгое время оставался незаметным на Афоне, несмотря на щедрую помощь, получаемую от византийского императора Никифора Вотаниата (1078–1081). В XIII и XIV вв. заботу о монастыре проявили также императоры из династии Палеологов и сербский царь Стефан Душан (1346).

В XVII в. монастырь получил разрешение русских царей на организацию сбора пожертвований в России через каждые 8 лет. Щедрый жест со стороны русских правителей не смог изменить плачевное состояние монастыря. Ситуация изменилась лишь в XVIII в. благодаря помощи со стороны греческих господарей дунайских княжеств, в частности, Григория Гика и Константина Маврокордато.

В 1871 г. сооружения Филофея, кроме основного храма, трапезной и библиотеки, сгорели. В восстановлении монастыря приняли участие и русские монахи.

Кроме собора, Филофей располагает 10 небольшими храмами и часовнями, 13 кельями, одна из которых, в Карее, посвящена св. Косме Этолийскому.

В обители подвизаются 60 монахов

[14] Монастырь Хиландар основан сербским св. архиеп. Саввой и его отцом св. Симеоном в XII в. как сербский монастырь. Будучи славянской обителью, предназначенный указом греческого царя Алексея III Ангелоса в собственность Сербии, Хиландар внёс славянский дух и характер во многие обители Святой Горы. Во многих из них, греческих по основанию, богослужение начали совершать на славянском языке. С 1293 г. благодаря своему второму ктитору — сербскому королю Стефану Урошу Милутину — обитель стала процветать, этому способствовало то, что в 1348 г. в её стенах более четырех месяцев жил царь Стефан Душан, именовавшийся самодержцем греков, сербов и болгар.

Соборный храм, посвящённый Введению во Храм Пресвятой Богородицы, был основан в 1293 г. Стефаном Урошем Милутином и приблизительно в то же время расписан фресками Македонской школы. В соборе хранится чудотворная икона «Троеручница».

В Соборном храме по правую сторону клироса находится гробница, в которой почивало нетленное тело св. Симеона, перенесённое впоследствии в Сербию. Из этой гробницы выросла виноградная лоза, плодам которой приписывают целебную силу, особенно помогают они неплодным супругам.

Библиотека монастыря содержит более 1000 древних греческих и славянских манускриптов и более 200 тыс. книг. В алтаре находится Евангелие, написанное золотыми буквами на листах из белой кожи.

В монастыре хранится часть Древа Креста Господня, фрагменты тернового венца, крови, трости и пелен Христовых, часть выпиленного лика пр. Исаяи.

Кроме того, здесь пребывают мощи святых: глава св. Евтихия, Патриарха Цареградского; нога прп. Симеона Столпника; нога св. Григория Богослова; частицы мощей сщмч. Евстратия и мц. Марины; рука Никифора, Патриарха Константинопольского; нога вмц. Пантелиомона; часть главы пр. Исаяи; частица мощей Иоанна Предтечи; часть главы св. Прокопия. вмцц. Екатерины и Варвары.

В монастыре проживает 25 монахов.

[15] Монастырь Кутлумуш построен на склоне утопающей в зелени горы, недалеко от центра Афона — Карей. Он освящён в честь Преображения Господня и отмечает свой престольный праздник 6 августа. Этимология названия монастыря неизвестна. Большинство исследователей считает, что он основан в XIII в. Кутлумушем — турком, принявшим христианство.

Период благосостояния монастыря приходится на XIV в. Игумен обители Харитон, весьма заботившийся о монастыре, неоднократно посещал дунайские княжества, где ему удалось собрать значительные материальные средства. Большую помощь монастырю оказал воевода, правитель Угро-Влахии Иоанн Владислав, справедливо считающийся одним из его ктиторов. К XIV в. относится появление в Кутлумуше румынских монахов.

Помимо собора на территории монастыря находится много маленьких храмов и часовен, в т. ч., в честь Матери Божией, св. Наталии, свв. Космы и Дамиана, Всех святых, св. Спиридона, св. Иоанна Крестителя и св. Архангелов. За территорией обители есть еще три храма: св. Трифона, свт. Николая и св. Архангелов. Кутлумушу принадлежат также 18 келий, 3 домика отшельников и греческий скит св. вмч. Пантелеймона, основанный в 1785 г. иноком Хоралампием. Скит представляет собой 12 разбросанных в лесу келий. В общей сложности в разных частях Кутлумушской обители подвизается около 70 братий.

В монастыре хранятся следующие святыни: рука св. Евстрафия; часть правой ноги св. и праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы; часть левой ноги и руки мч. Кирика; перст мц. Марины; часть ноги св. Евстафия Плакиды; глава прп. Алипия Столпника; рука и часть челюсти св. Харалампия; частица Животворящего Древа: левая рука свт. Григория Богослова.

Библиотека находится рядом с ризницей и включает в себя 3500 книг и 662 рукописи, из которых 100 — на пергаменте.

[16] Речь идёт о послушнице прп. Василия. Ученик прп. Григория просил старца ответить, что случилось с Феодорой после смерти. По молитвам прп. Василия Григорий увидел Феодору во сне, и та рассказала ему, что видела после своей кончины и как проходила воздушные мытарства.

[17] Прп. Антоний Печерский принял монашеский постриг в одном из афонских монастырей (по преданию, в русском монастыре Ксилургу) и через некоторое время вернулся на Русь. Не ранее 1051 г. поселился близ Берестова под Киевом, в пещере. Вскоре иноческий подвиг Антония получил известность, и вокруг него начала складываться община монашествующих. Именно Антоний Печерский принёс на киевские горы благословение и аскетический опыт Святой Горы; он считается основателем русского монашества.

[18] Прп. Силуан Афонский — величайший русский святой XX в. Он родился в селе Шовское Тамбовской губ. в крестьянской семье. В 19 лет пережил благодатное Божие посещение, а в 1892 г. уехал на Афон и всю последующую жизнь посвятил молитве, неся при этом послушание монастырского эконома. Простая и небогатая внешними событиями жизнь его была сокровенно наполнена великим содержанием. Это был святой, явившийся в силе древних, избранник Божий в высшем смысле этого слова.

[19] Когда автор этой книги спросил у сопровождавшего грека об этих макетах церквей, которые встречаются не только вдоль трасс, но и в городах, он удивился вопросу. «Это так, память...» — ответил он. «Кто-нибудь погиб тут?» Грек ещё больше удивился и немного испугался. «Да нет, необязательно, просто память, люди хотят всё время помнить...»



[20] Фета — традиционный греческий сыр из овечьего или козьего молока.

[21] Арсана — пристань

[22] История русского Свято-Пантелеимонова монастыря связана с тремя центрами: монастырём Пресвятой Богородицы Ксилургу, монастырем Фессалоникийца и, наконец, с монастырём Св. Пантелеимона.

Согласно старому русскому преданию, особенно распространённому в XVI в., монастырь был основан святым равноапостольным Владимиром после принятия христианства на Руси (998).

После векового пребывания в монастыре Пресвятой Богородицы Ксилургу русские монахи перешли в монастырь Фессалоникийца, что на старой дороге, соединяющий Карею с нынешним монастырём. Перенос обители на новое место был связан с возрастающей численностью монашеской братии: в это время на Афон прибывают десятки монахов из России. Этот факт вынудил в 1169 г. игумена монастыря Лаврентия обратиться с просьбой о содействии в Священный Кинот. Руководящий орган Афона после долгих заседаний постановил перенести русскую обитель в монастырь Фессалоникийца, который к тому времени оказался брошенным греческими монахами. Одновременно русским инокам были выделены и кельи в столице Афона — Карей.

Окрепнув материально, русский монастырь начал расширять и укреплять свои границы. В 1422 г. в местечке Калиагра для приёма грузов, адресованных монастырю, строится небольшой причал и складское помещение. О надёжности оборонительных сооружений монастыря, построенных в этот период, свидетельствует договор, заключенный между обителем Св. Пантелеимона и греческим монастырем Рила. Согласно договору 1466 г., русскому монастырю были переданы на хранение некоторые весьма ценные предметы и церковная утварь греческой обители.

Из византийских императоров монастырь поддерживали Иоанн V (1341-1376) и Мануил II (1391-1425), а также Елена Палеолог (в 1407 г.). Не остались в стороне сербские и русские цари. В 1509 г. сербская княгиня Ангелина, постригшаяся позже в монахини, попросила великого князя Василия III стать покровителем русского монастыря. В своем обращении она отмечала: «...все остальные монастыри имеют своих ктиторов, а этот ждёт твоей милости». Обращение сербской княжны не могло не найти отклика у Василия III, в жилах которого текла и греческая кровь. Его мать Софья — супруга Ивана III, являлась представительницей последней византийской династии Палеологов. Так великий русский князь стал официальным опекуном и покровителем русского монастыря.

В конце XVI в. русский Патриарх Иов (1591) и великий князь Федор Иванович (1592) разрешают сбор пожертвований в России в пользу монастыря.

Период турецкого владычества подверг русский монастырь серьёзным испытаниям, иногда обитель оказывалась полностью заброшенной. В 1574-1584 гг. монахи были вынуждены покинуть монастырь и помощь в размере 500 руб., посланная Иваном Грозным, не нашла получателя. Великий русский князь возложил на себя заботу не только о русском, но и обо всех афонских монастырях. Это была забота об осколке византийской империи, на наследство которой он претендовал.

Но и в последующие годы ситуация не изменилась к лучшему. В письме Вселенского Патриарха Кирилла I Лукариса (1620) отмечается, что «...монастырь находится в тяжелом

положении, долги растут, и по этой причине монахов сажают в тюрьму. Церковь и стены, окружающие монастырь, разрушены. Отцы лишены даже самого необходимого». Все вышесказанное вынудило Священный Кинос в конце XVII в. взять русский монастырь под свою опеку.

Положительные изменения намечаются в 1708 г., когда валахский господарь Михаил Рогович передал русскому монастырю находящуюся в Валахии обитель Нтошаны. Однако очень скоро, в 1730 г., щедрый жест валахского господаря был сведён на нет: монастырь Нтошаны был захвачен турками, а его церковь превращена в мечеть.

Усиливающиеся противоречия между Россией и Турцией в нач.

XVIII в. имели отрицательные последствия и для русского монастыря на Афоне. Турецкие власти начали всячески препятствовать доступу русских монахов на Святую Гору, что привело к упадку русской обители. Известный русский монах-путешественник Василий Барский, посетивший монастырь Св. Пантелеймона в 1744 г., отмечает, что «... у монастыря только название русское, в обители подвизаются греческие, сербские и болгарские иноки». В. Барский сообщает также, что «монастырь очень бедствует, сильно разрушен и придерживается идиоритмического устройства».

От полного разрушения русскую обитель спасает молдавский господарь Иоанн Каллимах (1758-1761). Он передаёт ей одну из часовен своего дворца — Богдан-серай, а также монастырь Иоанна Предтечи. Благодаря Иоанну Каллимаху в русском монастыре ведутся восстановительные работы, которые продолжает его преемник Скарлат Каллимах (1773-1821) — до начала греческой национально-освободительной революции 1821 г. Помощь этой греческой семьи, происходящей из Константинопольского квартала Фанар, была настолько значительной, что побудила Вселенского Патриарха Каллиника специальным указом (1806) переименовать русский монастырь Св. Пантелеймона в Каллимахидон (монастырь Каллимахов).

Всему этому, однако, предшествовал переход русского братства из обители Фессалоникийца в третий центр, в прибрежную зону, там, где сегодня находится нынешний монастырь Св. Пантелеймона. Фессалоникиец получает название Старый Русик и становится в дальнейшем зависимым от монастыря Св. Пантелеймона.

Свою историю на новом месте русская обитель берёт с 1760 г. Основана она там, где ещё в конце XVII в. монах Христофор построил келью, небольшую церковь и причал (арсану).

Монастырь Св. Пантелеймона в первые годы своего основания придерживался идиоритмического устройства, но в 1803 г. специальной грамотой Вселенского Патриарха Каллиника был объявлен киновией. Патриарх Каллиник, предвидя в будущем процветание русской обители, решительно отверг предложение Священного Кинота упразднить русский монастырь, а его имущество передать другим монастырям за неуплаченные долги. Своё мнение он мотивировал тем, «что неприлично и неполитично было бы упразднить русскую афонскую обитель в такое время, когда Россия своими последними войнами с Турцией приобрела столь решительное влияние на судьбу восточных христиан».

Первые русские иноки стали прибывать сюда в 1835 г. Среди них были видные люди России, в т. ч. князь Ширинский-Шихматов. Иеромонах Аникита (имя князя после пострижения) много содействовал благоустройству русского монастыря Св. Пантелеймона, выделив для этих целей значительную часть своего большого состояния.

Наплыв русских монахов особенно усилился с 1840 г. Их прибытию содействовала не только Русская Церковь, но и вся государственная машина. В 1845 г. русский монастырь посещает великий князь Константин Николаевич, в 1869 г. — великий князь Алексей Александрович, а в 1881 г. — великий князь Константин Константинович вместе с великой княжной Александрой Петровной.

Представительница царского двора не сошла, конечно, с корабля и довольствовалась созерцанием красот Афона с палубы.

В 1850 г. численность русских монахов становится равной численности греческих, а в дальнейшем стремительно растёт и начинает значительно превосходить её. Этот факт вызвал трения между русскими и греками, последние боялись, и не без основания, полного численного превосходства русских на Святой Горе.

Тем временем умер старейший из монахов игумен монастыря Герасим. Новым игуменом русского монастыря Св. Пантелеймона в 1875 г. становится Макарий (Сушкин) и пребывает на этом посту до 1889 г. При нем монастырь укрепил своё материальное положение, значительно расширился и выдвинулся на ведущие позиции среди афонских монастырей. Русские монахи с присущей им щедростью каждое воскресенье организовали раздачу продовольствия, одежды и денег малоимущим монахам и мирянам. Монастырь вёл активную научную и просветительскую деятельность, издавал журнал «Собеседник» и имел собственную типографию. О размахе и организации работы свидетельствует тот факт, что только для вышеуказанных целей в монастыре было задействовано 30 человек.

Все это, конечно, не было бы возможным без щедрой поддержки со стороны Священного Синода и правительства России. На нужды монастыря выделялось ежегодно 100 тыс. золотых руб. Субсидия была отменена в 1917 г. правительством Керенского. Весьма распространенную практику получили и «милостынные сборы» в России в пользу монастыря. Особенно обильным был сбор в 1863–1867 гг., когда иеросхимонах Арсений путешествовал по России со святыней. В Одессе, Санкт-Петербурге и Константинополе у монастыря были подворья, откуда поступала экономическая помощь. Кроме того, нужно отметить и многочисленные пожертвования со стороны частных лиц.

В конце XIX — начале XX вв. на Афон для поклонения чудодейственным мощам св. Пантелеймона прибывало огромное количество русских паломников. Ежегодно через Одессу, где проходил сбор паломников, в русский монастырь приезжало до 30 тыс. человек. Все они находили приют в монастыре, размещались в странноприимном доме (фондарике) и получали бесплатное питание. По древней традиции, монастырь предоставляет каждому, кто постучится в его ворота, ночлег, бесплатную миску супа и стакан вина. Благочестивые русские христиане, конечно же, не оставались в долгу, делая щедрые пожертвования на нужды монастыря.

Октябрьская революция 1917 г. имела трагические последствия и для русского монашества на Афоне. Отныне сюда перестала поступать всяческая помощь из России, а русские монахи оказались отрезанными от своей родины. Положение усугублялось и подозрительным отношением ко всем новоприбывающим её монахам из России. Опасаясь проникновения коммунистической идеологии на Святую Гору, страны — гаранты международного статуса Афона, закрывали практически все двери для пополнения русской монашеской общины из России. Впредь её незначительное увеличение будет идти только за счёт русских эмигрантов, проживающих в Западной Европе. Вот что пишет по этому поводу русский писатель Б. Зайцев: «Однако приток всё-таки есть. Он идёт теперь не из России, а из эмиграции. Русский Париж, русская Сербия дают пополнение Афону. Многое меняется на наших глазах. Если прежде на Афон шли преимущественно из купечества, мещан, крестьянства, то теперь я вижу молодого

иеромонаха — офицера Добровольческой Армии, вижу бывшего художника, сына министра, знаю инженера и т. д.»

Русская Православная Церковь, сама находившаяся в тяжёлом положении, была не в состоянии оказывать помощь монастырю. Лишь в 1948 г. Патриарху Алексию I, в рамках празднования 500-летия со дня провозглашения Патриаршества в России, удалось установить контакты с представителями Греческой Церкви, приглашёнными на юбилейные торжества. Вопрос, интересовавший, в первую очередь, русского Патриарха, касался разрешения на прибытие на Афон русских монахов.

Конец «холодной войны» и вхождение Русской Церкви во Всемирный Совет Церквей (1961) ослабили прежние противоречия. В 1965 г. правительство Греции предоставило греческое гражданство (обязательное условие для подвижничества на Святой Горе) пяти монахам из Советского Союза и разрешило им прибыть на Афон.

Из пяти монахов двое не смогли приехать на Афон по причине плохого состояния здоровья, а третий попросил политическое убежище на Западе. После столь необычного поворота дела только в 1970 г. два оставшихся монаха, архим. Авель и монах Виссарион, получают разрешение советских властей прибыть на Афон. Архимандрит Авель сумел не только завоевать доверие и уважение греческой монашеской братии (дело для того времени непростое), но и стать в 1975 г. после довольно долгого перерыва, игуменом монастыря Св. Пантелеймона.

Изменения, произошедшие в бывшем СССР, оказали благотворное влияние и на жизнь русского монастыря. Число русских монахов возросло, сегодня их более 50 человек.

[23] Так на Афоне называют записки, которые подаются на поминовение.

[24] Главный храм обители — собор в византийском стиле в честь св. вмч. Пантелеймона — заложен в 1812 г. Освящён в 1815 г. Второй соборный храм — в честь Покрова Божией Матери — устроен на верхнем этаже основного братского корпуса.

[25] В Русском Свято-Пантелеимоновом монастыре на Афоне пребывают: часть Честного и Животворящего Креста Господня; частица камня от Гроба Господня; честная глава св. вмч. и целителя Пантелеймона; честная глава блж. старца Силуана; части мощей св. Иоанна Предтечи; свт. Иоанна Златоуста; св. прав. Иосифа Обручника; апостола Фомы; св. вмч. Георгия Победоносца; св. мч. Трифона; св. мч. Евстратия; св. Кирика; свмч. Харалампия; свв. вмцц. Марины и Параскевы; верхняя часть главы евангелиста Луки; глава св. мч. Анфима, еп. Никодимийского; глава прпмч. Игнатия Афонского; глава прпмч. Евфимия Афонского; глава прпмч. Акакия Афонского; часть левой ноги апостола Андрея Первозванного в серебряном ковчеге в виде стопы; часть правой руки св. прав. Иоанна Русского; мелкие частицы мощей (более 300) греческих, русских, грузинских и других святых

[26] В конце XIX в., когда библиотека Русского Пантелеимонова монастыря встала в ряд с лучшими святогорскими библиотеками Ватопеда и Великой лавры, в ней насчитывалось одних рукописей X–XIX вв. 700 на греческом языке и до 100 на славянском, печатных книг на разных языках — до 20 тыс. В монастырском архиве хранится драгоценное сокровище — более 50 царских и других грамот, в числе которых — четыре от русских царей: Фёдора Иоанновича, Михаила Фёдоровича, Алексея Михайловича, Иоанна и Петра Алексеевичей, а также одна свт. Иова, первого Патриарха Московского и Всея Руси.

[27] К началу XX в. на Афоне подвизались около 50 тыс. русских иноков, в то время как греческих насельников было около 40 тыс. человек. К 1910 г. в Пантелеимоновом монастыре насчитывалось более 1900 человек (с насельниками Новой Фиваиды), в Андреевском скиту — около 500, в Ильинском скиту — около 300 человек. Русским келлиотам (около 1200 человек) принадлежало свыше 70 афонских келий.

[28] Автор неправ: это был иеромонах, простой монах исповедь принимать не может.

[29] Лк. 16:8.

[30] Прп. Серафим Саровский преподавал всем следующее молитвенное правило: «Восставши от сна, всякий христианин, став перед св. иконами, пусть прочитает молитву Господню "Отче наш" трижды, в честь Пресвятой Троицы, потом песнь Богородице "Богородице Дево, радуйся" также трижды и, наконец, Символ веры единожды. Совершив это правило, пусть занимается каждый своим делом, на которое поставлен или призван». Преподобный Серафим не для того давал нам это правило, чтобы заменять им установленные молитвенные правила, а для того, чтобы прибегать к нему в случае крайней необходимости (в дороге, в каких-то чрезвычайных обстоятельствах, при тяжёлой болезни).

[31] Иеромонах Николай (Генералов) родился в 1953 г. в Шацком районе Рязанской области. На Афон приехал по благословию о. Иоанна (Крестьянкина) и трёх стариц-подвижниц в 1978 г. В 28 лет стал антипросопом (представителем) Свято-Пантелеимонова монастыря в Карей и в течение десяти лет был членом Священного Кинота. Добровольно сложив полномочия антипросопа, сопровождал от монастыря паломнические группы по святым местам Греции. Четыре года был огородником. А в 2004 г. отправлен в Ксилургу. Здесь начал каждодневно совершать Литургию, и старейшая русская обитель начала возрождаться.

[32] Исх. 33:13.

[33] Бьёрндалин — многократный олимпийский чемпион и чемпион мира по биатлону.

[34] Ок. 1830 г. на Афон прибыли русские иеросхимонахи Варсонофий и Виссарион. В 1841 г. они выкупили Серайскую («серай» переводится как «дворец») келью у Ватопедского монастыря, к ним присоединились другие русские монахи, в келье начались регулярные богослужения, было введено общежитие. В 1850–1862 гг. в Андреевском скиту были построены 2 двухэтажных и 2 четырехэтажных корпуса. В 1877 г. был начат сбор пожертвований в России на постройку собора. Собор был возведён и освящён в 1900 г. В 1903 г. в Андреевском скиту насчитывалось около 500 монахов.

[35] Последний насельник Андреевского скита монах Сампсон скончался в 1971 г., скит перешёл во владение Ватопедского монастыря и начал приходить в запустение.

[36] «Вы говорите по-английски?» (англ.)

[37] Икона Божией Матери «Достойно есть» находится на горнем месте алтаря соборного храма Кареевской обители на Афоне. В один из воскресных дней живший неподалеку от Карей старец ушёл в обитель на всюнощное бдение. В келье остался послушник. Поздно ночью постучался неизвестный инок и послушник впустил его. Во время всюнощной, когда нужно

было петь «Честнейшая Херувим...», оба встали перед иконой Божией Матери «Милующая» и гость заметил, что у них сначала поют «Достойно есть...». Во время пения икона Богородицы воссияла небесным светом и послушник заплакал от умиления. По его просьбе эта дивная песнь, за неимением бумаги, была записана на камне, размягчившемся, как воск, под рукой чудного певца. Назвав себя Гавриилом, странник стал вдруг невидим. Потрясённый послушник дождался старца, поведал ему о таинственном незнакомце и показал каменную плиту со словами молитвы. Старец сразу же понял, что приходил в келью Архангел Гавриил, посланный на землю, дабы возвестить христианам дивную песнь во имя Божьей Матери — ещё одну в чреде тех, что люди узнавали от ангелов.

С тех пор ангельская песнь «Достойно есть...» поётся во время каждой Божественной литургии по всему миру. Старец и послушник рассказали о случившемся проту. Тот благословил собрать Собор старцев, и не нём было поведано о чудесном вестнике и его словах. Здесь же, на соборе, вознесли молитву Богородице «Достойно есть...». Камень же с начертанными на нём словами отправили в Константинополь Патриарху Николаю Хрисовергу (f 995. память 16 декабря) как свидетельство чуда. А икона, перед которой впервые на земле была воспета эта молитва, с тех пор стала называться «Достойно есть». Вскоре икону с почётом перенесли в соборный храм Карей, где она стоит и доныне.

Другое афонское предание, опубликованное Иоанном Комниным в 1701 г., гласит, что не Архангел научил безмолвника петь перед иконою Богородицы «Достойно есть...», а сама икона возгласила: «Пусть поют "Достойно есть..."».

Надо заметить, что в «Истории Афона» еп. Порфирий указывает: песня «Достойно есть» была известна в IX в. и употреблялась во время церковных служб в Константинополе

[38] «На колокольне были размещены 20 колоколов, самый большой из которых (333 пуда и 33 фунта) был преподнесён в дар обители императрицей Марией Александровной. Колокол был отлит в г. Слободском Вятской губ. — в том самом городе, где впервые явила чудотворения главная скитская икона Божией Матери. По убеждению многих, равного этому колоколу по чистоте и силе звука не было на всей Святой Горе. Андреевский колокол был пожертвован обители в 1888 г., а уже в 1894 г. на Афон в русский Пантелеймонов монастырь прибыл святогорский Царь-колокол в 818 пудов» (из книги П. Троицкого «Свято-Андреевский скит и русские келии на Афоне»)

[39] Автор не совсем прав. Собор, построенный по проекту акад. архитектуры М.А. Шурупова, вмещает 5 тыс. человек и является самым большим на Афоне и вторым по величине в Греции (после собора в Патрах).

[40] Правильный текст в поэме С. Есенина «Чёрный человек»:

Я один у окошка. Ни гостя, ни друга не жду.  
Вся равнина покрыта Сыпучей и мягкой извёсткой,  
И деревья, как всадники. Съехались в нашем саду.

[41] Кацея — кадило в виде открытой или закрытой продолговатой чашки, укреплённой на деревянной рукоятке.

[42] Видимо, автор отсылает читателя к Евангелию от Матфея (12: 43-45). «Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит: тогда

говорит: возвращусь в дом мой, откуда я вышел. И пришел, находит его незанятым, выметенным и убранным; тогда идёт и берёт с собою семь других духов, злейших себя, и вошедши, живут там; и бывает для человека того последнее хуже первого». Действительно, избавившись от духа коммунизма, мы впустили в себя духов куда более злейших.

[43] Отец (греч.).

[44] Господи, помилуй (греч.).

[45] Святой (греч.).

[46] Масло (греч.).

[47] На небольшой площадке возле вершины горы Афон (2033 м) находится храм Преображения Господня. Он невелик размерами, но является одним из наиболее значительных высокогорных храмов. Подле него — массивный крест. Праздничная служба совершается здесь раз в году, но храм всегда открыт

[48] Разные источники указывают на существование монастыря возле Карей до 1000 г. Впоследствии он пришёл в запустение или был разрушен, но уже в 1279 г. или в начале лета 1280 г. был построен новый монастырь подле Карей прп. иноком Дионисием, по прозванию Кутлумуш (он родился в фессалийском селе Кутлумуш). Во второй пол. XIV в. монастырь стал получать существенную помощь от придунайских княжеств, вследствие чего румынских насельников в монастыре стало больше, чем греческих. Из-за этого даже возник конфликт, и настоятелю Харитону пришлось обращаться с жалобой к главному благоустроителю обители правителю Угро-Влахии Владиславу, и тот пообещал, что преимущество всегда останется за греками. Главный храм монастыря освящён в честь Преображения Господня. В 1497 г. он почти дотла сгорел в сильном пожаре, но был восстановлен благодаря щедрости правителей придунайских стран

[49] Да (греч.).

[50] Старец Паисий, в миру Арсений (Езнепидис), родился в Фарасах Каппадокийских, в Малой Азии, 25 июля 1924 г. Отслужив в армии, Арсений сразу ушёл на Святую Гору Афон. В 1950 г. он стал послушником благодатного духовника, отца Кирилла, впоследствии игумена монастыря Кутлумуш († 1968). В 1956 г. принял постриг в малую схиму с именем Паисий. С мая 1978 г. о. Паисий поселился в келье Панагуда святой обители Кутлумуш. Сюда к старцу потянулись тысячи людей. Ежедневно, от восхода до заката, он советовал, утешал, решал людские проблемы, изгонял всякое стеснение и наполнял души верою, надеждою и любовью к Богу. Для Греции старец стал духовным магнитом, вытягивающим скорбь болезнующих людей. Принимая тяготы притекающих людей, старец мало-помалу стал изнемогать телесно. В октябре 1993 г. старец переехал с Горы Афон в монастырь Св. Иоанна Богослова в Суроти. 12 июля 1994 г. старец предал свою преподобную душу Господу. Старец почил и был погребён в монастыре Св. Иоанна Богослова в Суроти Солунской, и место его погребения стало святыней для всего православного мира. В России широко известны 5 томов Слов старца Паисия, изданных московским издательским домом «Святая Гора» в 2003–2008 гг

[51] Есть сырые оливки невозможно — они очень горькие. Чтобы избавиться от горечи, плоды

моют и помещают в соляной раствор — без специй и добавок, или просто засыпают солью. Затем консервируют. Чёрные плоды готовятся дольше зелёных. Пять месяцев они лежат в соляном растворе при +10°, затем их вынимают и проветривают сутки на воздухе, чтобы начался процесс лёгкого окисления, после чего раскладывают по жестяным банкам. Технология засолки и вымачивания не изменилась с давних времен.

[52] «И взял я книжку из руки Ангела и съел ее; и она в устах моих была сладка, как мед; когда же съел ее, то горько стало во чреве моем» (Откр. 10:10).

[53] «И сказал им Иисус: идите за Мною, и Я сделаю, что вы будете ловцами человеков» (Мк. 1:17).

[54] «Бог не есть Бог мертвых, но живых» (Мф. 22:32).

[55] «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов» (Гал. 6:2).

[56] Гипогликемия — снижение сахара в крови ниже нормы.

[57] «И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними» (Лк. 6:31).

[58] Аксиос — достоин (греч.)

[59] «Сие завещаю вам, да любите друг друга» (Ин. 15:17).

[60] «Дети! Последнее время» (1Ин. 2:18).

[61] Такая практика установилась в Греции в связи с тем, что не каждый священник имеет благословение исповедовать. Таких духовников на большой город может быть всего три-четыре, и исповедь у них может длиться несколько часов.

[62] Солея (греч. σολεα — престол) — возвышение пола перед алтарной преградой или иконостасом в христианском храме. Кроме того, сам алтарь находится на возвышении и, таким образом, солея является как бы продолжением алтаря за его пределами.

[63] Мф. 15.

[64] «...встань, возьми постель твою и иди в дом твой...» (Мф. 9:6).

[65] «Лк. 23.

[66] Сильный пожар в Хиландаре, серьёзно повредивший древний афонский монастырь, вспыхнул 4 марта 2004 г. Французский писатель Жерар де Вилье считает, что его подожгли британские спецслужбы, пытаясь выманить оттуда Караджича. Через две недели после того, как вспыхнул пожар в Хиландаре, в результате организованной акции шиптарских террористов горели сербские православные святыни в Косово и Метохии.



[67] Каюсь (греч.)

[68] Простите (греч.).

[69] Мф. 24:4-15.

[70] Мф. 20.

[71] «Ибо не понимаю, что делаю: потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю» (Рим. 7:15).

[72] Автор, скорее всего, ошибся: у греческих монахов скуфья (повседневный головной убор православных духовных лиц), действительно, выше, круглее и твёрже, чем мягкие скуфьи в России, и напоминает высокий клобук, состоящий из камилавки и чёрного покрывала, прикрепленного к камилавке и заканчивающегося тремя длинными концами, спускающимися по плечам и спине до пояса. Но вряд ли монах находился в обыденной обстановке в столь торжественном виде.

[73] В нач. XIII в. это была келья, основанная Саввой Сербским, одним из основателей православия в Сербии.

[74] Его зовут отец Симеон.

[75] Свт. Савва (память 25 января), в миру Растко, родился в 1169 г. Был младшим сыном жупана Сербии Стефана Немани. В 17 лет под впечатлением от общения с русским монахом с Афона Растко тайно бежал в Пантелеймонов монастырь на Афоне, где вскоре принял постриг с именем Савва. Выбор сына очень расстроил родителей, но впоследствии, в 1196 г., они сами приняли монашество, отец с именем Симеон, а мать с именем Анастасия, и позже, в XIII в., были канонизированы. На Афоне Савва с отцом в 1199 г. обновили Хиландарский монастырь, где Савва был посвящен в диакона и затем во пресвитера. Для нового монастыря Савва написал Устав (Типик) по образцу Устава монастыря Богородицы Евергетидской в Константинополе.

Вскоре после смерти отца (1200) братья Саввы обратились к нему с просьбой перенести мощи отца на родину. В 1207 г. Савва с мощами отца вернулся в Сербию в монастырь Студеница и стал его настоятелем в сане архимандрита.

[76] По преданию Хиландарского монастыря, ранее икона «Млекопитательница» находилась в Палестине, в лавре Святого Саввы Освященного под Иерусалимом. Великий основатель лавры Савва Освященный перед своим исходом из жизни временной пророчески говорил братьям, что со временем посетит его лавру царственный паломник из Сербии, также именем Савва, которому должна быть дарована в благословение икона Богородицы «Млекопитательница».

Святой Савва Освященный с миром отошёл ко Господу в VI в., в царствование Юстиниана Великого. Более шести столетий с той поры пронеслось над лаврой. Икона «Млекопитательница» стояла на своём месте, ожидая исполнения святого пророчества.

Наконец в XIII в. явился в Палестину св. Савва, архиеп. Сербский. Ему передано было

пророческое завещание Саввы Освященного, и вместе с чудотворной иконой Божией Матери, именуемой «Млекопитательницей». лавра благословила его и иконой «Троеручица».

На обратном пути из Палестины в Сербию св. Савва посетил основанный им на Афоне монастырь Хиландар (кстати сказать, в Старом Русике, в первой древней русской обители, Савва и был пострижен в монахи). Архиеп. Савве было в радость оставить на Святой Горе дар Святой Земли — икону Пресвятой Богородицы «Млекопитательница».

[77] Протатский храм является древнейшим христианским храмом Святой Горы. Святой император Константин Великий в 335 г. воздвиг здесь храм в честь Успения, но он был сожжён Юлианом Отступником в 362 г., а потом восстановлен в меньших размерах. В нём некоторое время покоились мощи прп. Петра, первого пустынножителя Афона († 734, память 12 июня). После того, как в 880 г. с Афонского перешейка перевели в Карею «кафедру старцев» — место собрания всех святогорских монахов, храм сделался «протатским», то есть храмом Прота.

Нынешнее здание было построено в 962–964 гг. Снаружи оно продолговатое, как базилика, а внутри имеет форму креста. Это единственный соборный храм на Афоне без купола, с простым двускатным деревянным потолком, с которого свисает множество паникадил и большой круглый хорос из жёлтой меди, сияющие, как солнце. Стены покрыты дивными фресками мастера Македонской школы Эммануила Панселиноса (ок. 1300). Иконостас древний, каменный, низкий; в нём помещён (как местная икона) Деисис художника Критской школы Феофана (сер. XVI в.). В наружной галерее храма, около северного входа, стоит низкий кирпичный памятник, покрытый мраморной плитой, на которой стоит неугасимая лампада.

В алтаре находится святыня Карей — чудотворная икона Божией Матери «Достойно есть».

[78] См. коммент. 37.

[79] См. коммент. 37.

[80] Один (грей.).

[81] Иверский монастырь (Иверон) основан в конце X в. на развалинах опустевшего Климентова монастыря. Строителями его были царственные иноки Иоанн, его сын Евфимий и их родственник Георгий родом из Иверии (Грузии). Они происходили из грузинской династии Багратионов. Название «Иверский» монастырь получил от своих ктиторов и насельников-иверцев.

Главный соборный храм монастыря посвящён Успению Пресвятой Богородицы. Собор в плане крестообразный, по обе стороны притворов пристроены небольшие церкви (параκлисы). Основанный в X в., собор почти весь расписан поздней живописью, но сохранились и фрески XVI в. В западной стене внутреннего притвора находится гробница с мощами ктиторов монастыря.

В 1259 г. монастырь потерпел сильные бедствия от латинян — был разорён, часть иноков была пленена, многие убиты. В 1285 г. снова случилось нападение латинян, а в 1306 г. монастырь потерпел страшные разорения от каталанцев. До конца XVI столетия монастырь находился в упадке. Он был восстановлен благодаря помощи вселенских патриархов и вновь занял достойное место среди других монастырей Афона.

вить в столицу чудодейственную икону Иверской Божьей Матери, надеясь, что она поможет излечить его тяжело больную дочь. Чудо, действительно, состоялось, и благодарный царь пожертвовал Иверу крупную сумму денег, а также передал ему монастырь Св. Николая в центре Москвы.

На протяжении всей своей долгой истории монастырь был мощным духовным центром с сильным влиянием грузинской монашеской практики и традиции. Последний грузин умер здесь в 1955 г., после чего монастырь стал исключительно греческим.

Главное сокровище монастыря — икона Богородицы «Портаитисса» (Вратарница). Она чудесным образом приплыла в Иверский монастырь по морю, и афонские иноки верят, что в последние времена она покинет монастырь, после чего и монахи должны будут отсюда уйти.

Среди сокровищ монастыря — «лимонное дерево» (серебряный семисвещник за святым престолом) и дверь между притвором и папертью из чёрного дерева, отделанная серебром, это также так называемый «далматик» (одеяние) императора Иоанна Цимисхия, епископские одежды Патриарха Дионисия IV, Евангелие, подаренное российским императором Петром Великим.

В соборном храме находятся части святых мощей мч. Феодора Стратилата; левая рука св. Василия, еп. Амасийского; левая нога св. Михаила, еп. Синадского; рука вмч. и целителя Пантелеймона; нога и плечо мц. Фотинии Самарянины; глава Феодора Пергийского; левая рука св. Евпраксии; десница мц. Параскевы; частица мощей Василия Великого; вмч. Георгия; свт. Иоанна Златоуста; свв. бесср. Космы и Дамиана; первомученика и архидиак. Стефана; апостола Варфоломея; Афанасия Великого; мч. Меркурия; Иоанна Постника, Патриарха Константинопольского; Стефана Нового; св. Ипатия; Иоанна Предтечи; нога праведной Макрины; нога сщмч. Киприана; часть главы мч. Фотия; глава прп. Иерофея Иверского; глава мч. Никиты; частица мощей свт. Епифания Кипрского и миро св. вмч. Димитрия Солунского. Есть также хламида, губка и трость, через которые поруган был Господь иудеями.

Монастырь Ивер обладает одной из богатейших на Святой Горе сокровищниц церковных ценностей и библиотекой, в которой хранятся 120 тыс. старинных рукописей.

[82] Прп. Афанасий Афонский (ок. 925 или 930 — ок. 1000, Афон; память 5 июля) — основатель Великой лавры на Афоне и общежитийного обустройства жизни монахов в монастырях Афона. Родился в Трапезунде, Каппадокия (совр. Трабзон), учился в Константинополе и стал известен там как искренний проповедник православия. Затем удалился на Киминскую обитель в Вифинии и стал учеником прп. Михаила Малейна, от которого позднее принял монашеский постриг с именем Афанасий. В 958 г. он отправился на Афон. Афанасий помогал отшельникам отстаивать их скиты от набегов пиратов-сарацинов, а также начал объединять скиты в то, что в конечном итоге стало известно как Великая лавра, монастырь, который Афанасий построил на деньги императора Никифора. Монастырь был освящен в 963 г. Вскоре после этого было построено еще три здания, причем все они стоят и сегодня. На некоторое время Афанасий удалился с Афона, но после видения Божией Матери вернулся как игумен и создал Типикон (Устав) для монахов монастыря на основе документов Феодора Студита и Василия Кесарийского.

[83] Где найти Николая? (греч.)

[84] «Симон Петр говорит им: иду ловить рыбу. Говорят ему: идем и мы с тобою. Пошли, и тотчас вошли в лодку, и не поймали в ту ночь ничего. А когда уже настало утро, Иисус стоял

на берегу; но ученики не узнали, что это Иисус. Иисус говорит им: дети! Есть ли у вас какая пища? Они отвечали Ему: нет. Он же сказал им: закиньте сеть по правую сторону лодки, и поймаете. Они закинули, и уже не могли вытащить сети от множества рыбы. Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру: это Господь. Симон же Петр, услышав, что это Господь, опоясался одеждою, — ибо он был наг, — и бросился в море. А другие ученики приплыли в лодке, — ибо недалеко были от земли, локтей около двухсот, — таща сеть с рыбою. Когда же вышли на землю, видят разложенный огонь и на нем лежащую рыбу и хлеб. Иисус говорит им: принесите рыбы, которую вы теперь поймали. Симон Петр пошел и вытащил на землю сеть, наполненную большими рыбами, которых было сто пятьдесят три; и при таком множестве не прорвалась сеть. Иисус говорит им: придите, пообедайте. Из учеников же никто не смел спросить Его: "кто Ты?", зная, что это Господь» (Ин. 21: 3-12).

[85] О жертвоприношениях в этих местах сообщает и еп. Порфирий (Успенский): «...древние жители Афона... держали тут девиц и приносили их в жертву своим богам». Монахиня Нектария (Мак Лиз) в книге «Евлогите» говорит, что на месте Великой лавры был укрепленный город, называвшийся «Уранополис» (Небесный город), посвященный богине Диане. «В этом городе жили, в основном, молодые девственницы, которых специально воспитывали для служения в качестве жриц греческих языческих храмов».

Согласно другому преданию, на самой вершине Афонской Горы в дохристианские времена стояла статуя Зевса.

[86] Однажды выдался неурожайный год и в строящейся Лавре начался голод. Собравшиеся вокруг прп. Афанасия иноки стали покидать только что отстроенный монастырь, и в конце концов там остался один Афанасий без всякого попечения. Старец Афанасий, долго терпевший тяготы, всё же решил вслед за другими уйти из монастыря. По дороге он вдруг увидел прекрасную женщину. «Кто ты? И как сюда попала?» — спросил он, удивлённый, — ведь женщинам вход на Афон запрещён. «Я знаю твоё горе и помогу тебе. Но расскажи мне прежде, куда ты идёшь?» — сама задала ему вопрос таинственная незнакомка. Тогда Афанасий рассказал всё про свои беды, и женщина возразила: «И этого-то ты не вынес? Ради куска хлеба ты бросаешь обитель?» «Кто же ты?» — спросил Афанасий. «Я — Та, имени Которой ты посвящаешь свою обитель. Я Мать Господа Твоего», — отвечала женщина. «Видишь этот камень, — сказала Богородица. — Ударь в него жезлом и тогда узнаешь. Кто говорит с тобою. Знай, что с сего времени Я навсегда остаюсь Домостроительницею (Экономиссою) твоей лавры». Афанасий ударил по камню, и из него с шумом потекла вода. Афанасий вернулся в обитель и нашёл, что кладовые доверху наполнены всем необходимым. В монастыре после того случая была написана икона «Экономисса». А водный поток изливается до сих пор. За века, прошедшие с того времени, его водами исцелилась много страждущих и недужных.

[87] «Все мне позволительно, но не все полезно; все мне позволительно, но не все назидает» (1 Кор. 10:23).

[88] Благословите (греч.).

[89] Кушать (греч.).

[90] Кто (англ.).

[91] Писатель (англ.).

[92] Десять (англ.).

[93] Центральный парк культуры и отдыха

[94] Вот это предание полностью:

Сказание о Святей Горе Афонстей, како бысть в жребий Пресвятей Владычицы нашей Богородицы,

и како Святая Гора наречесе и в перивол (сад) Ее и проч. Списано божественным Стефаном

По вознесении Господа нашего Иисуса Христа на небеса ученики Его пребывали на Сионе вместе с Мариєю, Матерью Иисуса, ожидая Утешителя по обетованию Христа, Который повелел им не отлучаться из Иерусалима, но ждать обещанного от Отца (см. Деян. 1:4). Между тем они бросили жребии, дабы узнать, какая страна земли достанется каждому ученику для проповедания Евангелия Божия; а жребий вынимала Мать Иисусова. Вскоре после сего Пречистая сказала ученикам: «И Я с вами хочу метнуть Мой жребий, да не останусь без удела, но получу ту землю, которую даст мне Бог». Они же благоговейно и со страхом метнули жребий по слову Божией Матери; и вот досталась Ей Иверская земля. С радостью Она приняла сей жребий и хотела пойти туда. Но ангел Божий сказал Ей: не отлучайся из Иерусалима: выпавший Тебе жребий (Грузия) просветится в последние дни (гораздо позже) во имя Твоё, а теперь предстоит Тебе малый труд пойти в другую землю, которую укажет Тебе Бог. Сказав это, ангел отошёл от Неё.

В то время Лазарь Четверодневный жил на острове Кипр, потому что боялся иерусалимских иудеев. Там рукоположил его во святителя апостол Варнава. Сей Лазарь сердечно желал видеть Пресвятую Марию, но, как мы сказали, боялся пойти в Иерусалим, дабы не испытать томления от иудеев. Мать же Божия знала это и написала к нему утешительное письмо, в котором просила его прислать за Нею корабль из Кипра, а сам бы он не ездил, присовокупив, что Ей прилично поступить так по смирению. Прочитав письмо Её, Четверодневный весьма удивился такому смирению и тотчас с великою радостью послал к Нею корабль и письмо. Увидев усердие его, Пречистая Мария решилась отправиться к нему с возлюбленным учеником Христовым и девственником Иоанном. Оба сели в корабль и поплыли к Кипру. Но внезапно подул противный ветер и примчал корабль в пристань Афонской Горы: сие-то малое затруднение и предсказано было ангелом Пречистой Богородице.

Гора же эта вся была наполнена идолами. Там находилось капище и святилище Аполлона. Ибо гадания и ворожбы, и иные многие бесования совершались тут. Место сие, весьма вожделенное, было обще всем еллинам. Отовсюду они приходили туда на поклонение, и каждый получал ответ от прорицателей, о чём бы ни спросил их по своему желанию. Но вдруг все тамошние идолы заговорили громко: «Сойдите все люди, прельщённые суетным Аполлоном, в пристань Климентову и примите Марию, Мать великого Бога Иисуса». Народ, услышав это, удивился и по гласу идолов сошёл на берег моря. Все тут увидели корабль и, взяв из него Мать Божию, отвели Её на сборное место и спросили, как родила Она Бога и какого по имени. Тогда Блаженная отверзла уста Свои и благовествовала людям всё; и все пали и поклонились родившемуся от Неё Богу, уверовали в Него и крестились. Тут сотворены были Богоматерью и чудеса многие. Она поставила всем им учителя и наставника Климента и, возрадовавшись духом, сказала: «Вот Мой жребий от Сына и Бога Моего». Потом благословила людей и опять сказала: «Благодать Божия пребудет на этом месте и на живущих тут с верою и страхом по заповедям Сына Моего; всего будет у них довольно при малом попечении, и жизнь небесную они получают, и не оскудеет милость Сына Моего от места сего до скончания века, а Я

буду тёплая ходатаица пред Сыном Моим о месте сем и о живущих на нём». Сказав это. Она благословила всех и, вошедши в корабль с вышереченным Иоанном и с другими, отплыла на Кипр, где и застала Лазаря в великой скорби, ибо он полагал, что с Нею случилось нечто в море, а о милости Божией к Афону не ведал. Но Матерь Божия тотчас обратила скорбь его в радость и принесла ему в дар омофор и поручи Своего рукоделия; потом поведала ему всё, что было в Иерусалиме и на Горе Афонской и, возблагодарив Бога за всё, отплыла обратно и пришла в Иерусалим, где скоро и преставилась ко Господу.

[95] Известный историк Афона еп. Порфирий (Успенский) о посещении Богородицей Афона говорит следующее: «Богоматерь не была на Афоне и быть там не могла... Ни святые отцы Церкви, ни древние историки её, Евсевий, Сократ, Созомен, Еваргий, ни византийские летописатели, ни св. Андрей Критский, собравший предания о Богоматери, ни писатель житий святых Симеон Метафраст не говорили, что Афон есть удел Богоматери и что она крестила жителей сей Горы» (История Афона. Ч. II. С. 213). Далее еп. Порфирий приводит несколько отрывков из сочинений первохристианских писателей, где «в каждом положительно говорится, что Она по вознесении Господа жила на Сионе в доме Иоанна Богослова до самой кончины Своей, и что уже после смерти Её сей апостол отправился в Ефес».

[96] Роза.

[97] Кипарис.

[98] Неточный англ.:small — «маленький».

[99] Большой (англ.).

[100] Во времена иконоборчества (720–840) в Никее (на окраине Константинополя) жила одна благочестивая вдова с сыном. Осведомители императора-иконоборца обнаружили, что она прячет у себя дома икону Божией Матери, и пригрозили ей, что донесут на неё, если она не заплатит им за молчание большую сумму денег. Вдова с сыном, не имея возможности уплатить шантажистам требуемую мзду, с молитвой опустили икону в море, так как не желали оставлять её на поругание иконоборцам. Вдова неутешно скорбела о потере драгоценной святыни, но однажды ей во сне явилась Сама Матерь Божия и сказала: «Я пошлю Мою икону в монастырь, где люди разных народов и рас будут почитать её на протяжении столетий, и туда же я отправлю твоего сына. А тебя заберу с Собой, чтобы вместо Моей иконы ты могла смотреть на Меня». Пробудившись от сна, вдова исполнилась необычайной радости, благословила сына, и он ушёл в Иверский афонский монастырь. Он рассказал иверским отцам об иконе и о сне матери, и монахи записали саму историю и время, когда всё это произошло.

16 апреля 1004 г., во вторник после Пасхи, через 170 лет после явления Богородицы вдове, у берега напротив Иверского монастыря возник огненный столп, поднимавшийся до самого неба. Сотни иноков собрались на берегу, и каково же было их изумление, когда они увидели икону Божией Матери, стоя плывущую к ним по волнам. Многие поплыли навстречу ей в лодках, но никто не смог приблизиться к святыне и взять её в руки. Тогда настоятель Иверского монастыря со всею братией и множеством других монахов начали молиться, стоя на берегу и в течение трёх дней умоляя Царицу Небесную даровать им Свою икону.

Владычица чудесным образом ответила на их молитвы. От иконы послышался голос: «Я не приду к вам, если с Малого Афона не явится за мной Гавриил Иверский». Высоко на Святой Горе, в местности под названием Малый Афон, действительно, жил святой подвижник по

имени Гавриил. Мать Божия явилась ему во сне и повелела спуститься с Горы и взять Её икону из моря. Она сказала: «Ты пойдёшь по воде, поскольку носишь имя Архангела Гавриила, принесшего Мне Благовую весть, и возьмёшь Мою икону». Люди, стоявшие на берегу, пошли искать его, и вдруг увидели, как он сам спускается к морю. Подвижник с величайшим благоговением ступил на поверхность моря и, став на колени, направился к иконе. Приблизившись к ней, он принял её на руки и вернулся на берег. На том месте, куда Гавриил опустил икону, забил источник. Он существует до сих пор, и многие из тех, кто пьёт из него с верой, получают исцеление.

[101] На иконе на правой щеке Богородицы видна рана с засохшей кровью. Эта рана была нанесена арабом по имени Рахаху, главарём шайки пиратов, которую послали разграбить монастырь. Пираты возвратились ни с чем, рассказали главарю, что какая-то Женщина не позволила им войти в монастырь. От этих слов он пришёл в ярость и бросился к воротам. При виде иконы Божией Матери он впал в исступление и ударил Её мечом. Из иконы излилась кровь, забрызгав пирата. Разбойник, видя такое страшное чудо, пришёл в трепет. Он стал умолять Богородицу простить ему столь вопиющее нечестие. Рахаху так глубоко осознал свой грех и раскаялся, что принял крещение, и отцы сочли возможным постричь его в монахи. Всю оставшуюся жизнь он служил в храме рядом с иконой. Он просил братию не называть его по имени, полученному в монашестве — Дамаскинно именовать Варваром. Он достиг вершин добродетели и стал известен как Праведный Варвар.

[102] «...из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство, — всё это зло извнутри исходит и оскверняет человека». (Мк. 7:21)

[103] Ваше имя (англ.).

[104] «Три мушкетёра».

[105] Судя по всему, это был небольшой крестик ручной работы, обмотанный ниткой.

[106] История монастыря Ставреникита берет начало из глубины столетий (X–XI вв). На месте, где теперь находится монастырь, существовала обитель, посвящённая св. Предтече Господню Иоанну с тем же названием — Ставреникита. В эпоху Крестовых походов, нашествия сарацин, грабежа пиратов обитель была разорена и пришла в запустение.

В XIII в. обитель была подчинёна монастырю Кутлумуш, от которого в XVI в. перешла к обители Филофей. В 1533 г. игумен Ксеромеритского монастыря Григорий выкупил Ставреникиту у монастыря Филофей и принялся за работу по его возрождению.

В 1541 г., согласно указу Патриарха Цареградского Иеремии I, возрождённая обитель была освящена в честь свт. Николая. Храм расписан критским иконописцем Феофаном и его сыном.

Среди сохранившихся настенных росписей трапезной монастыря — знаменитая «Тайная Вечеря». В библиотеке хранится 171 рукопись и большое количество печатных книг. Особую ценность представляет Псалтырь XII в., писанная золотом по пергаменту.

В монастыре хранятся следующие святыни: часть Животворящего Креста Господня; рука св. праведной праматери Анны; часть руки свт. Василия Великого с кожей и плотью; десница свмч. Елевферия; части от локтей св. Иоанна Златоуста; свт. Григория Богослова и св.

архидиак. Стефана; частицы мощей сорока мучеников; св. бесср. Космы и Дамиана; рёбра свв. мчч. Карпа и Папилы; св. Иоасафа, царевича Индийского; часть руки вмч. Феодора Стратилата; частица св. Амвросия Медиоланского; миро св. Димитрия Солунского; миро св. Николая Чудотворца; часть челюсти с тремя зубами св. Иоанна Предтечи; смещение костей и крови мучеников, в Никодимии сожженных; частица св. Трифона.

В монастыре подвизаются 25 монахов, ещё 13 монахов проживают в келлиях и каливах.

[107] «Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему». (Ис. 40:3).

[108] Ильинский скит основан в 1757 г., когда старец Паисий Величковский испросил заброшенную постройку у монастыря Пантократор. Окружённый преданными учениками, он мечтал устроить здесь обитель на евангельских началах, в виде общежития. Небывалое по тем временам благолепие обители притягивало к ней новых насельников, которых вскоре стало более 60. Для тогдашнего Афона, угнетённого турками, это было слишком много, слишком вызывающе, и в 1763 г. старец, опасаясь преследований, ушёл с братией в Молдавию, где продолжил своё славное подвижничество. Ильинский скит сохранил собственное национальное своеобразие, общение с Россией и с годами рос и процветал. В 1910 г. здесь был заложен, а в 1914 г. освящён величественный кафоликон во имя св. Илии Пророка. Построенный в ярко выраженном русско-византийском стиле, он символизирует связь русского православия с Византией, с греческими святыми отцами — то, к чему стремился прп. Паисий.

Ильинский скит считался «национальным» и, в основном, был населён малороссами, в XX в. принадлежал Русской Православной Зарубежной Церкви и так же, как остальные «негреческие» монастыри, приходил в упадок. Ко всем напастям прошлого века, скитники объявили себя зилотами, ревнителями и отказались поминать патриархов, обвинив их в вероотступничестве, главным образом, из-за введения новоюлианского календарного стиля, а также в масонстве. Афонские духовные власти какое-то время терпели подобное «диссидентство», но в мае 1992 г. ильинцам — их к тому времени осталось всего четверо — дали сутки на сборы... Опустевшую обитель заселили греческие монахи из монастыря Пантократор, на земле которого стоит скит.

[109] Имеется в виду, что, если вы хотите посетить какой-либо монастырь, то предварительно можно позвонить и договориться о ночлеге. Телефоны архондариков можно найти в любом путеводителе по Афону.

[110] «Но Иисус сказал ему: никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия» (Лк. 9:62).

[111] Скит Ксилургу (от греч. ξυλοϋργος; — «плотник», что говорит о том, что первые насельники были, скорее всего, плотниками-умельцами) — первый русским монастырь на Святой Горе. Святогорцы именуют скит Богородица — по кириакону — соборному храму в честь Успения Божией Матери, построенному в нач. XI в.

По письменным актам, хранящимся в Русском Пантелеимоновом монастыре, наименование «Русский» в первый раз встречается в сохранившейся имущественной записи XII в. Богородичной обители Ксилургу. В ней упоминаются русские богослужебные книги и древние церковные принадлежности, что указывает на то, что русские уже тогда пребывали на Афоне. То, что некоторых из них названы старыми, указывает на то, что русские поселения возникли



на Святой Горе раннее указанного в описи года (1143). Другой акт (1169) — акт передачи этой обители русским вследствие умножения их в Богородичной обители, также говорит о времени поселения их в первой обители. Переходя из Богородичной обители в Пантелеимонову, более обширную, отцы-ксилургийцы просили афонских старцев оставить за ними и прежнюю обитель ради того, что они в ней «постриглись и много потрудились, и издержались над её охранением и устройением, и что в ней скончались родители и сродники наши». Всё это свидетельствует о том, что до перехода в русский Свято-Пантелеимонов монастырь в 1169 г. наши предки уже имели благоустроенную обитель, где скончались их отцы. На эту давность поселения русских на Афоне, согласно с указаниями упомянутых письменных актов, говорит (но в общем смысле) возникшее ранее XV в. на Афоне устное предание, что ещё первые христианские великие князья Владимир и Ярослав содействовали водворению там русских. Это предание не раз было высказываемо устно и письменно в челобитных старцев русского монастыря великим князьям и царям. Оно известно было и другим славянским обителям, например, старцы Хилendarской сербской обители также писали подобную челобитную царю Ивану Васильевичу Грозному.

Обитель Св. вмч. Пантелеймона существовала уже в середине XI в. под именем обители Фессалоникийца и была тогда уже значительных размеров, но позже обитель обеднела и перед передачей её русским пришла в упадок. Обстоятельства передачи русским монастыря Св. вмч. Пантелеймона засвидетельствованы в 7-м из сохранившихся актов монастыря от 1169 г. Здесь указаны причина, повод, цель и порядок передачи: пришедшая в совершенный упадок прежде славная обитель передаётся общим согласием священного собрания высшей власти на Святой Горе для благоустройства опытному игумену увеличившегося братства руссов, не вмещавшегося уже в своей прежней Богородичной обители Древоделя. Ввиду этого просителю и будущему устройителю передается обитель в собственность со всем её движимым и недвижимым имуществом. Полное указанное право на владение обителью по обычаю тогдашнего времени для большей крепости утверждается и ограждается от всякого рода насилия под угрозой клятвы. Снисходительным и рассудительным священным собранием оставляется за игуменом русского братства такое же право владения и прежней их обителью Древоделя, трудом и издержками благоустроенной ими.

Приводим этот важный для русской обители акт.

«Людей тщательнейших в делах житейских и ведущих жизнь похвальную все привыкли почитать, удостоивать милостей и поставлять в управление делами и всякого рода имуществом. Тех же, кто оказывает тщание в делах духовных, споспешествует созиданию богоугодных домов и устройению монашеских заведений, какую благодарностию не следует поддерживать и поощрять? Ибо если того, кто обладает большими деньгами и не занимается ими, называют как бы вовсе не живущим, то явно, что людей, бодрствующих и над малым и подвизающихся следует удостоивать не только множеством похвал, но и милостями. Так и Господь сказал в Евангелиях: Рабе благий и верный! О мале был еси верен, над многими ты поставлю. А также и то, что всякому имущему на созидание и возделывание дано будет и преизбудет, у неимущаго же и еже мнится имея — на погибель, совершенное разрушение и запустение — взято будет от него. Сим евангельским речениям последуя, и мы спешим сделать соответственное словам дело.

В 15-й день августа месяца, на обычном празднестве Всепреставной и Всенепорочной, Чистой Приснодевы Богородицы и Богоматери в собрании всего духовного сословия и прочего старейшинства в судилище вошел к нам честной монах господин Лаврентий, игумен обители Древоделя, или Руссов, и, сделав обычный поклон, просил дать ему одну из находящихся на Святой Горе обителей ради ее устройства и пользы. Мы же, прошение его взявши, заботою и целию себе поставили решить, которую бы из обителей дать ему. По долгом же рассмотрении и сообща рассуждении нашли все пригодною для отдачи требующему обитель Фессалоникийца.

Ибо если и была она в старину многолюдна и имела первенство между второстепенными как по обширности, так и по блеску, но ныне кажется невидною и всеми признается и почитается совсем не существующею от малочисленности монахов, от недостатка продовольствия и от распадаения ее стен и жилища. Да и то, что ещё кажется в ней стоящим, предвещает совершенно падение и исчезновение. Поелику же в таком положении мы нашли ее, хорошо и богоугодно присудили отдать ее сказанному честнейшему монаху господину Лаврентию, игумену обители Руссов, и его монахам, с тем чтобы она восстановлена была ими, обстроена наподобие крепости, возблестела, и украсилась, и населилась немалым числом людей, работающих Богу и молящихся о державнейшем святом царе нашем, скажу просто, чтобы стала опять, как была сначала, и лучше того.

Посему-то с общего согласия всего сословия и всего старейшинства сегодня мы даем, передаем и отдаём означенную обитель Фессалоникийца честнейшему монаху господину Лаврентию и его монахам с принадлежащими ей на Карях келлиями, и всем её объёмом и обдержанием, и со всеми её правами и преимуществами, полями и прочими движимостями и недвижимостями, чтобы они имели её и распоряжались ею во все последующие непрерывные времена самоправно и властно, сделали ее истинным монастырем и поступали с нею так, как законы и Божественные и священные правила заповедают поступать людям, управляющим делами.

Итак, будь ты, монах господин Лаврентий, духовный брат (к тебе теперь обращается слово мое), от нынешнего дня владыка и господин обители Фессалоникийца и делай с нею что захочешь, никем не возмущаемый, и не беспокоимый, и ни малейше не тревожимый. Ни мы сами, ни будущие после нас проты, икономы, игумены и прочие под каким бы то ни было благовидным предлогом не могут ни самую обитель отнять у тебя или у следующего за тобою, ни потребовать что-нибудь от обители из ее движимостей и недвижимостей, ни от принадлежащих обители полей отделить что-либо по частям или целиком ни для присвоения себе самим (отделяемого), ни для передачи одного другому лицу. Покусившийся сделать что-нибудь подобное или нарушить наше общее распоряжение не только да не выслушивается в том, что говорить будет, но да считается повинным клятвам святых 318 богоносных отцов, и часть его и жребий его да будет с предателем Иудой и с вопившими: "Возьми, возьми, распни Сына Божия".

Поелику же и об обители, принадлежавшей до сего дня игуменству вашему, которую обыкли называть "Древоделя" и которую мы хотели взять у вас и отдать другому в игуменство, вы отнесли к нам с мольбою, говоря: "Невозможно отнять ее у нас и дать другому ради того, что в ней мы постриглись и много потрудились и издержались над её охранением и устройением, и что в ней скончались родители и сродники наши, которые содержали нас и давали нам средства жить, и что ради неё мы дарим те 30 иперпиров, которые должна нам Средина, отказываясь от права требовать оные", — по сей-то причине и мы, снизошедши и рассудивши, что неблагоприятно было бы с таким трудом устроенную ими обитель отнять у них и дать другому, чтобы не нанести им подобным отнятием великой опасности и убытка, так что они-то сами изубыточатся, да и сказанная обитель Древоделя потерпит изменение и разрушение, восхотели, чтобы они же владели и ею, распоряжаясь самоправно и властно, со всеми её правами и преимуществами. Однако же владеть и распоряжаться ею не как полем, но как приписным монастырем, каковым и быть ей, и именоваться, и монахов иметь и иконома.

Будь же и её господином и владыкой, монах господин Лаврентий, и поступай с нею, как захочешь, никем не тревожимый и не беспокоимый. Тот же, кто, сомневаясь в чем-нибудь, захотел бы причинить беспокойство, или убыток, или хищение, да будет повинен вышеписанным клятвам и отлучен от Святой и Единосущной Троицы.

Почему и дана сия запись наша, заверенная нашим подписом, писанная же рукою смиренного

монаха Иоанна, еклисиарха обители Ватопедской, в августе месяце 2-го индиктиона 6677 (1169. — Прим. ред.) года.

Смиренный монах Иоанн, прот Святой Горы.

Смиренный иеромонах Феодосий, игумен Великой лавры святого Афанасия подписал.

Я, отец архимандрит Иверского монастыря Михаил (по-грузински; в одном списке имя хорошо не читается за повреждением пергамента. — Прим. ред.).

Ватопедской обители предстоятель смиренный монах Игнатий.

Смиренный монах Иларион и игумен обители Дохиара и иконом Горы.

Смиренный монах Митрофан и предстоятель обители Каракала подписал.

Смиренный монах Варнава и игумен обители Ксиропотама подписал» (и пр. — всего двадцать подписей)».

[112] Соборный храм Успения Богородицы, построенный в нач. XI в., в настоящее время действующий.

[113] Насельниками Ксилургу всегда были по преимуществу славяне. В 1837 г. по общему согласию между Свято-Пантелеимоновым монастырём и скитом было постановлено, что в нём будут проживать болгары, они и построили в 1885 г. двухэтажный братский корпус келий с большим параклисом во имя святых Кирилла и Мефодия. Всё убранство храма, высокий иконостас и красочные росписи были исполнены самими болгарами.

[114] Эта чудотворная икона Божией Матери «Гликофилуса», т. е. «Сладкое лобзание», была подарена обители в 1802 г. Такое название икона получила потому, что Богоматерь изображена на ней лобзающей Младенца Христа. Богомладенец обнимает Свою Матерь левою рукой, и на устах Его улыбка божественной любви.

[115] «Иисус говорит ему: если Я хочу, чтобы он пребыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за Мною» (Ин. 21:22).

[116] «И начал Иона ходить по городу, сколько можно пройти в один день, и проповедывал, говоря: ещё сорок дней и Ниневия будет разрушена! И поверили Ниневитяне Богу, и объявили пост, и оделись во вретища, от большого из них до малого. Это слово дошло до царя Ниневии, и он встал с престола своего, и снял с себя царское облачение свое, и оделся во вретище, и сел на пепле, и повелел провозгласить и сказать в Ниневии от имени царя и вельмож его: "чтобы ни люди, ни скот, ни волы, ни овцы ничего не ели, не ходили на пастбище и воды не пили, и чтобы покрыты были вретищем люди и скот и крепко вопияли к Богу, и чтобы каждый обратился от злого пути своего и от насилия рук своих. Кто знает, может быть, ещё Бог умиосердится и отвратит от нас пылающий гнев Свой, и мы не погибнем". И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них, и не навел» (Ион. 3:4-10).

[117] «И подошел Авраам, и сказал: неужели Ты погубишь праведного с нечестивым. Может быть, есть в этом городе пятьдесят праведников? Неужели Ты погубишь, и не пощадишь места

сего ради пятидесяти праведников в нем? Не может быть, чтобы Ты поступил так, чтобы Ты погубил праведного с нечестивым, чтобы то же было с праведником, что с нечестивым; не может быть от Тебя! Судия всей земли поступит ли неправосудно? Господь сказал: если Я найду в городе Содоме пятьдесят праведников, то Я ради них пощажу все место сие... Авраам сказал: да не прогневается Владыка, что я скажу ещё однажды: может быть, найдется там десять? Он сказал: не истреблю ради десяти» (Быт. 18: 23–26, 32).

[118] «Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною» (Откр. 3:20).

[119] «...ибо проходит образ мира сего» (1 Кор. 7:31).

[120] А. Пушкин. «Зимнее утро».

[121] А. Твардовский. «Василий Тёркин».

[122] Н. Островский. «Как закалялась сталь». Точная цитата: «Самое дорогое у человека — это жизнь. Она даётся ему один раз, и прожить её надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы...»

[123] А. Фадеев. «Разгром». Точная цитата: «Левинсон обвёл молчаливым, влажным ещё взглядом это просторное небо и землю, сулившую хлеб и отдых, этих далёких людей на току, которых он должен будет сделать вскоре такими же своими, близкими людьми, какими были те восемнадцать, что молча ехали следом, — и перестал плакать; нужно было жить и исполнять свои обязанности».

[124] Слово о полку Игореве...». Точная цитата: «Нелепо ли ны бяшеть, братие, начата старыми словесы...»

[125] Евр. 10:31.

[126] Я к этой истории отнёсся скептически, да и сам автор тоже обставил всё так, что это больше похоже на байку или легенду. Но на всякий случай проверил по Интернету сайты президента (ко времени, когда рукопись оказалась в редакции, президентом был уже Медведев) и Путина: нигде не сообщалось об их пребывании на Афоне в 2007 г. Я вообще хотел выкинуть этот кусок, но, решив для начала показать рукопись афонским монахам, оставил, и реакция о. Николая Генералова меня огорошила:

— Не так же всё было... Вот, опять насочиняли...

— А что — на самом деле было? — вырвалось у меня.

— Ну да, вот он сидел, где ты сейчас сидишь...

— Подождите-подождите, кто сидел?

Да Медведев. Сначала приехал этот кремлёвский представитель, он тут часто бывает. И ко мне: «Сейчас, говорит, большой человек приедет, ты уж, отец, не говори ничего лишнего». Они ж знают, что могу чего-нибудь сказать. «Расскажи, говорит, про скит, как со старцем Паисием

общался...» Потом появились два таких здоровых парня, осмотрели всё. «Охранники, что ль?» — спрашиваю. «Нет, говорят, сопровождающие лица». Ну ладно, я им чаю налил, сели они у плиты, сидим, тут открывается дверь и входит несколько человек, я смотрю, где же большой-то, а он маленький на самом деле, невысокий, но понятно сразу, кто главный. Вот я его на это самое место, где ты сидишь, усадил, сам напротив сел, остальные вокруг, чай у нас готов был. Рассказал про скит, про старца Паисия, всё, как просили, ничего лишнего. А когда они уже уходили, в дверях были, я и говорю: «Что ж вы всё американцам под ноги положили?» Его, чувствуется, задело, он резко так ответил: «Ничего не положили. Это прежние под американцами были, мы сейчас выправляем». «Да где ж, — говорю, — выправляете?» — и давай перечислять. Тут он ещё больше завёлся: «А что же делать, если они кругом лезут и лезут?» Отвечаю: «Вы сами прекрасно знаете, что делать?» — «Что?» — спрашивает и, чувствую, напряглись все. «Мочить», — говорю, ну, он рассмеялся, напряжение сошло, все заулыбались и ушли. Вот и всё, что было.

[127] Автор, наверное, не знал, что Володя по лациональности белорус и, говоря «хороший президент у вас будет», он вполне мог иметь в виду то, что президент будет в России, а не в его родной Белоруссии. Хотя лично мне авторская трактовка володиных слов нравится больше.

[128] «Отец Олимпий пока ещё отличается от братии тонкими чертами лица, словоохотливостью, правильной речью и эрудицией, совсем недавно вынесенной из мира. Там он был академиком, доктором технических наук, зав. кафедрой электроники и электротехники Московского технического университета. Автор известных всему миру учебников по компьютерной технике. И сошёл со всех этих высот, побывав на Афоне паломником, оставил славу и звания где-то там, по ту сторону жизни... Оставил, быть может, и из чувства вины перед поруганным целомудрием Божьего мира, быть может, и себя считая причастным к этому вселенскому поруганию. Мы не полезли к нему в душу, хотя разговаривали долго и о многом. Отец Олимпий провёл с нами экскурсию: как прежде знал он свои науки, так знает теперь начала начал русского Афона и каждую святыню многочисленных церквей в Свято-Пантелеимоновом, все реликвии его и предания» (В. Распутин. «На Афоне»),

[129] «Каруля есть не что иное, как отвесная прибрежная скала, господствующая над бездною Архипелага, с южной стороны св. Афона, занятая древним скитом того же имени, заселённая множеством разного рода пустынных и отшельнических жилищ бедного афонца. Начало Карульского скита и всех его келлий и калив, разбросанных по страшным отрогам и обрывам, относят к X веку. Это место считается безлюднейшим, и путь туда не только труден, но и опасен в полном смысле этого слова. Чтобы спуститься туда, надобно в некоторых местах цепляться за камни руками и даже висеть всем телом над бездною. Около 50 саж. приходится спускаться по верёвке, придерживаясь за обрывистую каменную стену, более 20 саж. пролезать в скале чрез тущобу, а остальную часть проходить по весьма крутым и сыпучим уступам. Там поэтому редко бывают поклонники, и то разве только ищущие душевного утешения и назидания, а частные посетители Афона и, особливо, высокопоставленные лица, вовсе не заглядывают туда». (И.З. Черкасов. «Афон и его окрестности...»)

[130] Игумен Н. Сокровенный Афон. Даниловский благовестник. М., 2002.

[131] Отец Иоанн родился 11 апреля 1910 г. в городе Орел в семье Михаила и Елизаветы Крестьянкиных. Он был восьмым ребёнком в семье. Мальчика назвали в честь прп. Иоанна Пустынника. С детства Иван был «в послушниках» в храме у известного своей монашеской строгостью архиеп. Орловского Серафима. После окончания средней школы Иван Крестьянкин поступил на бухгалтерские курсы и, переехав в Москву, работал по этой специальности. В

1945 г. он был рукоположен в дьяконы. В сан священника его рукоположил Патриарх Алексей I в Измайловском Христорождественском храме, в котором отец Иоанн и служил до 1950 г. Экзамены за курс семинарии отец Иоанн сдал экстерном, и в 1950-м, закончив 4 курса Московской духовной академии, написал кандидатскую работу. Но закончить её не удалось. В ночь с 29 на 30 апреля 1950 г. за ревностное пастырское служение отец Иоанн был арестован и по приговору получил 7 лет исправительно-трудовых лагерей. Вернувшись из заключения досрочно, 15 февраля 1955 года, он был назначен в Псковскую епархию, а в 1957 г. перемещён в Рязанскую епархию, где священствовал в общей сложности почти 11 лет. 5 марта 1967 г. иеромонах Иоанн поступил в Псково-Печерский монастырь. 13 апреля 1970 г. был возведён в сан игумена, а 7 апреля 1973 г. — в сан архимандрита.

Архимандрит Иоанн был почитаем всей православной Россией как старец-духовник. Каждый день на протяжении почти четырёх десятилетий в Псково-Печерский монастырь приезжали сотни людей, чтобы поделиться с батюшкой своими бедами и радостями, спросить совета в трудных обстоятельствах, услышать его авторитетное пастырское слово, измерить его строгим мерилom себя и свою жизнь. Среди тех, кто посещал старца, были и простые прихожане, и представители политической, научной и культурной элиты России. В августе 2000 г., посещая Псково-Печерский монастырь, отца Иоанна в его келье навестил президент В.В.Путин. Книги архимандрита Иоанна, посвящённые различным аспектам духовной жизни, разошлись тысячами тиражами не только в нашей стране, они переводились и распространялись за рубежом.

Ушёл из жизни архимандрит Иоанн (Крестьянкин) в возрасте 95 лет в День памяти новомучеников и исповедников Российских воскресным утром, когда во всех православных храмах страны совершались богослужения в честь «малой Пасхи» — так христиане называют каждый воскресный день, прообразом которого является Воскресение Христово

[132] В XX в. приток русского монашества на Афон прекратился. В основном из-за препятствий, чинимых греческими светскими властями, с молчаливого согласия властей церковных. 14 октября 1963 г. Московская Патриархия послала Патриарху Афинагору список из 18 лиц, ожидавших разрешения на поселение в Пантелеимоновом монастыре, в июле 1964 г., после повторного обращения Патриарха Алексия I, разрешение на въезд в Пантелеимонов монастырь получили 5 человек, в июле 1966 г. четверо из них выехали на Афон, в 1967 г. один по болезни вернулся на родину. 27 февраля 1970 г. на Афон выехали 2 русских инока, получившие визы на постоянное поселение в Пантелеимоновом монастыре. 26 августа 1974 г. Патриарх Димитрий сообщил, что двум кандидатам из 6, предложенных Русской Церковью, дано разрешение поселиться на Святой Горе, и только один из них — нынешний настоятель Пантелеимонова монастыря архим. Иеремия (Алехин) — на следующий год прибыл на Афон. В результате переписки между Патриархами Пименом и Димитрием, продолжавшейся в 1975–1976 гг., было получено разрешение на поселение в Пантелеимоновом монастыре ещё 10 монахов из России. Летом 1976 г. на Афон прибыли сначала 4 монаха из Псково-Печерского монастыря, затем ещё 9 иноков. В числе их были отец Мартинаан и отец Николай. К тому времени в Пантелеимоновом монастыре оставалось 13 насельников.

[133] Костница находится в склепе храма Прп. Иоанна Рыльского, построенного болгарями в 1820 г.

[134] «И вот, некто, подошед, сказал Ему: Учитель Благий! что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную? Он же сказал ему: что ты называешь Меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди. Говорит Ему:

какие? Иисус же сказал: не убивай; не прелюбодействуй; не кради; не лжесвидетельствуй; почитай отца и мать; и: люби ближнего твоего, как самого себя. Юноша говорит Ему: всё это сохранил я от юности моей; чего ещё недостает мне? Иисус сказал ему: если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи и следуй за Мною» (Мф. 19:16–21).

[135] «И сделал Моисей медного змея и выставил его на знамя» (Чис. 21:9).

[136] «Кто из вас, имея раба пашущего или пасущего, по возвращении его с поля, скажет ему: пойди скорее, садись за стол? Напротив, не скажет ли ему: приготовь мне поужинать и, подпоясавшись, служи мне, пока буду есть и пить, и потом ешь и пей сам? Станет ли он благодарить раба сего за то, что он исполнил приказание? Не думаю. Так и вы, когда исполните всё повеленное вам, говорите: мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать» (Лк. 17:7-10)

[137] На Афоне расстояния измеряются не километрами, а временем. Говорят, что до такого-то места столько-то часов.

[138] Пантократор (Вседержитель). Расположен на северо-востоке полуо-ва Афон, рядом с развалинами древнего города. И хотя распространена легенда, что монастырь основал Алексей Комнин, фактическими основателями следует считать братьев Алексея (имевшего титул стратопедарха — командующего военным лагерем) и Иоанна (занимавшего высокий пост в суде). О дате начала строительства монастыря ничего не известно, но в документальных источниках он впервые упоминается в 1358 г. Известно также, что в 1362 г. обитель была перестроена Патриархом Каллистом I. На пожертвования, сделанные братьями Алексием и Иоанном, были построены подворья, существующие до настоящего времени. Дар братьев — икона Христа Пантократора (Вседержителя) — хранится сегодня в Эрмитаже.

Иконостас собора, вероятно, самый древний на Афоне, а святая икона Богородицы «Геронтисса» (Покровительница монастыря) — одна из наиболее почитаемых чудотворных афонских икон.

В монастырской библиотеке хранится редкое Евангелие, принадлежащее св. Иоанну Кущнику, много в ней и других древних рукописей.

Пантократору принадлежит келлия «Достойно есть», где, по преданию, св. Архангел Гавриил воспел песнь «Достойно есть» перед иконой Богоматери.

В обители находится много святынь, среди них: часть Животворящего Древа Господня: частицы руки и ноги апостола Андрея; глава Иоанна Милостивого; часть руки Иоанна Златоуста: частица руки Афанасия Константинопольского и сщмц. Харалампия; глава прп. Иоанна Великого; глава мч. Феодора Стратилата; рука мч. Трифона; частицы мощей мчч. Меркурия и Артемия: часть руки мч. Евстафия Плакиды; части рук мч. Кирика и Иулитты: частицы прп. отцов, в Синае и Раифе избитых; мчч. Антипы, Прокопия и Фотинии; глава бесср. Космы; щит св. вмч. Меркурия.

В монастыре подвизаются 20 монахов, к нему приписаны 42 монаха, проживающих в Ильинском скиту, а также в 12 кельях и одной кафизме.

[139] Пояс Пресвятой Богородицы был одной из главных святынь Константинополя, связанных

с земной жизнью Божией Матери. Согласно преданию, отражённому в Менологии Василия II, Пояс Божией Матери незадолго до Ее успения был отдан двум благочестивым иерусалимским вдовам и затем передавался из поколения в поколение. При императоре Восточной Римской империи Аркадии († 408) Пояс Пресвятой Богородицы был доставлен в Константинополь и помещён в прекрасный ларец, который обрёл своё место в одном из трёх главных Богородичных храмов Царьграда — Халкопратийской церкви (некоторые источники говорят о нахождении Пояса не в этом, а во Влахернском храме — вероятно, это следствие путаницы — Влахернский храм был местом хранения Ризы Богоматери; вполне возможно, однако, что святыни могли быть перемещаемы из одного храма в другой).

На протяжении столетий ларец с Поясом Богоматери не открывали, но спустя пять веков после положения Пояса в Халкопратийском храме, при императоре Льве VI Мудром, его жене Зое Карбонопсине было видение, что она избавится от своего недуга (как повествует Менологий, императрицу мучил нечистый дух), если на неё возложат Пояс Пресвятой Богородицы. Император открыл ларец и обрёл Пояс в целостности и сохранности; Пояс был запечатан золотым хрисовулом императора Аркадия, на котором были указаны год и индикт Положения Пояса в Царьграде, а также точная дата этого события — 31 августа (13 сентября по н. е.). По повелению императора Пояс Пресвятой Девы был возложен на голову страждущей императрицы (это было поручено Евфимию, будущему Патриарху Константинопольскому, который составил и Слово в честь торжества нового обретения Пояса), и та исцелилась. После этих событий Пояс Пресвятой Богородицы был возвращён на место, а праздник Положения Пояса получил ещё большую торжественность, чем прежде.

В результате двух падений Константинополя — сначала в 1204 г., затем, окончательно, в 1453 г. — Пояс, как и почти все другие святыни Царьграда, покинул город, но не исчез бесследно. Часть Пояса донныне хранится на Горе Афон в монастыре Ватопед. Освящаемые на частях Пояса Божией Матери пояски раздаются верующим для ношения; многие женщины, имевшие ту или иную немощь, благодаря предстательству Пресвятой Богородицы получают от них исцеление.

[140] «Да восстанет Бог, и расточатся враги Его, и да бегут от лица Его ненавидящие Его! Как рассеивается дым. Ты рассей их; как тает воск от огня, так нечестивые да погибнут от лица Божия. А праведники да возвеселятся, да возрадуются пред Богом и восторжествуют в радости» (Пс. 67:2-4).

[141] «Царь, вошед посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему: друг! как ты вошел сюда не в брачной одежде? Он же молчал. Тогда сказал царь слугам: связавши ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет зубов; ибо много званых, а мало избранных» (Мф. 22:11-14).

[142] По церковному преданию, ключи от рая вверены апостолу Петру.

[143] По преданию, в водах у Горы Афон в 395 г. во время сильной бури упал с корабля в море царевич Аркадий, сын императора Феодосия Великого, но был спасен от смерти заступничеством Божией Матери. Это первое благодеяние, оказанное Богородицей роду человеческому на Афонской Горе. В воспоминание этого события здесь был основан монастырь, названный «Ватопед», т. е. «куст отрока».

[144] «Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день» (2 Пет. 3:8).



[145] «Но Он, взглянув на них, сказал: что значит сие написанное: "камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла"? Всякий, кто упадет на тот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит» (Лк. 20:17-18).

[146] Предание об иконе Божией Матери «Елеуса» («Живопрятна»). В 382 или 422 г. Плакидия, дочь Феодосия Великого, желая видеть брата своего Аркадия, царствовавшего тогда в Константинополе, отправилась из Рима морем в Константинополь, причём намеревалась на этом пути поклониться чудотворной иконе Божией Матери, находящейся в Ватопедском монастыре, сооружённом её отцом, императором Феодосием Великим. Она повелела кормчему пристать к Афонской Горе. Ватопедские иноки вышли к ней навстречу с почестями. Узнав о её желании поклониться чудотворной иконе, они испугались, потому что видели в этом нарушение устава Афонской Горы, запрещающего вход в неё женскому полу. Не смея противиться воле сестры своего императора, они решились вместе с ней идти в монастырь. Плакидия, сохраняя глубокое смирение, не последовала за иноками большими средними воротами в собор, а хотела войти меньшими, северными, но, едва приблизилась ко воротам, как услышала пришедший свыше глас: «Стой! Не ходи далее, иначе будешь строго наказана». Плакидия ужаснулась и, осознав свою вину пала на землю, проливая слёзы в раскаянии и просила у Богородицы прощения. Тут узнала она, что несколько женщин, дерзнувших нарушить этот устав, были наказаны внезапной смертью. В благодарность за полученное прощение она приказала соорудить церковь Св. Димитрия, а на том месте, где услышала голос, поставить икону Божией Матери, и притом завещала, чтобы пред ней возжигалась неугасимая лампада, что и доныне неизменно соблюдается

[147] Предание об иконе Божией Матери «Парамифия» («Отрада и Утешение»). В январе 807 г. алжирский пират по имени Вардухан, обосновавшийся на о-ве Милос, на пятнадцати пиратских кораблях совершал набеги и опустошал острова Эгейского моря, побережья Фракии и Малой Азии. В тот месяц он решил напасть и на Святую Гору. Он подготовил 10 кораблей, взял с собой около 200 пиратов и отправился к Ватопедскому монастырю. На рассвете 21 января разбойники пришвартовались в монастырской бухте, выстроились в боевом порядке и, затаившись, стали ждать утреннего открытия монастырских ворот.

Монахи, закончив утреню, расходились по своим кельям для краткого отдыха. В церкви остался один игумен, который продолжал молиться. Внезапно старец услышал исходящий от иконы Пресвятой Богородицы глас: «Не открывайте сегодня ворот. Подымитесь на стены и прогоните пиратов». Удивлённый услышанным, старец взглянул на икону Богородицы и оказалось, что лица Богородицы и Божественного Младенца чудесным образом ожили. Маленький Иисус простёр руку, прикрывая ею рот Своей Пресвятой Матери, и, обратив к Ней Свое лицо, сказал: «Нет, Мама, не говори этого! Оставь их, пусть они будут наказаны по заслугам!» Однако Богородица взяла руку Божественного Младенца, повернула лицо немного вправо и снова сказала: «Не открывайте сегодня монастырских ворот!» Потрясённый игумен созвал братию и рассказал монахам обо всём увиденном и услышанном. Те со страхом убедились, что священные лица на иконе Богоматери изменили своё положение и выражение. После этого, поблагодарив Пресвятую Богородицу за Ее спасительный Промысл, иноки поднялись на стены. Тем временем пираты с лестницами и топорами уже готовились к штурму монастыря. Игумен, стоя на бойнице, позволил им сначала приблизиться, а затем, возвышая Честный Крест, дал сигнал к отражению атаки. В одночасье десять пиратов пали замертво, многие были ранены, а остальные бежали и затем уплыли прочь. Растроганные монахи спустились в храм и ещё раз от всего сердца поблагодарили Богородицу. С тех пор икона, сохраняемая и ныне в Ватопедском монастыре, стала называться «Парамифия» (т. е. «Отрада и Утешение») и до сих пор остаётся видоизменённой как напоминание об удивительном

происшествия. В память чудесного избавления монастыря от разграбления пред иконой «Отрада» была возжжена неугасимая лампада, а также зажигается большая свеча. В приделе, где находится икона, издавна совершается пострижение всех поступающих в число братии обители и ежедневно поётся молебен Божией Матери.

[148] «Элеовритисса» («Елеоточивая») — чудотворная икона Пресвятой Богородицы прославилась и получила своё название по следующему случаю. Однажды в Ватопедской обители случился недостаток масла — оставался всего один сосуд, и дохиар (заведующий хозяйством) не стал давать братии масла. Но игумен, твёрдо надеясь на помощь Пресвятой Богородицы, приказал ему елей выдавать. Однажды, войдя в дохиарную (кладовую), он подумал, что масло кончилось. Но что же оказалось? Сосуд был наполнен маслом до краев, так что оно переливалось через край горлышка. Тогда все прославили и возблагодарили Царицу Небесную.

[149] «Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много» (Ин. 14:1-2).

[150] На самом деле ближе всего к границе с миром расположены Хиландар и Эсфимген.

[151] «Адаму же сказал: за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором Я заповедал тебе, сказав: "не ешь от него", проклята земля за тебя; со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Терния и волчцы произрастит она тебе: и будешь питаться полевою травою. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься» (Быт. 3:17-19).

[152] «И сказал Господь Каину: где Авель, брат твой? Он сказал: не знаю; разве я сторож брату моему?» (Быт. 4: 9).

[153] Кроме соборного Благовещенского храма, в Ватопеде находится ещё 16 действующих церквей

[154] «И знаю о таком человеке, — только не знаю — в теле, или вне тела: Бог знает, — что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать» (2 Кор. 12:3-4).

[155] «У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду: а у кого дело сгорит, тот потерпит урон; впрочем сам спасется, но так, как бы из огня» (1 Кор. 3:14-15).

[156] «Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную, так что и сеющий, и жнущий вместе радоваться будут; ибо в этом случае справедливо изречение: "один сеет, а другой жнет". Я послал вас жать то, над чем вы не трудились: другие трудились, а вы вошли в труд их» (Ин. 4:36-38).

[157] «Иисус же сказал им: Я есмь хлеб жизни; приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда» (Ин. 6:35).

[158] Зограф (болг., в пер. с греч. «живописец»). Как гласит предание, этот монастырь был основан в X в. тремя братьями-монахами родом из Охриды: Моисеем, Аароном и Иоанном.

Между ними возникло несогласие по поводу того, какому святому или празднику посвятить обитель. Прп. Моисей предлагал построить ее во имя Пресвятой Богородицы, прп. Аарон, свт. Николая, а прп. Иоанн — вмч. Георгия. После долгих споров они заперли в храме иконную доску, покрытую левкасом, и встали на молитву. Утром, отперев храм, они с удивлением увидели, что на доске изобразилась икона вмч. Георгия. В его честь и был освящен монастырь.

В монастыре находятся часть Животворящего Древа Креста Господня; глава прп. Матроны; челюсть прпмч. Стефана Нового; часть мощей св. вмч Георгия и кровь его; части мощей св. архидиак. Стефана; сщмч. Игнатия Богоносца: Антипы и Харалампия; мчч.: Никиты, Нестора, Варлаама, Кирика: вмч. Феодора Стратилата; прп.

Феодосия Великого; вмчч. Прокопия и Меркурия; апостола Андрея Первозванного; св. Авксентия; апостола и евангелиста Матфея; вмч. Иакова Персянина; св. Евтихия, Патриарха Цареградского; св. бесср. Космы и Дамиана; св. Кира и Иоанна; св. Пантелеймона и Трифона: свтт. Петра и Афанасия, Патриархов Александрийских; сщмч. Климента; св. Ферапонта и др.

В монастыре подвизаются 12 монахов.

[159] «И повелел Господь большому киту поглотить Иону; и был Иона во чреве этого кита три дня и три ночи. И помолился Иона Господу Богу своему из чрева кита... И сказал Господь киту, и он изверг Иону насушу» (Ион. 2:1-2,11).

[160] Пять билетов (искажён, англ.).

[161] Монастырь Ксиропотам (около монастыря находится глубокий и широкий ров, который в зимнее время наполняется водой, а летом пересыхает. Отсюда и название монастыря: «ксиропотам» значит «сухой поток»). Он был построен греч. царевной Пульхерией в 450-455 гг. Первым игуменом был прп. Павел Ксиропотамский. О нем упоминается в I Типиконе Святой Горы. Он жил в одно время с прп. Афанасием Афонским. Святые являли два различных подхода к организации монастырской жизни. Прп. Павел Ксиропотамский был приверженцем монашеской молитвы и безмолвия и отвергал строгую организацию общежительного устава и деятельную жизнь, установленные прп. Афанасием Афонским.

После нашествия арабов монастырь был razoren и находился в запустении до X в. Ксиропотам был возобновлен при императоре Романе усилиями прп. Павла, сына греч. императора Михаила Куропалата, прозванного Рангавеем.

Кафоликон монастыря построен в 1761 г. и освящен в честь Сорока мучеников Севастийских. В обители хранится самая большая в мире частица Честного Креста с отверстием от одного из гвоздей. Эта частица вставлена в деревянный Крест, по преданию, пожертвованный императрицей Пульхерией.

В обители подвизаются 20 монахов.

Святыни монастыря: две части Честного Креста: значительная часть Животворящего Древа Креста Господня с пробитой гвоздем скважиною и другая часть, меньшего размера. Стопа левой ноги св. Прокопия; кость руки прп. Авксентия; часть локтя св. Игнатия Богоносца; часть колена свт. Василия Великого; правая нога мч. Трифона: часть ноги свт. Григория, просветителя Армении; перст вмч. Меркурия; частица мощей свт. Андрея Критского; челюсть св. прпмч. Стефана Нового; челюсть св. Иоасафа, царевича Индийского; частица одного из десяти мучеников Критских; глава одного из чад св. Соломонии; частица мощей сщмч.

Харалампия; вмч. Параскевы и св. Пантелеймона; св. Фотинии Самаряныни; св. Анастасии Александрийской; ап. Варфоломея; прп. Нила Мироточивого; свт. Григория Богослова; челюсть св. Парфения Лампсайского; десница мц. Христины; часть руки св. Иоанна Милостивого; глава прпмч. Николая Нового; глава прпмч. Авксентия Нового; часть одежды, облитой кровью и миро, вмч. Димитрия Солунского и части сорока св. мучеников. Мантия, подаренная Константином Багрянородным; архиерейский янтарный жезл.

[162] «...подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, нашед одну драгоценную жемчужину, пошел и продал всё, что имел, и купил ее» (Мф. 13,44-45)

[163] Базилика Св. вмч. Димитрия стоит на месте его первоначального погребения, и там же в наши дни покоятся его мощи. В ночь после мученической кончины Димитрия солунские христиане спрятали тело святого в находящемся неподалёку колодце, а затем похоронили их в заброшенной крипте (от греч. κρυπτή — «крытый подземный ход, тайник»), бывшей раньше частью бань. Вскоре от мощей стало истекать целебное миро. В 312 г. над гробницей установили маленькую церковь, которая стоит и сейчас. Через несколько лет знатный человек Леонтий, исцелившись у мощей святого от смертельного недуга, построил вместо маленького храма Святого Димитрия большой. Этот собор в 626 г. был уничтожен пожаром, но был сразу же отстроен заново и стал ещё просторнее. Во время завоевания турки использовали этот храм как мечеть, а крипту, в которой захоронен святой, завалили землёй и камнями. При пожаре 1917 г. пол частично провалился и открылись давно забытые катакомбы с телами четырёх епископов, похороненных сидя, в полном епископском облачении. Катакомбы были восстановлены. В наши дни мощи уже не мироточат, но древние каменные бассейны, в которые стекало драгоценное вещество, стоят до сих пор. То место, где, по преданию, был убит св. Димитрий, отмечено углублением. Сохранились и остатки первой часовни.